К82
Г-71

М. ГОРЬКИЙ

(СТУДИЙЛ ХЛАМИДА)

МЕЖДУ ПРОЧИМ

ФЕЛЬЕТОНЫ

1895–1896 гг.

ОБЛГИЗ · КУЙБЫШЕВ · 1941

9/I 59
21/II 4152
8/II-116.

12/VIII Молисо (дуб.

В. И. ЛЕНИН

БЫЛ САМЫМ АККУРАТНЫМ

55257

ЧИТАТЕЛЕМ БИБЛИОТЕКИ

Владимир Ильич, разумеется, не считал предосудительным или ниже своего достоинства быть одним из самых аккуратных абонентов библиотеки имени Г. А. Куклина. Он вполне одобрял и ценил заведенные нами «строгие» порядки, обеспечивающие правильный кругооборот книг и целость редкостных экземпляров и архивных материалов. Владимир Ильич НЕ «ЗАЧИТАЛ» НИ ОДНОЙ КНИГИ и всегда уплачивал за чтение по тарифу.

Из воспоминаний тов. Карпинского „Записки Института ЛЕНИНА" т. II, стр. 97.

Издание Куйбышевской областной библиотеки

ЕО 19262. Зак. 190. Тираж 15,000.
Типография обл. библиотеки.

6 МАЯ 1960
20 МАР 1962
23 ИЮН 1962
3 АПР 1963
20 МАР 1966
29 МАЙ 1967
27 ИЮЛ 1968
23 ИЮЛ 1972
5 ИЮЛ 1973
9 ИЮЛ 1974
1974г
7/1 6313
25 НОЯ 1987
5 ДЕК 1990
1 МАР 2017

КУЙБЫШЕВСКАЯ
областная
БИБЛИОТЕКА

А. М. ГОРЬКИЙ
(1896 г.)

Р(47 88)
Г 71

М. ГОРЬКИЙ
(ИЕГУДИИЛ ХЛАМИДА)

МЕЖДУ ПРОЧИМ

(МЕЛОЧИ, НАБРОСКИ И Т. П.)

ФЕЛЬЕТОНЫ
В „САМАРСКОЙ ГАЗЕТЕ" 1895-1896 гг.

552517

КУЙБЫШЕВСКАЯ
областная
БИБЛИОТЕКА

РЕДАКЦИЯ С. Д. БАЛУХАТОГО
КОММЕНТАРИИ К. Д. МУРАТОВОЙ

Проверено

ОГИЗ
КУЙБЫШЕВСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1941

891.71(9)
168

Переплет и титул
художника С. Н. Зорина.

ОТ РЕДАКЦИИ

Настоящее издание знакомит читателя с первым опытом публицистической работы великого пролетарского писателя Алексея Максимовича Горького, осуществленной им в 1895—1896 гг. на страницах «Самарской газеты» в серии ежедневных фельетонов «Между прочим», подписанных псевдонимом «Иегудиил Хламида».[1]

Опыт этот, имевший исключительное значение для роста М. Горького—публициста и художника, знакомит нас с общественными взглядами М. Горького на первых порах его газетно-литературной работы, раскрывает его позицию в годы начавшегося подъема революционного движения, всесторонне знакомит с его всегда определенными и до конца идущими оценками социального поведения человека и современности, этой, по словам М. Горького, «подлой» и «оскорбительной действительности».

Огромный тематический материал фельетонов и множество оценок и суждений М. Горького в них по самым различным бытовым и общественным поводам позволят советскому читателю конкретно увидеть, через какие запутанные и засоренные пути в социальном строе дореволюционной России должна была пробиваться освободительная мысль гениального представителя интересов угнетенных и эксплоатируемых.

Серия фельетонов М. Горького «Между прочим» публикуется нами со следующими особенностями. Из 187 фельетонов этой серии мы переиздаем полностью лишь 110 и в извлечении (опуская отдельные темы) 39.[2] Сняты заголовки каждого фельетона и подпись, и вся серия получила лишь одно общее заглавие, воспроизведенное на титуле книги. Все фельетоны пронумерованы единой

---

[1] Редакция подготовляет к печати второй выпуск фельетонов М. Горького, куда войдет цикл фельетонов «Очерки и наброски», помещенных в той же «Самарской газете» в 1895—1896 гг.

[2] В настоящем издании опущены полностью или воспроизводятся частично (в последнем случае цифры обозначаем курсивом) следующие фельетоны из «Самарской газеты»: за 1895 г. — № *149*, *153*, 154, *157*, *158*, 159, *162*, *163*, *164*, *166*, *167*, *168*, *169*, 171, 173, *174*, 176, 177, 178, 180, *183*, 185, 186, 191, 193, *194*, 195, *199*, *200*, 202, *204*, *205*, *207*, 211, 212, 214, *216*, 220, 221, *222*, 223, 228, *229*, *230*, *237*, 241, 242, *246*, *249*, *251*, *262*, *272*, 273, 274, *275*; за 1896 г.— № *6*, *17*, *18*, *19*, *20*, 23, 24, *28*, *29*, 34, 39, *42*, 62, 67, 68, *70*, 72, 74, 76, 78, 84, 86. Темы опущенных фельетонов см. по библиографическому списку сочинений М. Горького в книге: С. Балухатый. Литературная работа М. Горького. Изд. «Academia», 1936, стр. 20—28 и 36—39.

для обоих лет порядковой нумерацией. Порядок фельетонов нарушен нами лишь в начале 1896 г., о чем говорится в примечании к фельетону № 103. После каждого фельетона воспроизведены дата его напечатания и номер «Самарской газеты», в которой он был помещен. Отдельные части — «куплеты» фельетона, отделяемые М. Горьким в газете тремя звездочками, в нашем издании отделены короткой линейкой.

Текст фельетонов, за исключением орфографии, воспроизведен точно по «Самарской газете» с соблюдением основных принципов авторской пунктуации, деления на абзацы и т. п., но в отдельных случаях сделаны отступления: сняты явные опечатки; сокращенные слова дописаны; зашифрованные фамилии, если они установлены, дописаны в квадратных скобках; абзацы в случаях, если они мешают правильному пониманию развития темы, снимаются; пунктуация унифицирована, причем две точки в конце фразы заменены, в зависимости от экспрессии речи, одной или тремя точками; многоточие в описательных фразах заменено точкой.

Переводы иностранных слов и фраз приводим внизу, под текстом фельетонов. Словарь иностранных и устарелых слов с пояснениями даем в конце книги.

Основной цикл фельетонов Иегудиила Хламиды «Между прочим» замыкается в нашем издании приложением, куда вошли две новонайденные нами статьи М. Горького, напечатанные им в «Самарской газете» под псевдонимами, в литературе о М. Горьком до сих пор неизвестными. Это — отдельный фельетон «Между прочим», подписанный псевдонимом *Пьерро*, не входящий в цикл статей, подписанных Иегудиилом Хламидой, но тем не менее по теме и стилю примыкающий к этому циклу, и фельетон «Самара во всех отношениях» за подписью *Дон-Кихот*, являющийся как бы заключительным фельетоном-статьей М. Горького ко всей серии его статей о Самаре, ее нравах и обитателях.[1]

Тексты фельетонов М. Горького в настоящем издании снабжены комментариями, носящими по преимуществу справочный характер: в них вскрыты намеки на факты местной жизни, использованные в фельетонах, указаны источники, откуда эти сведения могли быть заимствованы фельетонистом, и названы, по возможности, источники цитат М. Горького. В комментариях приведены также новонайденные цензурные материалы о М. Горьком — Иегудииле Хламиде.

Комментарии и первая главка вступительной статьи написаны К. Д. Муратовой. Цензурные материалы предоставлены Е. В. Суховым, которому приносим свою благодарность.

---

[1] Следует заметить, что за подписью «Иегудиил Хламида» или же с инициалами, производными от этого псевдонима, М. Горький напечатал в той же «Самарской газете» еще ряд произведений, которые в нашем издании не перепечатываются (рассказ «Грустная история», 1895, № 50, рецензия на книгу Д. А. Линева (Далина) «Не сказки», 1895, № 261, рецензия на книгу В. Гиляровского «Забытая тетрадь», 1896, № 22, статья «Прощальный спектакль в городском театре», 1896, № 28). Подпись эту М. Горький также широко использовал в 1896 г. под статьями в «Нижегородском листке» и возродил в 1906 г. в политико-сатирических журналах.

ИЕГУДИИЛ ХЛАМИДА — ФЕЛЬЕТОНИСТ «САМАРСКОЙ ГАЗЕТЫ»

Смертный, входящий в Самару с надеждой в ней встретить культуру,
Вспять возвратися, зане город сей груб и убог.
Ценят здесь только скотов, знают цены на сало и шкуру,
Но не умеют ценить к высшему в жизни дорог.

Иегудиил Хламида.

1

Сотрудничать в «Самарской газете» М. Горький начал с октября 1894 г., когда на страницах газеты стали появляться его художественные очерки и рассказы, посылаемые им из Н.-Новгорода. В феврале 1895 г. М. Горький приехал в Самару и с этого времени стал уже постоянным сотрудником «Самарской газеты».[1] Переезд М. Горького был вызван как обстоятельствами личной жизни, так и настойчивым желанием писателя целиком отдаться литературе. Пестрая обстановка жизни в Н.-Новгороде в 1893—1895 гг., ярко описанная М. Горьким в рассказе «О первой любви», не способствовала углубленной литературной работе начинающего писателя. «Я непрерывно жадно учился, читал и начал серьезно увлекаться литературной работой, — писал М. Горький, вспоминая это время. — Я чувствовал, что такая жизнь может вывихнуть меня с пути, которым я иду. Я уже начинал думать, что иного места в жизни, кроме литературы, — нет для меня... Для меня жизнь была серьезной задачей, я слишком много видел, думал, я жил в непрерывной тревоге...» В. Короленко, быстро оценивший этого, по его словам, «неровно» пишущего, но «несомненно способного молодого писателя», уже в 1893 г. назвавший его «самородком с несомненным литературным талантом», хотя «еще не совсем отыскавшим свою дорогу», внимательно следил за жизнью М. Горького в Н.-Новгороде и настойчиво советовал ему уехать из города, всячески способствуя этому отъезду. По рекомендации Короленко М. Горький был приглашен «Самарской газетой» на постоянную работу. Литературный заработок с этого времени перестал быть для М. Горького случайным, и, сотрудничая в газете в качестве фельетониста, публициста и беллетриста, он окончательно осознал себя писателем-профессионалом.

Самара, где М. Горький прожил в течение года, насчитывала к 1 января 1895 г. около 100 000 жителей. Быстро растущий торговый город, часто называемый его патриотами «русским Чикаго», был средоточием торговли сельскохозяйственными продуктами, главным образом хлебом. Однако, несмотря на свой быстрый рост, Са-

[1] Точная дата приезда М. Горького в Самару неизвестна. Февральскую дату мы устанавливаем по совокупности имеющихся в нашем распоряжении документальных данных.

мара оставалась типичным провинциальным городом второй половины XIX века. Внешняя пышность купеческих особняков на главных улицах города и нищета окраин, грязь и общее антисанитарное состояние, отмечаемые даже в путеводителях по Волге, сразу же бросались в глаза посетителям Самары. Популярный в 90-х годах фельетонист «Биржевых ведомостей» Далин (Д. А. Линев), после своей поездки по Волге летом 1895 г., назвал в своем фельетоне Самару «диким» городом,[1] — определение, которое мы встретим неоднократно и в фельетонах Иегудиила Хламиды. О дикости, по словам Далина, свидетельствовали как многочисленные отзывы его собеседников в Самаре, так и внешний облик самого города. Далин отметил господство в городе его хозяина — «первобытного» купца, «вчерашнего «мужика», безграмотного хлебного спекулянта, кроме рубля и самодурства ничего не знающего и знать не желающего». Культурную силу города составляла преимущественно «пришлая» интеллигенция, часто пополнявшая свои ряды политическими ссыльными, отбывавшими здесь сроки своей высылки.

Тяжелое впечатление произвела Самара и на М. Горького. После Н.-Новгорода, бывшего одним из центров культуры Поволжья, Самара показалась молодому литератору глубоко невежественным провинциальным городом, бедным интеллигенцией и людьми творческой мысли. Он писал Короленко вскоре после своего приезда: «... Очень тяжело жить здесь. Город мертвый — публика странная. Мне порой кажется, что я переехал не в Самару, а в 30-е годы. Здесь многое напоминает о них». И далее о «странностях» самарского обывателя: «Что вы скажете, например, о людях серьезных, стоящих у крупного общественного дела и в свободное время занимающихся сочинением стихов на заранее подобранные рифмы? Этим увлекаются, из-за этого ссорятся. А как странно здесь смотрят на женщину! За ней ухаживают — и только. Я ничего не понимаю почти в здешних настроениях. Уж очень здесь все далеко от «современности». А как глупо франтят здесь! Очень обидно и больно наблюдать такую жизнь здесь как здешняя». И в другом письме к Короленко — о моральных взглядах некоторой части местной интеллигенции: «Ах, как здесь гадко! Дикая здешняя публика совершенно лишена веры во что-либо порядочное, и все сносные в моральном отношении поступки объясняет дурными побуждениями. Я говорю — «сносное», — ибо не могу иначе охарактеризовать здешнюю порядочность. Сносная порядочность! За неимением маркитанта служит и блинник. Объяснение всего гадкими побуждениями носит здесь характер спорта». А через 35 лет (в 1929 г.) М. Горький, вспоминая в одном из писем эти годы, писал: «Тяжелое, мутное время пережили мы в Самаре».

Работа в «Самарской газете» захватила М. Горького, и он скоро стал основным и даже ведущим сотрудником редакции.

Провинциальные газеты тех лет состояли преимущественно из хроник, внутренних и заграничных известий, отчетов о заседа-

---

[1] Далин. «Что думают и делают в провинции. В «диком» городе».—«Биржевые ведомости», 1895 г., № 174.

ниях думы и местных обществ; оригинальный материал обычно давался лишь в отделе фельетона, в литературно-критических и театральных обозрениях. «Самарская газета», приобретенная в 1894 г. купцом С. И. Костериным, поставившим своей задачей сделать ее крупнейшей либерально-буржуазной газетой Поволжья, была обычным провинциальным изданием указанного типа. Здесь были широко развернуты отделы хроник и обозрения. Так, помимо богатой местной хроники и сообщений Российского телеграфного агентства, в газете ежедневно появлялись два обзора: «Толки печати», дававшие сводку известий из столичных газет, и «Очерки и наброски», обозревавшие преимущественно провинциальную, главным образом поволжскую и южную печать. Оба отдела велись анонимно и в сущности состояли из набора газетных цитат, скрепленных краткими пояснениями лица, возглавлявшего эти отделы.

Тон газеты задавал ее фельетон на местные темы «Между прочим», который в основном и привлекал внимание читателя к газете. Литературно-критический и библиографический отделы появлялись изредка; их отсутствие восполнялось в «Самарской газете» литературно-художественным отделом, дававшим не только обычные для провинциальной прессы переводы с французского, но и оригинальный материал местных литераторов. В конце 1894 г. из состава «Самарской газеты» выбыл ряд основных сотрудников, перешедших в «Самарский вестник». Это поставило газету накануне подписного года в крайне тяжелое положение. Спешно набирался новый состав сотрудников; на амплуа фельетониста был приглашен известный в те годы фельетонист С. С. Гусев (псевдоним: «Слово-Глаголь»). В качестве постоянного обозревателя газетных известий и автора воскресных беллетристических фельетонов был привлечен М. Горький, превративший вскоре отдел обозрений во второй публицистический фельетон газеты.

Фельетон «Между прочим» вел в «Самарской газете» С. Гусев, но с его уходом в июле 1895 г. фельетон был поручен М. Горькому, который к этому времени успел зарекомендовать себя не только в качестве талантливого беллетриста, но и острого публициста, автора анонимных статей в серии «Очерки и наброски» той же газеты. 14 июля М. Горький впервые поставил под фельетоном «Между прочим» свой псевдоним Иегудиил Хламида.[1]

2

Как определял задачи и идейное направление своей деятельности начинающий фельетонист Иегудиил Хламида?

---

[1] До этого М. Горький лишь однажды заменил Слово-Глаголя в серийном фельетоне «Между прочим», подписав свой фельетон псевдонимом «Пьерро». — См. приложение.

Имя «Иегудиил» было взято М. Горьким с древнееврейского языка (в переводе: хвала божия); по еврейским религиозным сказаниям оно принадлежало одному из семи ангельских высших чинов, который был послан израильтянам в пустыню для указания пути в землю обетованную. «Хламида» — одежда греков и римлян в виде плаща, перекинутого через левое плечо (М. Горький, будучи в Самаре, носил широкий черный плащ — «крылатку»).

Сотрудничество в «Самарской газете» имело для М. Горького то значение, что впервые ввело его в русло планомерной литературно-газетной работы, мобилизовало его внимание на определенном литературном деле — на публицистических выступлениях. До Самары М. Горький, лишь недавно вступив в литературу, напечатал ряд рассказов, но не имел возможности применить себя в публицистике. Работа в «Самарской газете» не только дала эту возможность, но и потребовала от начинающего журналиста напряжения всех его сил на одном из самых ответственных участков газеты.

Работая для серийного фельетона «Между прочим», М. Горький целиком вошел в интересы местной жизни, не пропуская ничего примечательного, на чем мог бы задержать свое внимание острый глаз «газетчика». В то же время повторяемость, типичность и характерность явлений общественной и бытовой жизни города выверялась М. Горьким путем систематического ежедневного знакомства с провинциальной печатью всей России, что он делал для другой серии своих фельетонов — «Очерки и наброски». Обобщая явления, М. Горький, естественно, приходил к мысли и об общих задачах печати в условиях современности, подводил общественно-идейное основание под ту литературную работу, которой он отдался страстно, со всей свежестью неизрасходованных внутренних сил.

Задача журналиста «с гражданским чутьем» и задача всей тогдашней прессы, по М. Горькому,—говорить об отрицательных явлениях бытовой и общественной жизни, обличать ее уродства, порицать за то злое и дурное, что порождено историческими условиями, подлым социальным строем, своекорыстными интересами человека: «открывать в глухих зарослях нашей тьмы и невежества разнообразную дичь и бить ее верно и метко».

Говоря о «явлениях и фактах», пресса должна думать не о них самих, а о той «правде» и «справедливости», которые утеряны в жизни и напоминание о которых вменяется в обязанность газетному работнику. Но эта задача печати самым решительным образом пресекалась цензурно-охранительными учреждениями, защитниками существовавшего социального строя.

О цензуре М. Горький, по понятным причинам, не мог говорить открыто, но факты ее прямого вмешательства в журнальную деятельность М. Горького нам достаточно известны. Давление цензуры очевидно также из сравнительно ограниченного отбора политически острых фельетонных тем, из отсутствия прямых суждений публициста о коренных причинах общественной неурядицы и безобразия, о подлинных виновниках социального неустройства. М. Горький отчетливо намекает на цензурные тиски в ряде своих фельетонных выступлений. Так, в ответ на замечание собеседника, что местная печать не соответствует своему назначению, М. Горький писал, что он знает об этом «несоответствии» и знает «причины», которые «поддерживают несоответствие печати с ее назначением». Он подчеркнул, что «с точки зрения сведущих в деле жизни людей, порядок гораздо нужнее для жизни, чем правда, справедливость и иные прочие вещи, без которых живем же ведь мы!» Охранители

«порядка» — контролеры действий печати, искажающие ее исконное дело, делающие ее «косноязычной»: «Печать имеет тенденцию проводить в жизнь правду, и за склонность к оной пребывает косноязычна и ратоборствует по линиям наименьшего сопротивления».[1]

Прессе трудно полностью осуществить свою программу еще и потому, что, порицая и бичуя, она окружает себя бесчисленными врагами, чье ущемленное самолюбие не позволяет по справедливости оценить «очищающее» жизнь дело печати. Одно из постоянных утверждений М. Горького заключалось в том, что «пресса не враг самоуправления, а всегда верный друг его» и «истинные деятели и граждане идут нога в ногу с прессой, прислушиваются к ней, и ее ошибки, если они есть у нее, злостно в фальшь ей не ставят», ибо «истинный работник общества никогда не может итти против печатной и публичной критики его действий», — «он слушает и учится, если чувствует, что идет ложным путем, или возражает, если чувствует себя правым». Эта идеальная миссия печати, отчетливо сформулированная здесь М. Горьким, осуществлялась им однако в условиях, в которых не было места такому честному «содружеству» прессы и органов общественной жизни и городского самоуправления. «Самоуправцы» боялись критики, они видели в лице «газетчика» своего врага, «свирепого супостата», над которым не прочь были поиздеваться и поглумиться.

То же отношение сотрудник газеты встречал и со стороны городских обывателей. Одни из них готовы выслушать «правду», но лишь оформленную по-особенному. Они согласны признать, что газетчик должен быть «строго справедлив и объективен как солнце», но они не мирились с тем, чтобы эта справедливость преподносилась как нечто горькое и тяжелое: ведь ему, читателю, и без морали живется скучно и горько, и потому он требует приятных пилюль,— и газетчик во что бы то ни стало «должен быть занимателен и читателю приятен, должен писать легко и весело». Другие, будучи насквозь обывателями, по-обывательски же относятся и к печати. Для обывателя печатное слово «только тогда важно и имеет значение, когда так или иначе может способствовать его пошлым вкусам и интересам». Но если газетчик его «обеспокоит», он предпримет затяжную травлю, гонение и месть. «Общество» стеной пойдет против корреспондентов, репортеров, фельетонистов, оно «не признает их за людей, достойных его внимания, и последовательно, упорно бойкотирует их». Оно произносит слово «репортер» как что-то «зазорное» и вкладывает в него «как можно больше нелестных чувств». И «газетчик»-репортер, работающий на высокой и честной арене, этот «отчаянный надоедник», весь день которого в движении, в жажде новостей, — а в итоге семишник за строчку или пятерка за неделю каторжной работы, за работу-подвиг, за работу-страдание, — оказывается «вне общества». Это отношение общества к печати, по мнению М. Горького, приводит к отрицательным результатам: оно воспитывает и в газетчике-репортере «некоторое разухабистое от-

[1] 1895 г., № 244.

ношение к обществу, и уколоть одного из его членов как можно больнее — для репортера наслаждение».

Не легче было и газетчикам-корреспондентам, этим смельчакам, решавшимся писать разоблачительные письма из медвежьих уездных углов.

И уже совсем тяжко было провинциальному «газетчику»-фельетонисту, в каковой роли выступил М. Горький — Иегудиил Хламида, перед которым раскинулось огромное море житейских фактов и явлений, где так трудно было отметить движение настоящей, по-хорошему волнующей общественной жизни.

3

Самара предстала перед М. Горьким-фельетонистом во всем своем убогом и грубом обличье, столь характерном для тогдашней провинциальной России, как город типичный для русской застойной жизни, как место, в толще своей еще не тронутое дыханием новых веяний, новых просыпающихся дум и дел. Он увидел здесь потрясающее бескультурье: «обыватели вместе с самоуправцами своими живут по уши в грязи и дышат воздухом, полным ароматами гниения и разложения»; огромную внутреннюю «пустоту жизни», «снотворное, еле заметное течение провинциальной жизни», заполненное пустяками, дикими выходками, чепухой, «белибердой в истинно провинциальном стиле». Жизнь в городе протекала сонно, город ничем и никем не был потрясаем: «все обстоит благополучно», «крупных безобразий нет, количество мелких — не сокращается».

Это впечатление от Самары не ослабело и при более углубленном ознакомлении с городом и, будучи подкреплено сходными явлениями в других углах России, знакомых М. Горькому, заставило его определить жизнь Самары как нечто типическое для российских провинциальных городов вообще. Самара была воспринята М. Горьким как «показательный» для России город, как город-символ, рождающий думы о жизни российской во всем ее охвате. И самарская пыль, и бродячий скот на улицах, и потрясающая нищета, и хулиганство «горчишников», и нерадивость «самоуправцев», и самодовольство обывателей с их набором диких развлечений — все говорило о том, что Самара хранила в себе «коренные устои нашей неумытости», «все самое чумазое, нелепое и откровенно нахальное».

Ведя фельетон на местном материале, М. Горький прежде всего уделил внимание органам и лицам, которые призваны были блюсти интересы населения города, служить общественному делу: городскому самоуправлению и его деятелям. К критике органов городской власти М. Горький подошел с очень высоким критерием. В его понимании общественный деятель — это «ревностный слуга общества», лицо, которое, зная, что́ полезно и что́ вредно обществу, внедряет в жизнь начала, ее преобразующие. Это должен быть человек с хорошим знанием жизни и людей, с твердо намеченными целями, с программой, выполняемой честно, твердо и неуклонно. Но М. Горький увидел других деятелей, качествами своими противоположных его идеальному представлению. Это были люди

либо пассивные, нерадивые к своим обязанностям и мало заботившиеся о защите интересов города от тех, кто хочет от него нечто урвать, либо «хозяева», «их степенства», денежные тузы, потакающие интересам таких же, как они, богачей, толстосумов, — своекорыстные «деятели», подлинные «самоуправцы». Заботы о благосостоянии и благоустройстве города им чужды; они подменяют деятельность шумихой, организуя бесчисленные и бездеятельные комиссии, стряпая отчеты-«балалайки». Недомыслие в мероприятиях, действия «не торопясь, с прохладой и с развальцем» — вот основные черты «правления» этих «хозяев», против которых нередко М. Горький обрушивался с язвительной щедринской сатирой.

Выводы М. Горького о «самоуправцах» не огульны, — они сделаны на основе повседневных и разносторонних наблюдений над порядками в городском хозяйстве, над жизнью многочисленных городских учреждений, над судьбой административных мероприятий. М. Горький писал об антисанитарии города: о его потрясающей грязи и пыли, о его рынках, трактирах и окраинах, о мостовых, развитии хулиганства, ночных и дневных грабежах и драках на улицах и в пивных; об обмелении Волги под Самарой и отсутствии борьбы с ним, о работе Троицкого рынка «на свой манер», о бездействии хлебного элеватора, о спекулятивных ценах на дрова, о плохом оркестре в Струковском саду, о недобросовестной помощи города голодающим селам, о беспорядках на волжских пароходствах и т. п. Мимо него не прошли и внутриучрежденские порядки: в больницах, учебных заведениях, винных лавках, камерах городских судей и в других местах.

Своекорыстные действия управителей города — «их степенств», бдительно охранявших права «хозяев» и не радевших о «прочих» слоях городского населения, создали потрясающий контраст: город миллионеров в то же время был городом нищих. Город был заполнен бедными людьми, которые под давлением хронического голода, под напором нужды готовы «все делать». Это — самарская «гольтепа», «выкинутая городской жизнью за борт»; к ним присоединились и выходцы из голодающих деревень — «бродящие армии косцов, жнецов и иных русских людей, не знающие, где и на чем урвать себе кусок хлеба»; они заселяли преимущественно «третью часть» города, эту «самую последнюю» его часть, улицы которой «широки, прямы, но не мощены, грязны, изрыты колесами, дождями и свиньями, загрязнены обывателями, выносящими на них негодное к употреблению». Об этом нищенстве М. Горький говорил часто и с болью за судьбы тех, о которых город плохо или никогда не думал. Символичен в изображении М. Горького архитектурный «пейзаж» окраин: «Дома — серые, сутулые, подслеповатые, сырые, пропитанные многой скорбью их жителей, изнывающих в заботах о куске хлеба и о продлении своей жизни, всецело состоящей из труда, несомого ими в поисках за трудом»,[1] — и в них живут «жители— тоже серые, тоже сутулые, обтерханные, всегда чем-то ущемленные, подавленные».

[1] 1895 г., № 203.

В этом городе, нищем по материальному уровню преобладающего большинства населения и тусклом по общему своему культурному виду, жили «дикие» люди и господствовали среди них «дикие» нравы. Обывательская масса населения — предмет наиболее частых фельетонных характеристик и публицистических суждений М. Горького.

Каков самарский обыватель в свете острых и настойчивых оценок М. Горького? Это — человек «пустой и бледной жизни», «с серень-ким существованьицем», человек без подлинных культурных корней, без осмысленного и яркого поведения. Это «маленькие люди», которые делают свои «маленькие дела», направленные к собственному возвеличению и к умалению и ущемлению «ближнего». Обыватель ко всему, кроме собственного благополучия, решительно равнодушен; он негодует только против тех, кто мешает ему спокойно наслаждаться «киселем самоуслаждения и утопать в мутной тине окружающей его обстановочки». Косный болотный житель, утопающий в грязи и невежестве, он пассивно примиряется с «неудобствами своего существования», он насквозь фаталистичен. Неизменными «авось, небось и как-нибудь» он прикрывает свое разгильдяйство, оправдывает безделье, неспособность к борьбе за свои естественные права. М. Горький отметил, что обыкновенного, будничного человека и похвалить-то не за что, ибо «если большинство будничных людей и не делает крупных отступлений от общепринятой морали, — так это только потому, что оно вообще ничего не делает». Лишенный пафоса борьбы, той борьбы, которая «воспитывает дух человека и оживляет энергию общества», которая заставляет «спорить, вздорить и, главное, рассуждать», обыватель живет в «пустоте», он «утратил способность вообще к какой-либо деятельности». Вот почему «в наше скучное и мелкое время нет крупных событий и нет ничего крупного», а обыватель даже крупного скандала сделать не может. «Мелкое время» породило насквозь гнилого человека, и М. Горький разоблачал внутреннее его «содержание». Он говорил о душах обывателей, которые «засорены и выпачканы пылью и грязью»; он презирал обывателя за лицемерие и ложь, за повседневное надувательство в быту, за «неискоренимо жестокие нравы», за потрясающее безвкусие.

Желая в наглядных фактах показать всю убогость внутренней жизни обывателя и поразительное однообразие его расцвечиваемого скандальчиками поведения, М. Горький не случайно так часто останавливался на самарских развлечениях. Известно, что повседневно обыватель развлекался азартной игрой в карты, что в праздничные дни его жизнь разукрашивалась визитами, что высокого жизненного «тонуса» он достигал лишь в разгульном пьянстве и в праздничном обжорстве. Это—исконные, освещенные традицией, как бы массовые бытовые развлечения. Они разнообразились индивидуальными проявлениями произвола, дикого чудачества. И М. Горький обильно рассыпал в своих фельетонах жуткие картины этих бытовых «шуток». Но его внимание останавливали преимущественно те обывательские развлечения, которые свидетельствовали о более глубокой внутренней опустошенности, возникшей в итоге бессодержательной и застойной общественной жизни. Обывателю

нечем было заполнить страшную «пустоту своей жизни», нечем было расцветить серенькое свое существованьице, он был лишен «желания разумных и веселых развлечений», у него не было «никакой любви к общению в местном обществе»,— и вот он, оглушенный скукой, страстно присасывался к сплетне, к «глупейшему кляузничеству», к «скандальчику». Сплетня, ябеда, кляуза, страсть к газетным «опровержениям», взаимное заушение, «доносы, доносики, доносищи» суть «плоды свободного творчества обывательского ума». К ним присоединялась страсть обывателя к смакованию скандальных инцидентов. Обыватель любил судейские случаи, — любил и сам судиться и любил смотреть, как судят других. В первом случае страсть «культурного» обывателя свидетельствовала о том, что он почувствовал «позыв на гласность» и хотел, чтобы «его семейные делишки приняли значение немалых общественных событий». Во втором, — что скука самарской жизни настолько была сильна и до того «заела» обывателя, что на беды и несчастья других людей он смотрел как на род развлечения. Так, по словам Иегудиила Хламиды, «двигается самарская жизнь по пути к полному прекращению всякого деяния».

Исключительное внимание М. Горький уделил хулиганским выходкам обывателя, как особому роду весьма популярных в Самаре развлечений. В своих фельетонах М. Горький многократно говорил о «непобедимом и воинственном племени», о «неукротимых дикарях русского Чикаго» — самарских хулиганах-горчишниках. В их «воинственном» поведении, как и в причине этого поведения, М. Горький видел много общего с «развлечениями» мирного обывателя. У горчишника «органическая ненависть ко всему, что так или иначе намекает на культуру». Корень хулиганства — «пустота жизни» и вызываемая ею «скука», — ибо нет «развлечений, воспитывающих юношество, облагораживающих его, развивающих, способных захватить собой, заинтересовать молодую, жаждущую впечатлений бытия душу». «Обалделый от скуки и пустоты жизни» горчишник развлекался «творением диких выходок против мирных обывателей». М. Горький однако не склонен был считать хулиганство неискоренимым злом и возражал также против суждения, что «доброе старое время» не знало подобного явления. Разумная, культурная работа с горчишниками, этими исконными представителями окраинного населения города, могла бы, по мысли М. Горького, преобразовать их психику и навыки. Он с особой теплотой отмечал случаи, когда разумные развлечения направляли воображение горчишников в положительную сторону.

На первый взгляд фельетонные зарисовки М. Горьким поведения обывателя кажутся собранием жутких анекдотов из российской провинциальной жизни, собранием, не приведенным им к одному знаменателю, не объясненным одним определяющим его «законом». На самом деле М. Горький имел объяснение целому, но не считал нужным задерживаться на нем долго. Пытливо наблюдая окружающую жизнь, он находил признаки общей социальной болезни, причины которой ему были ясны; он приводил бесчисленные факты, которые свидетельствовали о «дряхлости души» обывателя, о «нашей

скуке, нашей косности, нашем преждевременном и потому необъяснимом старческом маразме». И предпочитал, вероятно по соображениям цензурным, не останавливаться на очевидных для вдумчивого читателя корнях этого явления. Обобщая наблюдение, М. Горький сказал о жизни обывателя, плененного скукой и бездельем: «почва, на которой произрастает такой ядовитый гриб, та же, что производит и все другие плоды этого рода, — отсутствие осмысленной жизни и разумной, возвышающей душу деятельности».[1]

Если такова в обрисовке М. Горького низовая обывательская масса, то, быть может, более отрадную картину представляли иные, ведущие сословия и группы населения провинциального города? Но, по характеристике М. Горького, от массы недалеко ушла и верхняя «прослойка» населения города. Мы видели уже, какими отрицательными чертами он определял поведение «хозяев», «отцов города», его управителей. К ним примыкало и купеческое сословие, в руках которого было благосостояние города и его административный руль. М. Горький четко определял ведущее для современного крупного торгового города, а с ним и для промышленности всей страны, положение и силу купца, но и о нем он сказал жестокую правду: что купец не «окультурился», что купечество во всем своем сословии и в отдельных своих представителях — купцах-миллионерах—осталось тем же диким племенем, примечательным прежде всего самодурством, безграничной преданностью своему богу—целковому, беззаветной «любовью к своему карману», хищнической «купецкой сметкой». И теперь, как и во времена стародавние, самарские «толстосумы» жестоко обманывают при продаже, объегоривают крестьян, эксплоататорски относятся к приказчикам, «мальчикам» и интеллигентному труду. Дикие выходки и развлечения купцов «разукрашивают» провинциальную жизнь уж слишком яркими красками. Купец остался «чумазым», сохраняя в себе «первобытность отношения к людям и взглядов на просвещение», плохо понимая требования растущей жизни и прогрессивных запросов современности. Он, конечно, ненавидит местную прессу, показывающую ему время от времени кривое лицо его жизни, — и тем настойчивее М. Горький выдвигал перед фельетонистами «купеческую тему» и считал не лишним «пощекотать им селезенку, — пусть позеленеют немного».

Столь же определенны оценки М. Горьким и другого «верхушечного» слоя общества — интеллигенции. Ей достаточно много уделено внимания в фельетонах Иегудиила Хламиды, и она предстает перед нами во всем своем убогом виде. М. Горькому не за что уважать рядовую интеллигенцию, которая не боролась за свое право идейного гегемона, обессилела под жизненными ударами, легко перерастала в рядовых обывателей и сливалась с общей обывательской массой. М. Горький говорил: «Мне было снова неясно, почему интеллигенция не делает более энергичных усилий проникнуть в массу людей, пустая жизнь которых казалась мне совершенно бесполезной, возмущала меня своей духовной нищетой, диковинной скукой, а особенно — равнодушной жестокостью в отношении людей

[1] 1895 г., № 270.

друг к другу». М. Горький утверждал, что основной порок интеллигенции — «недостаток коллективизма, корпоративных чувств, недостаток культуры духа у людей, роль которых в жизни так глубоко важна». И основной упрек, который он послал в адрес интеллигенции, сводился к тому, что она не сумела «сохранить в себе святого огня, который все очищает собой и при свете которого были бы невозможны те тусклые дни и неясные инциденты и все то, чем наполняется день изо дня бедная жизнь нашего общества».

В роли фельетониста — строгого судьи и разоблачителя социальных пороков — М. Горький останавливался почти исключительно на этих отрицательных сторонах современной ему провинциальной интеллигенции. Это — интеллигенция, отрекшаяся от боевых традиций своих предков, пассивно и бесстрастно тянущая свою «тусклую, скудную будничную жизненку». В жизни современного общества роль такой интеллигенции, не имевшей своего определенного и приличного места, загнанной в самые глухие закоулки жизни и живущей как бы без «законного основания», — ничтожна. Это — совершенно лишние и притом фальшивые люди. Интеллигент фальшив в особенности тогда, когда, пытаясь взвалить на свои плечи бремя хотя бы самых малых общественных обязанностей, прикрывает свои скромненькие дела либеральными взглядами. По определению М. Горького: «Сколько в нем великодушия, простодушия, мягкодушия, благодушия» — и в итоге «двоедушия»!

Он двоедушен уже потому, что даже не пытался согласовать свои интеллигентские взгляды, суждения и «принципы» со своим, далеким от всего этого, бытовым и социальным поведением. Интеллигента прежде всего обличало его отношение к женщине, как к существу, которое он не признавал во всем и всегда себе равным. «Женская» тема, к которой многократно и настойчиво возвращался в своих фельетонах М. Горький, показана им как одна из самых подлых и мрачных сторон современного социального строя и «интеллигентного» общества. Интеллигент, у которого «под гнетом будничной жизни и ее омертвляющих душу мелочей» иссякло стремление к духовной жизни, не мог создать крепкую семью и воспитать другу-жену. М. Горький сомневался в том, чтобы созданная современным мужчиной женщина-жена, лишенная «душевных ресурсов» и «морального фонда», была способна взяться «за построение семьи, которая должна быть школой, имеющей воспитать в их будущих детях любовь к родине, стремление к подвигу во имя ее, благородство духа, понятие о чести и справедливости».

Характеризуя современное интеллигентное общество, М. Горький не мог не обратить особенного внимания на молодое, подрастающее поколение, будущих граждан страны, долженствующих направить жизнь по восходящей, творческой линии. Но и здесь его оценки были отрицательными, его взгляды пессимистическими. М. Горький сравнивал старое студенчество, воспитанное на идейных традициях шестидесятников, с современным студенчеством, отразившим в своем сознании и поведении глухие годы идейной немощи и распада. В идейных стремлениях и внешнем поведении прежнего студенчества всегда можно было увидеть черты «благородства и чести», на

него можно было положиться, как «на надежду и опору России, будущих граждан и руководителей жизни страны». И пусть в этих студентах не было культурного шика, внешнего блеска, и пусть по первому взгляду они казались «такими хмурыми, серыми, сухими и серьезными», но они «производили впечатление корпорации духовно слившихся людей». Совсем в другом виде представлялась М. Горькому преобладающая масса современной студенческой молодежи, которой он вынес определенный приговор: «теперешние— плохи». «В общем, в массе, студенчество, как и общество, умертвило в себе душу живую, оскудело духом, променяло идеалы на идолов, забыло все святые слова и живет без морали, инертной жизнью людей духовно нищих».[1] И такую молодежь М. Горький не считал истинным защитником интересов страны, выразителем ее подлинных идейных запросов и стремлений.

Было бы совершенно неверно думать, подобно «Самарскому вестнику», который вступил по этому поводу в горячую полемику с Иегудиилом Хламидой, что М. Горький в своих характеристиках современного общества отвергал молодую силу в целом. М. Горький не считал, что дух немощи охватил все молодое поколение, что идейное упадочничество без остатка поглотило современную молодежь. Однако обличительная позиция М. Горького-фельетониста, — необходимость говорить в первую очередь о тех явлениях, которые мешали обществу итти вперед, — борьба М. Горького с темными, отрицательными сторонами жизни обязывала его прежде всего и по преимуществу говорить о том, искоренение чего он считал главнейшим общественным делом.

Всматриваясь в жизнь современного общества в условиях большого и типичного провинциального города, М. Горький остановил пристальное свое внимание и на демократических группах населения, которые хотя и не занимали ведущего положения, но делали большое дело страны и при этом находились в условиях необычайно тяжких. Они пользовались всеми симпатиями М. Горького — выходца из пролетарских низов. Горячая забота о «маленьком человечке», постоянная защита его прав, ущемляемых всеми, кто стоит над ним, проходят отчетливо через огромное число фельетонов М. Горького и характеризуют его позицию публициста-демократа, истинного заступника интересов угнетаемых и эксплоатируемых классов. М. Горький говорил: «Как ничтожна жизненная роль и как велика ответственность маленького человечка! Кажется, все неприятные казусы жизни наметили себе его крохотную серую фигурку, наметили и изощряются над нею, заставляя маленького человечка в тоскливом недоумении метаться туда и сюда в страхе и трепете за свое «я», которому со всех сторон угрожают путы жизни».[2]

В фельетонах М. Горького мы найдем сочувственные зарисовки жизни и быта городских окраин, жизни бедноты, для которой грош—большая сумма, которая бьется за право как-то жить на клочках земли,

---

[1] 1896 г., № 14.
[2] 1895 г., № 240.

с трудом и самовольно оторванных от городских угодий, которая жадно ищет хоть какого-нибудь заработка. С особой теплотой говорил М. Горький о детворе окраин, о детях тружеников, об этих «маленьких, чумазых и оборванных особах», об этом «солидном, озабоченном, как будто бы плохо накормленном и немного злом, хотя все-таки веселом и любящем позабавиться» народе. Он ценил талантливую предприимчивость в бродяжных представителях этих «будущих людей» и грустил о малышах, не поступивших в школу.

Немногим лучше жизни бедноты было материальное и правовое положение мелкого служащего, который при скудном своем заработке претерпевал повседневно ущемление своих прав и чувства своего человеческого достоинства. Перед нами проходят наглядные случаи из производственной и бытовой жизни пожарных, кондукторов конки, служащих больниц, железной дороги, торговых заведений. М. Горький тщательно освещал все случаи материального ущемления служащих и рабочих, писал о гонениях на мелких служащих, о гнусном отношении начальства к подчиненным и его приемах «скулодробления», об увеличении часов работы для приказчиков, о служащих, которым не разрешалось болеть, о ничтожных пособиях думы сиротам и вдовам служащих и т. д. и т. п.

М. Горький не оставил без внимания тяжелые условия жизни и работы детей-мастеровых, обрисовав случаи эксплоататорского отношения к мальчикам-подросткам на производстве, в типографиях, на казенном винном складе. Прямо и энергично М. Горький-фельетонист заступался за беззащитных «чумазых крошек», считая, «что слишком много гибнет мальчиков, ибо слишком мало уделяют им внимания».

М. Горький, конечно, говорил бы столь же энергично и об условиях работы промышленного пролетариата, но, как видно из приводимых ниже в комментариях к фельетонам цензурных материалов, первые же случаи раскрытия М. Горьким в печати несчастий на производстве с мастеровыми или же эксплоатации рабочих[1] вызвали суровое вмешательство охранительно-цензурных органов, и в дальнейшем М. Горький вынужден был обходить эту исключительно волновавшую его сферу наблюдения.

Многие страницы своих разоблачительных фельетонов М. Горький уделил и тому культурному слою, который ближе других соприкасался с народом, отдавая непосредственно ему свой труд, силы и таланты, — низовым (городским и сельским) учителям, этим «скромным и бескорыстным труженикам, тихо творящим великое дело воспитания будущего человека». Говоря об их скудном материальном положении, об их месте в обществе в качестве лиц, на которых возложен «тяжелый и важный труд просвещения народа», которые совершают «на русской земле колоссальное дело просвещения», М. Горький всегда заметно менял тон речи, вытесняя обычную свою фельетонную иронию взволнованным и теплым языком серьезного публициста. Его рассказы о суровой жизни и «мучительном виде каторжной работы» учителей полны высокого уважения к «малень-

[1] 1895 г., № 208, 213, 225.

5525

ким героям» страны: «В наше худосочное, скептическое время, среди всеобщей моральной нищеты, среди шатания мыслей и смятения духа даже у передовых представителей культуры, — в наше бедное подвигами время, — тем ценнее и поучительнее гигантская работа этих маленьких, незаметных людей, — неустанно, не щадя своих юных сил перерождающих массу, бросающих в подавляющую ее тьму искорки знания. Да здравствуют маленькие, — когда нет больших героев!»[1]

В таком виде, окрашенном сплошь в серые, унылые или темные, мрачные тона, предстал перед М. Горьким облик типичного для тогдашней России провинциального города со всем его неустройством.

Следует ли думать, что М. Горький-фельетонист сосредоточивал свое внимание исключительно на явлениях темных, игнорируя или не замечая в той же провинции явления светлые, положительные? В какой-то мере — да. По роли фельетониста-обличителя отрицательных сторон текущей действительности М. Горький отмечал по преимуществу те проявления общественной жизни, которые подлежали газетному публичному обстрелу, острому фельетонному осмеянию, беспощадной критике. Явления внешней культурной жизни, дела культурных учреждений также входили в круг внимания М. Горького-фельетониста, но и в них он отмечал лишь то, что требовало административного исправления, более строгого общественного контроля, подлинного культурного отношения. В Самаре уже были нововведения — конка, телефон,—наличие которых само по себе было явлением примечательным. «Конка, — писал Иегудиил Хламида, — есть нечто, уже одним фактом своего существования долженствующее служить указанием на культурность и благоустройство города». Однако М. Горький не считал нужным говорить о положительной, совершенно очевидной для всех стороне этих факторов культуры, но отмечал тот разрыв, который получался от соприкосновения их с глубоким, коренным бескультурьем города и его деятелей. Он писал и о бесполезной, подчас комической, но чаще возмутительной деятельности местных обществ, и о работе библиотек, и о местном театре.

Городской профессиональный театр не был в центре внимания М. Горького-фельетониста, но оценке разных сторон театрального дела в самарских условиях он отдал все же сравнительно много страниц. Здесь и критическое освещение организационных вопросов театра, и беспощадная характеристика некультурной театральной публики, и очень суровые требования к артистическому исполнению с полным отрицанием дилетантизма и ремесленничества в искусстве, и острая критика пошлого репертуара. Однако в большей степени М. Горького интересовали вопросы, связанные с массовым зрелищем — с народным театром и развлечениями, с тем театром, которого в сущности еще не было, но который, по глубокому убеждению М. Горького, непременно должен быть. И здесь наблюдения и высказывания его высоко принципиальны и весьма показа-

[1] «Несколько теплых слов». — «Самарская газета», 1895 г., № 124.

тельны. М. Горький выступал горячим защитником настоящего театра для народа с высококультурным содержанием, с образцовым исполнением актеров, спаянных «общим серьезным сознанием важности дела». Он решительно протестовал против пошлых эстрадных номеров и шутовского народного балагана, как и против холодного и вялого огня увеселений, который «не может разжечь и оживить местную жизнь». Народу нужно развлечение, «поучающее и воспитывающее ум», нужно рядом со зрелищем дать и увлекательные занятия: народные чтения, популярные научные лекции, в частности лекции по истории литературы. Это задача столь серьезная и ответственная, что ее разрешению должны быть отданы, по утверждению М. Горького, лучшие идеи и силы общественно-культурных работников.

Находя и эти темы среди фельетонных материалов М. Горького, мы убеждаемся, что поле его наблюдений было исключительно обширно и разнообразно, что он не столько отбирал нужные ему явления, сколько в каждом из них находил поучительные черты. Это и предопределило единство его подхода к разнообразным сторонам современной жизни, единую точку зрения его на современность.

Можно решительно утверждать, что профиль самарской общественной и бытовой жизни воспринимался М. Горьким не как исключение, не как частный случай, но как типичное лицо всей тогдашней России, как облик всей современности. М. Горький пришел к этому обобщению потому, что не скользил по поверхности фактов, но в каждом из них доходил до его корней, искал причины его образования, ставил вопрос о его значении для всего хода русской общественной жизни. Для М. Горького названные, явленные темы фельетонов были лишь поводами раскрыть волновавшие его темы внутренние, мысли потаенные.

Вид современности настраивал М. Горького временами на пессимистический лад. Но огромные внутренние силы М. Горького, всестороннее знакомство со сложными ходами жизни и подлинно объективный взгляд на вещи дали ему опору для преодоления «оскорбительной» действительности, того общего потока уныния, который охватил преобладающую часть тогдашней буржуазной интеллигенции. М. Горький говорил: «вполне естественно желание человека заглянуть вперед, — ибо назади у него так мало, а в настоящем и еще того меньше». Пусть «настоящее неудовлетворительно», но ведь есть будущее, ради которого можно и должно перестраивать настоящее. Будущее должно быть лучшим, но оно не станет таким само по себе, оно не вытечет «просто так» из «подлого» настоящего. Надо «желать» это будущее, надо готовиться к нему, надо делать все для того, чтобы оно явилось скорее: «оно никогда не настанет, никогда, если люди его не захотят, и не захотят страстно». А для этого нужно теперь же, сейчас, немедленно вмешиваться в «дело жизни», нужна «нервная, кипучая жизнь», нужна борьба, которая «воспитывает дух человека, оживляет энергию общества», нужен неустанный труд, ибо прежде всего и всегда «жизнь есть труд».

Вот почему М. Горький-фельетонист с таким упорством, хотя и с малыми сравнительно результатами, выискивал среди своих

современников рядом с дурным проявление хорошего, высоко положительного, образцового, будь это активные действия мужественных натур или чуткое отношение к человеческому достоинству. М. Горький убежден, что современная «публика должна знать все дурные стороны своего быта, чтобы тем упорнее искать среди них хорошие, а, не найдя, создавать такие». М. Горький знал, какое социальное поведение человека дает ему право на почетное признание в грядущем, и страстно внушал своим современникам желание заслужить это право. И следующие его декларативные слова звучат как определение основного, ведущего смысла всей его публицистической деятельности: «Мы живем в странное время оскудения энергии, в равнодушные, скептически-тусклые дни, и на нашей обязанности лежит исправить это, расцветить жизнь желаниями, оживить ее поступками, облагородить мыслью и всячески сделать ее более разумной, живой и разнообразной; мы ничего не делаем в этом направлении, прикрываясь от укоров совести, как щитом, нашим амплуа маленьких, шаблонных, дюжинных людей».[1]

Можно не сомневаться, что положительная часть этой программы в полной мере применима к самому М. Горькому. Если в обличительных своих фельетонах самарского периода М. Горький — Иегудиил Хламида дал жесткий и разносторонний анализ отрицательных явлений жизни, то в своих художественных образах, в рассказах и легендах, появлявшихся на страницах «Самарской газеты» того же времени, М. Горький утверждал высокие положительные жизненные начала. Широкое приятие жизни и оптимизм в таком рассказе, как «На плотах», образы людей с цельными характерами, с открытыми и чистыми, подлинно человеческими чувствами в рассказах: «Возвращение норманнов из Англии», «Однажды осенью», «Ма-аленькая!», «О том, как поймали Семагу», «Бабушка Акулина», восторг перед героическим началом жизни, закрепленный в рассказах: «Песня о Соколе», «Старуха Изергиль», признание огромной одухотворяющей роли красоты в жизни человека в рассказе «Красота» — вот те социальные идеи и чувства и те ярко индивидуальные словесно-художественные средства их выражения, которыми М. Горький на первых же порах своей литературной деятельности стремился «исправить» жизнь, сделать ее «разумной, живой и разнообразной».

Итак, с первых же шагов своей работы в роли газетчика-фельетониста М. Горький смело вышел за пределы простейшего обозрения явлений местной жизни. Он не пошел по линии наилегчайшей и не ограничил свою задачу микроскопическим изучением и поверхностной оценкой соответствующего газетного материала, но стал на путь обозревателя и судьи главнейших бед тогдашней провинциальной, а с ней и вообще российской действительности. За М. Горьким — журнальным работником стоял огромный опыт М. Горького — гражданина своей страны, измерившего своими шагами ее огромные пространства, соприкоснувшегося непосредственно с жизнью различных групп населения, познавшего, по его словам, «где я

[1] 1895 г., № 160.

живу и что за народ вокруг меня», гражданина, проникнутого чувством глубочайшей ненависти к мерзкой действительности и горячей уверенностью в необходимость и возможность преодоления всех социальных пороков.

Особенность гражданского чувства и журналистского чутья М. Горького была в том, что он безошибочно находил основное и важное в конкретных житейских фактах и случаях. Отсюда особая сила и убедительность его выводов, неотразимая правда его суждений и оценок.

Фельетоны М. Горького всегда подводят к обобщающим идеям, в которых в полной мере отражены пролетарское сознание, высоко прогрессивная мысль и гражданское чувство их автора — замечательного представителя широчайших трудовых масс. И вот почему поучительно следить, как за простейшим случаем, по-особенному, «по-своему» рассказанным и освещенным фельетонистом, проступает то тематическое зерно, которое в дальнейшем, в растущем сознании М. Горького, даст жизнь большим принципиальным идеям.

4

Какие художественные черты присущи М. Горькому-фельетонисту, в чем характерная стилевая особенность цикла фельетонов «Между прочим»?

Отметим прежде всего внешнюю черту, не встречающуюся в других публицистических статьях М. Горького: коротку фразовую строку. Строку эту Иегудиил Хламида ввел по примеру других фельетонистов: она была у его предшественника по фельетону «Между прочим» С. Гусева (Слово-Глаголя), у известного фельетониста В. Дорошевича, — в 1895—1896 гг. сотрудника «Одесского листка»,— который нередко сводил строку даже к одному слову. Короткая строка в дальнейшем перешла и к преемнику Иегудиила Хламиды по циклу «Между прочим». Но «короткая строка» была все же приемом необычным в газетной практике и вызывала недоумение «старых» журнальных работников. Так, Короленко писал редактору «Самарской газеты» А. А. Дробышевскому в июле 1896 г. по поводу фельетонных промахов преемника М. Горького по отделу «Между прочим»: «Или уж в Самаре, с легкой руки Слово-Глаголя и Хламиды, так стали необходимы короткие строчки, что их необходимо дать непременно, хотя бы без всякого содержания?» У Иегудиила Хламиды короткая строка была всецело связана с техническими заданиями фельетона, со смысловыми ударениями в развитии темы: она подчеркивала, выделяла отдельные, особо важные элементы повествования и тем самым облегчала усвоение читателем опорных фактов и наиболее значительных мыслей фельетониста.

Фразе Хламиды свойственен также особый ритм: желая подчеркнуть интонацией вторую, наиболее значимую часть фразы или же отдельное слово-понятие, слово-образ, он вводит тире. С целью же выделить наиболее существенные темы в прямой речи, он разбивает ее на абзацы. Однако, судя по тому, что ни в параллельном цикле статей «Очерки и наброски», ни в фельетонной своей работе

последующих лет М. Горький не воспользовался этими приемами, можно утверждать, что он их не считал для себя органическими.

При чтении первых же фельетонов Иегудиила Хламиды останавливает на себе внимание деление фельетона на ряд отдельных кусков, частей с особыми темами. Это внешнее построение статьи, обусловленное дробностью ее тематики (что оправдано специальным подзаголовком фельетона: «Мелочи, наброски и т. п.»), у М. Горького также не оригинально. Он следовал здесь образцам своего предшественника по этому же фельетону — Слово-Глаголю, который в свою очередь продолжал фельетонную практику 80—90-х годов (ср. хотя бы такое же дробление фельетона на «куплеты» в фельетонах «Осколки московской жизни» 1883—1884 гг. А. Чехова). Но Слово-Глаголь, ссылаясь на «бестемье», отсутствие происшествий в Самаре или же на незначительность фактов, часто нарушал эту форму фельетона и вводил в него «сценку» или «рассказ». То же вынужден был делать и Иегудиил Хламида, нередко используя деление фельетона внутри для развития фактически одной темы или же распространяя одну тему на ряд фельетонов. Ограниченный рамками короткого фельетона, М. Горький неоднократно развивал тему параллельно в двух статьях: в «Между прочим» и одновременно, в том же номере газеты, в «Очерках и набросках».

Все случаи внешнего или внутреннего нарушения принятого деления фельетона были вызваны особым пониманием М. Горьким своей задачи как фельетониста и отношением его к описываемым фактам. М. Горький строил фельетон на повседневных фактах местной жизни, описывая и объясняя те явления и случаи, которые должны были обратить на себя внимание читателя. Факт для М. Горького не был случайностью, чем-то беспричинным и единичным; он воспринимал его как сгусток множества сходных явлений, как звено из большой цепи однородных социально-бытовых фактов, закономерных и высокопоучительных. Об этом свидетельствуют следующие его слова, написанные тогда же, в разгар его публицистической деятельности: «Это глупо, как факт, — сказал Бальзак, и этим он как нельзя более точно определил значение факта самого по себе. Факт сам по себе только нужен, и он очень мало поучителен и ценен до поры, пока путем толкования и исследования не будет превращен в феномен. Каждый факт — это синтез целого ряда посылок, узел, связующий сотни ниток, квинт-эссенция многих капель сока нервов, крови сердца, слез отчаяния. В каждом факте коренится глубокий жизненный смысл, корни его проросли далеко в прошлое, и в каждом факте непременно есть две, всегда одни и те же, типические, всем явлениям жизни одинаково присущие черты, — степень сознательного участия человека в творчестве факта и степень влияния созданного факта на душу человека и вообще на его жизнь».[1]

Факт для М. Горького был явленным во вне и ставшим тем самым видимым результатом определенных внутренних процессов. А поскольку М. Горький-фельетонист ставил своей задачей говорить

[1] «Беглые заметки».—«Нижегородский листок», 1896 г., № 271.

о явлениях бытовых, общественных и социальных, то факт, конкретный случай интересен ему не сам по себе, но как основание для обобщающих наблюдений, как повод для характеристики коренных особенностей в ходе русской жизни, в социальном поведении человека. Вот почему, интересуясь мнением о своей фельетонной работе такого опытного публициста, каким был Короленко, М. Горький прежде всего запрашивал его отзыва по поводу отбора и освещения фактов: «Как я трактую факт? О самой ценности факта? О тоне?» Вот почему, дорожа фактом, как внешним знаком глубокого по своей сущности и многозначимого социального явления, М. Горький все свое публицистическое внимание сводил к определению внутренней его природы, его значения. А для этого он комбинировал факты в нужном фельетонисту распорядке. Нередко он сводил ряды мелких фактов и наблюдений к одному тематическому узлу, легко переходил от тем внешних, конкретных к внутренним, смело переключал мелкую фельетонную тему в обсуждение большого общественного вопроса, брал обыкновенное явление или понятие и далее использовал его при новом, неожиданном освещении или в обратном, противоположном плане.

М. Горький не задумывался над вступлением к фельетону, давая обычно простые, смелые, неожиданные начала; условных переходов к другим темам либо не было, либо они давались по ассоциации или по метафорическому началу. При этом одним из излюбленных приемов М. Горького было использование нескольких смыслов слова, каламбурное его обыгрывание. По ходу изложения для подкрепления мысли М. Горький прибегал к прямой или скрытой литературной цитате, к книжному образу, к вставкам из бытовых или литературных, в частности арабских, нравоучительных анекдотов, из сказок-легенд. Тема могла развиваться у М. Горького в виде открытой формы «размышления», философского и в то же время образного «раздумья», нередко облекаемого М. Горьким в излюбленную им афористическую форму.

Для всей серии фельетонов М. Горького характерен и другой принцип: стремление к наглядности, к конкретности не только фактической, но и образной. Фельетонную тему М. Горький подавал приемами творческой импровизации, образно «иллюстрируя» трактуемую тему. Он раскрывал тему в наглядной форме диалога или монолога — с живыми интонациями, с характеристическими особенностями; дополнял развитие темы живыми, творчески импровизированными деталями; создавал «выдуманные» бытовые сценки-импровизации в виде наглядных иллюстраций к уже высказанному положению.

Не редки случаи, когда описательно-бытовая часть увлекала М. Горького за счет фельетонной злободневности приводимого случая, когда из-под пера фельетониста рождались юмористические или серьезные бытовые, описательные сценки, не имеющие прямого отношения к фельетонной тематике. Образное раскрытие бывших в действительности или выдуманных автором случаев обычно делалось им открыто с соответствующими мотивировками: «мне так рисуется это традиционное происшествие...», «представьте себе такую

картину...», «я не могу лишить себя юмористического удовольствия— изобразить здесь события, предшествующие [случаю]...», «наверное они происходили в такой форме и порядке...» Эта импровизированная образная игра, насыщенная богатым творческим воображением, добротным бытовым колоритом, выполнявшаяся М. Горьким по его признанию «с удовольствием», является очевидным прорывом в художественность, как бы «контрабандным» использованием творческих сил М. Горького-беллетриста. Для многих моментов газетной работы М. Горького эта художественная особенность его письма облегчала ему пережить полосы «бестемья», в которые неоднократно попадал фельетонист, когда писать было решительно «не о чем», когда фельетонист был вынужден либо давать фельетоны «пустые», заполненные «соусом из фельетонной болтовни», бессодержательными разговорами и юмористикой, либо брать первый попавшийся сюжет. В этих случаях способность фельетониста художественно «обработать» наблюденное, беллетризировать бытовые факты являлась спасительным средством.

Отношение М. Горького-фельетониста к живописуемым им явлениям и к обсуждаемым им фактам наиболее наглядно выражено в том тоне, в котором он вел свои фельетоны. «Я был недоволен губернатором, архиереем, городом, миром, самим собою и еще многим», — вспоминал впоследствии М. Горький («В. Г. Короленко»), и это недовольство ярко выразил в своей фельетонной манере. Ставя своей основной задачей вскрывать отрицательные стороны жизни, разоблачать обывателя и обывательщину, М. Горький придерживался отчетливо иронического тона, причем проводил его не в мягкой манере, а в жесткой, суровой, с едким сарказмом и негодованием. Его ирония, редко легко-шутливая, чаще — серьезно-негодующая, носит презрительный, издевательский характер, подчеркивающий глубокую ненависть фельетониста к тем отрицательным социальным явлениям, о которых он вынужден рассказывать читателю. Стремясь отчетливо выразить ироническое отношение к разоблачаемому явлению и дать более острое его восприятие, М. Горький прибегал к преувеличению, к гиперболе, к гротеску, подчас доводя свое изображение до открытых памфлетных форм.

М. Горький придавал особое значение тону фельетонного письма, сознавая, как он говорил, что писать надо «живее», избегая «пошлозубоскальского тона» и в то же время ни на минуту не теряя пафоса борьбы. Он ратовал за тот тон, который держал бы обывателя в постоянном «беспокойстве». Он писал Короленко: «Но — газета! Я ею доволен, она не дает спокойных дней здешней публике. Она колется, как еж. Хорошо! Хотя нужно бы, чтобы она колотила по пустым башкам, как молот».

5

Таковы тематические и стилевые особенности горьковского фельетонного цикла «Между прочим». По всем этим данным видно, что фельетон Иегудиила Хламиды был явлением живым и примечательным в жизни «Самарской газеты». Но доходил ли он до сво-

его читателя, оказывал ли какое-либо влияние на самарскую общественную жизнь? На эти вопросы трудно ответить исчерпывающим образом по той причине, что судить о прямом значении фельетонов для своего дня мы можем лишь по отдельным откликам современников по поводу работы газеты. А как видно из слов самого фельетониста в целом ряде его фельетонов, такие отклики на фельетоны Иегудиила Хламиды со стороны государственных и городских учреждений, местной печати и отдельных лиц были. Особенно показательна горячая полемика с Иегудиилом Хламидой «Самарского вестника». Иегудиилу Хламиде, по его словам, «чуть не каждый день приходится получать анонимные письма от обывателей и обывательниц», — конечно, хлестко ругательные. Были отклики злобные, «опровержения» и протесты, были отклики-доносы в высшие охранительные органы, и были отклики благодарственные.

Характерный для провинциальных нравов случай имел место с фельетоном М. Горького в защиту положения мальчиков-подростков на заводе Лебедева. Лебедев написал «опровержение» и одновременно, — как это видно из приводимого ниже комментария, — послал жалобу на М. Горького министру внутренних дел. Не полагаясь на результаты этой жалобы, он предпринял более радикальные меры, о которых вспоминал сам М. Горький. На вопрос биографа писателя И. Груздева — удавалось ли М. Горькому-Хламиде добиваться конкретных результатов от своих фельетонных выступлений, М. Горький ответил: «Удавалось. Владелец чугунолитейного завода Лебедев нанял двух рабочих бить меня. Они мне оторвали лацкан пальто, и я, в то время ходивший с палкой по причине ревматизма коленных суставов, должен был сломать палку в бою с нападавшими... Спустя некоторое время я с одним из них подружил и узнал, что наняты они были за 3 рубля».[1] Мемуаристы, говоря о раннем М. Горьком, вспоминают и о других попытках расправиться с фельетонистом таким же «бытовым» способом.

Не менее примечательно вмешательство в деятельность М. Горького-фельетониста государственных органов, о чем помимо обычных действовавших в газете цензурных правил отчетливо говорит приведенная ниже в комментариях переписка Главного управления по делам печати с самарским губернатором, вызванная характеристикой Иегудиилом Хламидой положения рабочих на местных вальцовых мельницах.

«Беспокоили» горьковские фельетоны и местного обывателя, о чем позднее М. Горький скажет в своих воспоминаниях «Вечер у Сухомяткина», приводя слова Лохова, председателя местного биржевого комитета: « — Неправильность, какую я вижу в газете вашей, та, что вы делаете из нее окружной суд, — внушает он мне.— Вы все — судите, а это — лишнее! Как церква должна поучать нас, так газета обязана рассказывать нам обо всем, что и где случилось. А судить — не дело попов, того меньше — газетчиков... Газета для удовольствия жителей, а не для скандала. Утром сядешь чай пить, лежит она тут же, на столе, а ты не решаешься

[1] «Новый мир», 1928, № 4.

в руки взять ее, — в ней, может быть, такое про тебя сказано, что она тебе весь день испортит. А деловой человек нуждается в душевном спокойствии».

Но не этими современными откликами, какое бы ни было их число, определяется значение ранних фельетонных выступлений М. Горького — Иегудиила Хламиды. Оно велико прежде всего в формировании М. Горького — литературного работника, впервые ставшего на профессиональный журналистский путь, получившего ответственное в жизни газеты задание и сумевшего в короткий, годовой срок создать острый, строго фактичный и идейно-напряженный фельетон. Работа М. Горького была исключительно трудной, «окаянной», по его определению, она протекала в обстановке беспокойной, — в условиях цензурного зажима, «самоуправского» недружелюбия и обывательского зубоскальства. В ней были, — да и не могли не быть у начинающего фельетониста, — определенные «срывы», стилистические промахи, резкие выпады, спешные выводы, обусловленные постоянно форсированной работой, частым «бестемьем», накаленной обстановкой газетного дела, личной жизнью, по слову М. Горького, «в непрерывной тревоге». Вспомним слова М. Горького, объясняющие появление подчас резкого, грубоватого тона в его газетных писаниях: «Если мы, газетные волки, вечно всеми травимые, иногда слишком зверски и резко огрызаемся, — нам это простительно. Мы утомляемся до бешенства и мы слишком много говорим для того, чтобы не ошибаться, а говорить меньше нам нельзя, потому что нас мало».[1]

М. Горький не закрывал глаза на свои ошибки, понимая их и как следствие внешних условий и как неизбежные «болезни роста» своего, и чутко прислушивался к дружеской, доброжелательной критике. Н. Гарин-Михайловский, по словам М. Горького, не одобрил его фельетонов: «Фельетонист должен быть немножко сатириком, — а у вас этого нет. Юмор есть, но грубоватый и владеете вы им неумело» («О Гарине-Михайловском»). М. Горький вспоминал и об отношении В. Короленко: «Потом, когда я писал в «Самарской газете» плохие ежедневные фельетоны, подписывая их хорошим псевдонимом «Иегудиил Хламида», Короленко посылал мне письма, критикуя окаянную работу мою насмешливо, внушительно, строго, но— всегда дружески» («В. Г. Короленко»). Короленко считал, что при всей талантливости М. Горького его ежедневные фельетоны нуждались в редакторских указаниях: «фельетоны у вас могут выходить гораздо лучше, чем они выходят, при некоторой сдержанности и осторожном к ним отношении».

Нервировало фельетониста и всегда осложняло работу вмешательство цензуры. М. Горький писал В. Короленко: «Цензор вынимает из моих писаний ребра, и получается какая-то густая и нелепая к^ша из разных плохо связанных мыслью слов. Я чувствую, что порчусь». И в итоге грустный вывод: «Меня никто не понимает и я понемногу перестаю понимать то, что делаю. Я чувствую себя виноватым перед собой же — это самое главное — за мои фельетоны».

[1] 1896 г., № 14.

«Плохие» фельетоны дали однако М. Горькому — газетному работнику огромный разносторонний опыт, развернули перед ним большое поле наблюдений, заставили отчетливее определить свои социальные устремления и впервые литературно их оформить. Опыт был замечен, талантливость М. Горького была высоко оценена его товарищами по работе в провинциальной печати, и совершенно закономерно вслед за Самарой М. Горький переходит в Н.-Новгород. Здесь он выступил в той же роли разностороннего фельетониста и публициста в «Нижегородском листке», что с одновременной работой в «Одесских новостях» явилось для него уже новой ступенью роста.

Значение фельетонной работы М. Горького для раннего периода его литературной деятельности совершенно очевидно. М. Горький решительно стал на путь фельетониста-общественника с определенной идейной направленностью, твердо знающего цели своей деятельности, упорно защищающего свои принципы, трезво реалистически оценивающего социальные явления. Во всех своих выступлениях он являлся горячим защитником низовых слоев города, широких пролетарских масс, самых различных групп трудящихся. Он открыто выступал на защиту человеческого достоинства и человеческих прав, где бы и кем бы они ни подавлялись. В самарский период публицистической деятельности М. Горького впервые были заложены те начала пролетарского гуманизма, которые столь блестяще, разносторонне и глубоко М. Горький развернул на всем последующем своем литературно-общественном пути.

Публицистическая деятельность М. Горького самарского периода не шла в отрыве от его художественной работы этого же времени. Правда, мы не сможем указать ни одного художественного сюжета М. Горького, который явился бы прямым и непосредственным отражением его фельетонной работы, его корреспондентских или хроникерских наблюдений. Но тем не менее отдельными своими мотивами, общей своей идейной направленностью, сходным рисунком реалистического письма его публицистика тесно связана с его беллетристикой. Примечательно однако не то, что отдельные мотивы его фельетонов — и не в малом числе — перешли прямо в рассказ, но то, что узловые фельетонные темы М. Горький счел возможным еще раз литературно обсудить, развив их в системе образов одновременных своих художественных очерков и рассказов. Темы об интеллигенции, женщине, семье, детях, обывателе сделались для раннего М. Горького-художника темами ведущими, многократно им разрабатываемыми в рассказах, публикуемых в газетах.[1] Публицистический тон преобладал в М. Горьком-беллетристе, и ряд его рассказов этого времени (первоначальный конец «Однажды осенью», «Открытие», «Сказка», «Одинокий», «Первый дебют» и мн. др.) сопровождался развернутыми рассуждениями, мыслями-сентенциями по волнующим писателя общественным вопросам. Лишь в после-

---

[1] См. рассказы, не включенные М. Горьким в собрание своих сочинений: «Свободные дни», «Открытие», «Отомстил», «Сон Коли», «Роман», «Нищенка», «Христославы», «Идиллия» и др.

дующие годы М. Горький стал «очищать» свою раннюю беллетристику от этого открыто публицистического слоя.

Для развития М. Горького-художника примечательна и та эскизная работа над бытовыми сценками с оживленным диалогом, которая занимала большое место в его фельетонах. Она явилась прямой практикой писателя в бытовой манере, и в дальнейшем из нее выросли развернутые по-настоящему, со всем богатством житейских подробностей и подлинным жизненным колоритом его реалистические диалоги, портреты, рассказы. Кроме того, охватывая тематику ранних фельетонов М. Горького в целом, можно уверенно сказать, что поздний, так называемый «окуровский» цикл повестей М. Горького о провинциальной дореволюционной России как по материалу наблюдений, так и по некоторым творческим особенностям корнями своими восходит к самарскому периоду фельетонно-художественной деятельности писателя.

С. Балухатый.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

(МЕЛОЧИ, НАБРОСКИ И Т. П.)

1895 год

1

... Устраиваем мы нечто новое, — конку, например.

Предварительно мы пьем, говорим спичи, поздравляем друг друга с тем, что делаем-де «шаг вперед» по пути культуры, превосходно напиваемся до «головокружения в ногах» и до более серьезных степеней и, наконец, пускаем дело в ход.

С первых же шагов оно обнаруживает все симптомы дряхлости, прострации и полного внутреннего разлада...

Вагоны конки почему-то сходят с рельс, кучера дьявольски выразительно ругаются, обыватели во все лопатки бегают за вагонами и что есть мочи орут кондукторам вагонов:

— Эй ты... эй! Останови ковчег-то!..

На разъездах вагоны дожидаются один другого по получасу, а то так происходят такие сцены...

На одном разъезде стоит вагон, на другом другой. Публика скучает, кучера тоже... лошади помахивают хвостами и покачивают головами, очевидно, недовольные порядками людей...

— Не едет! — думает кучер одного из вагонов, — и чего он, дьявол, не едет? Ведь, пора бы уж ему ехать. Али ин мне поехать? Нет, соткнешься, пожалуй. Дай пойду, посмотрю, чего он там захряс?

И отправляется.

А на другом разъезде тоже стоит вагон, и кучер его тоже думает:

— Не видать встречного-то! А время уж ему быть. С полчаса, чай, стою, жду. Куда бы это он девался? Пойти посмотреть...:

И тоже идет.

Оба встречаются на пути друг к другу и здороваются.

— Ты чего, анафема, не едешь?

— А ты?

— Тебя жду, чорта.

— А я тебя...

— Ну?

— Право!

— Ах, ты, кол те в ухо! Как же теперь?

— Надо ехать.

— А кому первому... тебе или мне?

— Валяй хоть ты.

— Можно... А то поезжай лучше ты, а я тебя подожду?
— Ну-к, что ж? Могу. А тебе разве не все равно?
— Мне-то? У меня, вишь ты, лошадь захромала чего-то, так я бы, пока ты едешь, посмотрел, чего она там...
— Ну, ладно... А давеча, пока там стоял, да ждал меня, чего не смотрел?
— Да вот ждал все... Думаю — сейчас ты приедешь, ну, и некогда было.
— Та-ак! Ну, так я еду.
— Действуй... Пассажиры-то ругаются?
— Да ведь же! Которым тоже к спеху надо, — здорово ругаются.
— И у меня тоже ругаются.
— О?
— Право слово. Вези, говорят.
— Ну?
— Сейчас, мол, повезу, — обождите.
— И ждут?
— Да, ведь, у тебя ждут?
— Ждут.
— Так что же ты спрашиваешь?
— А в сам-деле? Это ты, брат, верно.
— Ну, так я еду. Айда и ты...
— Иду... Ну, а как насчет восьми-то гривен? Зажиливают?
— Тут, брат, пиши — пропало...
— Ах, черти! Сколько денег сразу ограбили!.. Ловко они нас!
— Н-да... Обтяпали чисто... Ученикам, говорит, платежу нет.
— Ну... я иду...
— И я...

Наконец, они расходятся каждый к своему вагону... где их ждут терпеливые и нетерпеливые пассажиры.

Я, конечно, сознаю, что рассказанное мною — гиперболично, и что пока такого случая, кажется, еще не было.

Но он будет завтра, если не успеет совершиться сегодня...

... А засим — я лично конкой доволен.

Она имеет тенденцию ускорять движение обывателя, а обывателю необходимо куда-нибудь скорее двигаться, ибо иначе он превратится в китайца, к которому он и так уже духовно близок. А мне кажется, что он все-таки заслуживает лучшей участи, и по этой причине я бы желал для обывателя движения.

Пусть он куда ни то стремится и по дороге к цели да спадают с него одна за другой азиатские привычки и да выветривается страсть к диким выходкам! И да снизойдет в душу ему иное желание, более разумное и менее зверское, чем желание совершить катастрофу посредством подкладывания камней на рельсы конки с целью низринуть во прах вагон с пассажирами и разбить им черепа и физиономии, и переломать им руки и ноги, и всячески исковеркать и раскровянить ближних своих.

14 июля, № 149.

2

Привычка — великое дело!

У одного из восточных поэтов есть сказка о жабе и поэте.

Злой дух, преследовавший поэта, зло подшутил над ним, заставив его страшно влюбиться в жабу.

Я полагаю, что этот злой дух восточной сказки был не кто иной, как все тот же амур, — только этот ехидный божок может так зло шутить.

И вот влюбленный поэт сидел целые дни над болотом, напевал своей возлюбленной сладкие песни о счастии любви и звал ее с собой...

Маленькое отступление.

Зачем влюбленные всегда зовут возлюбленных с собой? Ах, какая это грустная ошибка с их стороны! Именно ей мы обязаны тем, что любовь не прочна. Соединяясь вместе, под одной кровлей, люди слишком быстро узнают друг друга, а уж это знание никак не может гарантировать прочность любви, ибо она, любовь, слепа только до времени.

Любовь на расстоянии — вот прочная любовь! «Он» в Астрахани, «она» в Архангельске, но между ними неразрывная связь душ поддерживается при помощи почтово-телеграфных учреждений — и этого вполне достаточно. Недорого — и чертовски прочно...

Ибо, не зная друг друга, люди всегда сохранили бы лучшие чувства, чего, согласитесь, никак не сохранишь при близком знакомстве друг с другом...

Я думаю, что мало-мальски опытные люди не усумнятся в истине моего положения.

Ну-с, так вот! — как говорит один мой знакомый.

Поэт звал возлюбленную с собой, рисовал ей картины совместной жизни в аромате цветов, под тенью пальм и говорил, что в общем их жизнь будет как две капли воды похожа на рай...

Но она спросила его:

— А тина будет?

— Тина? Нет!

— Какой же рай без тины! — скептически проквакала жаба и прыгнула в болото, а влюбленный поэт остался с носом...

Так всегда бывает с теми, которые имеют дурную привычку любить искренно!

Вы видите, какова сила привычки, — она и в раю требует тины.

Я заговорил о жабе потому, что хочу говорить о городской управе.

У нее тоже есть свои привычки.

Она, например, привыкла видеть кучи пыли на улицах.

Пыль на улицах — вещь хорошая, особенно в ветреный день:

В двух шагах от себя своего должника не узнаешь.

Воображаешь себя в Сахаре во время самума, натыкаешься на тумбы и фонарные столбы, принимаешь их за велосипедистов и извиняешься пред ними, вместо переулка попадаешь в окно магазина, и вообще пыль вызывает массу веселых приключений.

И управа привыкла ко всему этому.

Когда решено было замостить городские улицы, управа в недоумении подумала:

— А как же пыль?

И, показав в отчете, что улицы замощены, отнеслась к проекту о их замощении как к фантастической бредне беспокойных людей.

Но вот перемощена часть Дворянской улицы. Мостовая вышла гладкая, ровная, чистая.

— А где же пыль? — подумала управа. — Чорт знает, что вышло. Мостовую перемостили, улица осталась, — а пыли нет!

И, повинуясь привычке, она приказала высыпать на мостовую сто возов самой мелкой пыли.

— Ну, вот, теперь хорошо! — удовлетворилась она, глядя, как ветер вздымает к небу серые тучи возлюбленной ею пыли, той пыли, которою она и улицы посыпает, и пускает в глаза членов ревизионной комиссии со страниц своих отчетов...

Я всегда с недоумением слушаю разговоры о равноправности женщин с мужчинами.

Еще когда об этом говорят сами мужчины женщинам, я понимаю их — мало ли чепухи говорит мужчина женщине из любезности и из желания понравиться ей!

Но когда женщины начинают жаловаться на свое бесправие в жизни, — я изумляюсь и недоумеваю.

Чего им еще надо?

Чего, собственно, они хотят?

Их власть — безгранична!

Все их желания — полностью удовлетворяются.

Кроме тех, конечно, которые противоречат интересам мужчин.

Ради женщин мы готовы на все!

Кроме того, конечно, что так или иначе стесняет, утомляет или беспокоит нас.

Находят ли женщины, что их недостаточно любят?

Мне кажется, что они не могут пожаловаться на нас в этом отношении.

Мы даже к устрицам питаем любовь, и это, несомненно, только потому, что они — тоже женщины.

Чего же хотят женщины — «тени из селения райского»?

Чего требуют современные тени женщин от жизни?

Все, положительно все в их руках!

Они могут не родить нас, если хотят, ибо ведь это они родят нас.

Но раз уж они оплошали и родили, они могут не воспитывать нас.

И они это более или менее успешно делают.

Наконец — они могут не выходить замуж — это в их воле.

Ах! Все в их воле...

И сфера их власти все расширяется.

Ныне от них зависит даже движение пароходов по Волге.

Я убедился в этом третьего дня на пристани общества «Кавказ и Меркурий».

Пароход «Константин Кауфман» был готов двинуться в путь, и ему пора было сделать это.

Пассажиры в него влезли, грузы втащили, пары развели, команда готова была убрать мостик, отдать чалки и...

Пароход стоял и ждал.

Он ждал, когда с него уйдет женщина — гостья жены капитана.

С ним вместе ждали пассажиры, грузы и все прочее, что должно было ехать... и чему уже наступило и прошло время ехать, назначенное по расписанию.

Но расписание есть бумага, а женщина — «отблеск сияния майского» и в данном случае — плюс гостья жены капитана.

Они были близкие приятельницы, связанные друг с другом узами долголетней дружбы.

Десять лет тому назад они встретились в вагоне железной дороги, проехали вместе две станции, расцеловались на прощанье, — и вот с той поры не видались целых десять длинных годов!

Разумеется, им нужно было о многом переговорить.

И они всласть говорили.

А пароход ждал, когда они кончат.

И сотня - другая пассажиров парохода — тоже ждала.

Хотя по расписанию движения пароходов этого не полагается.

Но расписание есть бумага, а женщинам, по утверждению Сафира, «всего более хочется говорить тогда, когда они уже наговорились досыта».

Только тайны женщин — каникулы для их языков...

Но у двух почтенных женщин, разговаривавших на пароходе «Константин Кауфман», не было тайн.

И пароход ждал их столько времени, сколько потребно было его воинственному тезке и патрону на разгром целого черкесского аула.

О, женщины!

И вы еще жалуетесь!

И вы жалуетесь на недостаток прав в то время, когда даже правильное движение пароходов вполне и всецело зависит от вас!

О, ж-женщины!

16 июля, № 151.

3

За последнее время в местных больницах и докторами на домах замечено, что количество людей, страдающих «животом», увеличивается...

На это обратили внимание и стали искать причину явления.

Оказалось, что больные — пассажиры конки, и заболели они в силу того, что помогали кучерам ставить на рельсы соскочившие вагоны.

— Жалко, знаете, этих кучеров. Работают люди по 17 часов в сутки. Истомятся.

А тут то и дело вагоны сходят с рельсов.

Лошадь одна не вывозит. Кучер с кондуктором бьются, бьются,

ничего не выходит у них, потому что тощи очень. Посмотришь на них, — ну, и пойдешь подсобить. Повозишься, ан, глядишь, и надсадил живот-то...

Так объяснял доктору один больной источник своей болезни.

Этот рассказ наводит нас на серьезные размышления. По нашему мнению, конка обязана озаботиться дальнейшей будущностью и состоянием животов самарских обывателей.

Она должна:

а) Завести на свой счет при земской больнице несколько кроватей для пассажиров, надорвавшихся при работах по постановке вагонов на рельсы.

б) Пригласить к себе на службу доктора, который пользовал бы больных.

и в) За лечение с оных не взимать ни алтына, ибо они уже и так поплатились.

Я полагаю, что конка примет к сведению мой проект.

Доктор ей во всяком случае необходим.

Он определял бы степень физической выносливости каждого кучера и время, когда этот кучер совершенно свалится с ног.

Это очень важно для конки, — уверяю ее.

Ибо если доктор скажет ей, что вот-де кучер № 333 завтра будет совершенно неспособен к работе, за полным истощением, — она получает возможность сегодня же выгнать № 333 и даже не заплатить ему заработанных денег под каким-нибудь благовидным предлогом.

Мы уверены, что конка не затруднится в приискании благовидных предлогов.

Она — умненькая...

18 июля, № 152.

4

Года два-три тому назад в «Северном Вестнике», журнале, где теперь засел и во всю мочь свищет малюсенький Соловей-разбойник — г. Волынский, — была помещена статья В. Соловьева — «Гроза с Востока».

Это была хорошая статья, хотя в ней не было ровно ничего приятного для нас.

В ней очень доказательно говорилось о том, что со степей Гоби на Россию летит песок и понемножку сокращает у нас количество пахотной земли.

Что он ложится широкой полосой и на волжские степи и в землях Войска Донского и проникает даже до Киевской губернии.

И что если мы своевременно не обратимся к лесным заграждениям, так нас, пожалуй, и совсем засыплет.

Статья возбудила толки и вызвала возражения.

Толки и возражения целиком свелись к мудрым русским изречениям:

— Улита-то едет, когда-то что будет!

И

— Бог не выдаст, — свинья не съест.

Затем мы позабыли о «Грозе с Востока».

Недавно мы сообщили о песчаных заносах в Новоузенском уезде, где засыпано 6035 дес. 1276 саж., и о том, что Новоузенское уездное земское собрание хочет просить министерство земледелия рассадить по песчаным заносам деревья.

Видите? Два-три года тому назад мы хотели заградить деревьями движение к нам песка, — ныне уже просим рассадить их на песке.

Пришел песок-то, значит. Присыпался, — и уже мешает жить.

А мы все еще собираемся воевать с ним.

И мне думается, что пока мы действительно соберемся, засыплет нас песком, совсем, и с ушами засыплет.

И на том месте, где некогда жила-была страна, зовомая Россия, будет необозримая песчаная равнинища — желтая, пустынная, знойная.

И будут по ней рыскать степные волки, тощие, с поджатыми хвостами и ликом схожие с самарскими горчишниками.

Помимо надзора за душевнобольными, администрация «Томашева Колка» занимается еще и тем, что блюдет за нравственностью.

Не за своей, конечно, а за нравственностью служащих.

Она решила, что нравственному человеку после пятнадцатичасового труда вполне достаточно двух часов отдыха, и решив так, сказала служащим:

— С восьми часов вечера до десяти можете гулять. Но всякий, кто прогуляет хотя бы на пять минут далее определенного срока, будет сочтен за человека безнравственного и лишен чести и удовольствия прислуживать сумасшедшим. Ступайте!

И вот несколько сиделок пошли гулять.

Пошли в 8 ч. вечера, а воротились — о, ужас! — в 10 часов 7 минут 43 секунды!

Некто из администрации уже ждал их у ворот с гневом на челе и с часами в руке.

— Завтра все вы будете рассчитаны и изгнаны вон из заведения! Кроме того, у вас из жалованья будет вычтено по два рубля штрафа.

— За что же?..

— Вы распущенны, безнравственны... Вы все...

И тут некто вышел из пределов литературного языка и вступил в область того выразительного стиля, который в порядочном обществе пока еще не принят.

Некто слишком свободно распустил вожжи своего воображения и перепрыгнул через шлагбаум разума.

Известно, что сумасшествие — заразительно, и вот еще пример, подтверждающий эту истину.

19 июля, № 153

Я очень доволен...

Третьего дня я был в театре и видел, как г. Дементьев воздавал по заслугам дьяволу — несокрушимому камню преткновения на пути человека к всяческой добродетели.

Г. Дементьев поставил себе благородную цель, рассеять ореол романтизма и фантазии, издавна, и до 19 июля 1895 г., окружавший фигуру Мефистофеля, и г. Дементьев достиг своей цели, внушив, мне по крайней мере, полное отвращение к чорту, Гете и Гуно.

Изображая созданного ими чорта, г. Дементьев действительно послал к чорту все традиции сцены, связанные с этой ролью.

Он наделил Мефистофеля голосом престарелого бегемота, грацией голодного верблюда и получилось нечто адски невероятное, не возбуждавшее к себе ни малейшего интереса или доверия, ничего кроме желания, чтобы этот Мефистофель скорее убирался в ад и больше никогда уж не вылезал оттуда...

Г. Дементьев ясно показывал публике, до чего плох и гадок лукавый, и если публика не убедилась в этом — г. Дементьев тут ни при чем.

С экспрессией истинного таланта он создал из Мефистофеля нечто до такой степени оригинальное, что отбил, у меня по крайней мере, всякую охоту видеть в Мефистофеле вечно и надо всем иронизирующий ум, дьявольски тонкий и острый ум, отравленный ядом скептицизма.

Г. Дементьев навеки избавил меня от чар лукавого и от иллюзий, связанных с именем его.

Я знаю теперь, что Мефистофель — большое, горластое, грубое и неуклюжее существо, которое и ходить-то по земле не умеет хорошенько.

Я презираю Мефистофеля и обязан этим г. Дементьеву.

Покорнейше благодарю, г. Дементьев!..

Мне также большое удовольствие доставил г. Южин, на протяжении всех пяти актов расхаживавший по сцене в костюме доктора Фауста.

Он делал скромные попытки петь и несколько раз предполагал изобразить публике драматизм своей роли, но он, все-таки, не решился сделать этого, как следовало... Такая скромность тоже заслуживает благодарности.

Валентин был невыгодным партнером для Мефистофеля и Фауста, сосредоточивая на себе все внимание и восхищение публики.

Артист до конца ногтей и, очевидно, добрый человек: он не хотел затушевывать своей фигурой товарищей по сцене и в то же время не мог не делать этого.

Тогда он придумал сократить им неинтересное для них существование на сцене и для этого по возможности стал сокращать свои партии.

Публика разошлась из театра, считая за ним арию «Бог всесильный».

Впрочем, г-ну Девойд сильно досталось в этот вечер... сначала он, «король Карл», сошел с ума и потом, превратясь в Валентина, был заколот Фаустом...

Он прекрасно умер — благородно, как солдат, и правдиво, как крупный артист.

Мне жаль его; пусть бы лучше умерли Мефистофель с Мартой и Фаустом, а он вместе с Маргаритой и Зибелем остался бы жить на радость публики.

21 июля, № 155.

6

Все обстоит благополучно.

Крупных безобразий нет, количество мелких — не сокращается.

Обыватель млеет от жары и слепнет от пыли.

Домовладельцы иногда делают вид, якобы они приказали дворникам поливать улицы, но дворники прекрасно понимают, что их хозяева притворяются, и гораздо более тратят воды на поливку прохожих, чем на улицы и панели.

Домохозяин сидит у окна и смотрит, как его парень упражняется с «кишкой».

— Матрена! — вдруг кричит он, заливаясь смехом. — Жена! Иди глянь — Никита-то из кишки какого-то проходящего окатил! Прямо ему в рыло направил!.. Ах, ты... А проходящий-то лает. А теперь Никита в собаку ахнул!..

Когда обывателю наскучит это развлечение, он предлагает семье прокатиться по конке.

— Ну-ка, вы... собирайся...

Домочадцы собираются и через некоторое время сидят в вагоне и изображают на физиономиях удивление и удовольствие.

В вагоне душно и тесно. Публика сидит друг у друга на коленях, и толчки движения еще более сближают ее.

Кто-нибудь из пассажиров философствует.

— Н-да... вот и дожили до конки. Восемь лет ждали и... дожили... Поживем, может, и еще до чего-нибудь доживем...

А кто-нибудь другой наступает философу на ногу или соприкасается своим затылком с его носом.

— О... о! — орет философ. — Что ты, необразованный человек... не видишь?

— Трясет! — извиняется необразованный человек.

Иногда инцидент принимает более резкий характер, и в вагоне разыгрывается полемика...

Это тоже развлечение.

Потом обыватель идет в Струковский сад и, проглотив там сколько может пыли, отправляется домой и спит.

...Более культурный обыватель отправляется в клуб канцеляристов, мотается некоторое время, от скуки заходит в читальню и от нечего делать крадет в ней книгу.

Он любит красть Баталинский журнал «Новое Слово».

Видит, лежит на столе книга в красной обложке, и на ней крупная надпись: «Новое Слово».

Он думает:

— Какое же это такое слово? Тарарабумбия что ли? Так это уж не новое. Да-ко-сь погляжу...

И потихоньку сует книгу себе под полу.

Приносит ее домой и читает. Связи слов, конечно, не понимает, но видит, что слова все не мудрые и старые.

— Ах, обманщики! — презрительно произносит он по адресу редакции журнала. — Ишь — новое, говорит, слово... А ничего и нет. Хлюсты, тоже... Понимают, — не обманешь, не продашь... Эхе-хе! Марья! Накося тебе книжицу. Годится когда что завернуть.

Баталинская литература выходит из круга своего назначения и поступает... на свое место, т. е. на обертку, оклейку стен или еще куда.

Иногда обыватель является в читальню с отмычкой и похищает книги, привинченные к палкам.

Надо же как-нибудь развлекаться!

Всякий человек выбирает себе развлечение сообразно своим коренным свойствам.

Человек сильный — кого ни то бьет.

Человек красноречивый — сплетничает.

Тот, кто больше всего любит покой души и тела, — старается попасть в члены одной из думских комиссий.

Люди бесшабашные ухаживают за самарскими барышнями.

Люди умные и полные жизни — жалуются на пустоту бытия.

А любители литературы воруют книги.

И все это вполне естественно.

Иные обыватели ходят в оперу и имеют о ней разные суждения. Один говорит:

— Я этого самого «Фауста» раз десять видал. Занятная штука. Этот... как его? Мефистофель тут, что ли, али это из другой оперы?

Другой по поводу Мефистофеля в недоумении:

— Чудно! Как же это он красный? Должон бы он быть черным, потому жительство имеет в аду, а там, известно, копоть и сажа. И опять же в одеже он, а не в шерсти. Чай, в аду-то — огонь... Как же он в одеже? а?

Третий рассуждает так:

— Хорошо... что говорить! Но только разговора нет... Оно, конечно, и понимать тут нечего, потому комедия, а все-таки...

Барышни от оперы в полном восторге и симулируют чуть не каждое движение излюбленных предметов...

Г. Жюль Девойд, раскланиваясь, прижимает руки к сердцу, — и все барышни прижимают ручки к сердечкам.

Г. Южин, глядя на Маргариту, надувается, как мышь на крупу, —

и все барышни, глядя на него, надувают губки и делают круглые глазки...

За отъездом г. Унковского — его место в сердцах самарских барышень занял г. Южин...

У него маленький голос, но большие глаза.

Затем у него единственные во всей труппе красивые ноги, стройные и соразмерной с туловищем длины.

Ноги же почти всех остальных артистов почему-то невероятно тонки и длинны.

Не влияют ли высокие ноты на длину ног?

Ибо я заметил, что всякий раз, как г. Южин пытался взять высокую ноту, он приподнимался на носках и старался казаться выше.

22 июля, № 156.

7

Недавно я очень усердно занимался литературой проектов, — читал проект о налоге на холостяков, плод творчества одной старой девы, проект рациональной ловли блох, проект пневматической дороги в Америку, очень простой, — следует просверлить в земном шаре дыру и по оной лазить из Москвы в Нью-Йорк и обратно, — читал и еще много проектов.

Лучший из них — это проект усовершенствованной конно-железной дороги.

Его-то я и довожу до сведения публики с некоторыми моими изменениями, сделанными мною применительно к самарской конке.

В задачи всякого предприятия для публики всегда и непременно должны входить заботы об интересах и удобствах публики, что бы там гг. предприниматели ни говорили.

Исходя от сей аксиомы, я предлагаю правлению самарской конки ввести следующие изменения в дело эксплоатации обывателя Самары.

Заменить башкирок — коровами.

Коровы не будут ходить по улицам медленнее башкирок, коров на разъездах можно будет доить и предлагать пассажирам по стакану парного молока в виде награды за долготерпение.

Завести спальные вагоны.

Это большое удобство для обывателя; как известно, сон есть его излюбленная специальность. Обыватель, например, с Вознесенской улицы, пообедав в три часа, имеет намерение вечером быть в Молоканском саду.

Он идет в спальный вагон, в оном ложится и через пять-шесть часов благополучно приезжает к саду, славно вздремнув в дороге.

В случае, если вагон спрыгивает с рельс, — заставлять ставить его на путь истинный не всех имеющихся в нем в данный момент пассажиров, а только тех, коим правление конки выдало в вечное и потомственное пользование бесплатные жетоны на проезд, а буде

жетонных пассажиров не окажется, — послать за ними на дома и попросить их вновь направить выбившееся из колеи предприятие.

Башкиркам нервным и прыгающим из стороны в сторону, в капризном желании свалить вагон на бок, — разъяснить по Хек-Тьюку, что повышенная нервозность — есть симптом вырождения расы — это раз, а после каждого рейса давать им, башкиркам, по приему кали или натра.

Самарская конка нуждается в реорганизации. Пора...

Предприятие существует более чем «без году — неделю» и уже успело сделаться дряхлым.

В Самаре есть Общество взаимопомощи учащим.

Оно печатает объявления, которыми извещает своих членов, что вот-де такие-то и такие торговые фирмы Самары будут отпускать членам Общества свои товары со скидкой.

И вот в один из магазинов, по объявлению торгующий со скидкой, приходит учащая и просит отпустить ей, не помню чего... но, кажется, обед.

Три четверти фунта черного хлеба, два малосольных огурца и на три копейки колбасы.

Тут немного товара, но это даже роскошный обед для наших просветителей.

Они не всегда так обедают, в виду миниатюрности своих окладов, рассчитанных на то, чтоб желудки наших педагогов, по возможности, не туго наполнялись пищевыми продуктами.

Ибо известно, что сытое брюхо — к учению глухо, и посему голодное брюхо есть необходимое условие педагогической деятельности.

Итак, в одну из лавочек, торгующих, как о том гласило печатное извещение правления, приходит учащая и спрашивает, предъявляя членский билет, отпустить ей товар со скидкой.

— Что же это за бумажечка у вас? — осведомляется хозяин лавочки.

— Это мой членский билет.

— Билет? А зачем мне-то его?

— Да вот я вам показываю, что я член Общества взаимопомощи учащим.

— Покорнейше вас благодарю! Это... очень интересно.

— Теперь позвольте мне товара... со скидкой.

— Со скидкой? Почему же со скидкой?

— Да ведь наше правление печатает, что вы продаете членам его со скидкой.

— Бросьте шутить! Выкиньте из вашей головки такие мысли...

— Да ведь правление об этом печатает!

— Вольно ему...Печатай, пожалуй...Но мы об этом не осведомлены.

Сконфуженная учащая ушла, научившись не доверять объявлениям своего правления.

Инцидент вполне мирный... но все-таки нежелательный.

25 июля, № 157.

8

... Хотя по внешности своей самарский обыватель иногда совсем парижский бульвардье, — но по существу он, все-таки, есть Сидор Карпыч, лишенный не только какой-либо внутренней гармонии, но даже и представления о необходимости ее для приличного культурному человеку существования...

Пиджак и брюки нимало не мешают ему чувствовать себя свирепым скифом и ничуть не сдерживают непосредственности номада в выражении азиатских привычек и страстей.

Устраивает он, например, клуб и ходит в него играть в карты, — это культурно.

Но это не мешает ему, в случае чего, назвать своего партнера старым дураком, если партнер стар, и ослом, а то так дерется подсвечником, если он молод, — это уж отрыжка прошлых дней.

Приобретает он велосипед, катается на оном и восхищается успехами человеческого творчества, но сие не мешает ему дуть свою жену столько, сколько не лень, и так, как хочется.

Слушает он фонограф и смотрит, как человек вполне приличный, а в глубине его души загорается желание ахнуть басом в этот фонограф четырехэтажное слово, и если он своевременно не зальет таковое желание чем-либо спиртуозным, — изобретение Эдисона ознакомится с красотой, краткостью и крайней выразительностью русских нецензурных афоризмов... Сидит он в театре и думает о том, доплюнет ли со своего места до сцены или нет?

А если этого не сделает, то, право, из лени, столь свойственной ему, и по отсутствию в нем инициативы.

Берет он из библиотеки книгу и после двух-трех попыток прочитать в ней что-нибудь кончает тем, что набрасывает на одной из ее страниц срамную картинку или совершает в ней красноречивую надпись, содержание которой способно вызвать у вас один из типических признаков отравления.

Замечательно вот что — для срамных изречений и картин авторы таковых почему-то почти всегда выбирают нечетные страницы книги, которую они разрисовывают...

Почему бы это?

Может быть, это тоже объясняется общей неровностью русского характера?

Зная о существовании духов Пино и Аткинсона, — русский человек, эффекта и оригинальности ради, никогда не прочь надушиться и ассафетидой.

Я знал одного мосье, который всегда поступал так, отправляясь в клуб на семейный вечер.

Считая себя обязанным следить за временем и его требованиями, он выражает это лишь тем, что упорно следит за капризными изменениями моды на галстухи и покрой брюк.

Не будучи в состоянии по существу своей натуры признать за женщиной право на эмансипацию, он снова упорно старается восстановить в отношениях к ней средневековый романтизм.

Я заключаю это, наблюдая, как самарские шевалье ухаживают за самарскими мадмоазель и мадам... и прислушиваясь к их разговору.

Желая показать, что ему не чужды и интересы мировой политики, он при встрече огревает вас таким сенсационным сообщением:

— Слышали? Китайцы, чувствуя, что одним им не справиться с японцами, решили призвать к себе на помощь мормонов!

Он также не прочь похвастаться знанием иностранной литературы и при случае обязательно и любезно оповещает вас, что Вальтер-Скотт написал новый роман «Хижина дяди Тома», а Поль-де-Кок вкупе с Мопассаном сочиняют превеселую штуку под заглавием: «Мемуары женской подвязки».

Я ужасно люблю говорить о литературе с самарским обывателем,— всегда, знаете, услышишь массу новенького по этой части.

Я не прочь даже подслушать самарский разговорец о литературе.

И вот вчера на Дворянской улице я услыхал такой диалог.

Впереди меня шел молодой культурный человек с молоденькой культурной барышней.

Шел и с экспрессией знатока предмета пояснял ей.

— Новелла?.. Это, видите ли, форма, взятая французами у арабов из их знаменитого сборника новелл Зенд-Авесты. Лучшим французским новеллистом был Понсон-дю Террайль, романы которого — вы, конечно, читали? — все написаны в духе новелл. А в настоящее время лучшим новеллистом считается... все он же, неиссякаемый (!) Жюль-Верн... и еще Стивенсон... только он уже умер... то есть нет, умер Теннисон, а Стивенсон еще жив. А, впрочем, кажется, оба они умерли потому, что были англичане, а все англичане умирают рано от обилия в стране фабрик и туманов...

Барышня смело слушала этот канкан фантазии своего спутника и, очевидно, пыталась понять что-то, ибо хмурила брови и кусала губы.

Я же, извиваясь от смеха, вывихнул себе ребро.

26 июля, № 158.

9

Вот вам маленький образец легкомысленных рассуждений по поводу одного из премудрых вопросов...

...Вечерами, когда, изнывая от тоски, я сижу в моей комнате и из всех щелей этой комнаты на меня смотрят темные глаза одиночества, и меланхоличные тени летней ночи собираются за окнами и безмолвно заглядывают в стекла их, — невольно в душу мне закрадываются мысли на тему: «не добро человеку быть едину» — и, минорно настроенный, я ухожу в Струковский сад.

Там, по большой скотопрогонной аллее и по аллее, смежной с ней, густой и медленной волной течет самарская жизнь; клубы пыли вьются над ней, слышен запах цветов, тихий шелест листвы, что-то шепчущей закопченному самарянами небу, слышен смех, слышен говор, и г. Мраз старательно производит большой музыкальный шум, исполняя творения европейских композиторов на зулусский лад.

Там я, холостой человек, Иегудиил Хламида, будущая жертва Пенатов, сажусь в укромный уголок и из него рассматриваю прекрасных самарянок и прислушиваюсь к музыке речей их, и я смотрю на них с восхищением вплоть до той поры, пока не вспомню, что, быть может, скоро уж одна из них наречет меня своим мужем, — и тогда предчувствие сей опасности охлаждает пыл моего восхищения.

Я смотрю на них, — а они дефилируют мимо меня все в бантиках, кантиках и прочих сантиментиках, в аромате духов и в пыли и щебечут, как те грациозные серые птички, которых в деревнях несправедливо и немузыкально именуют «трясогузками».

Я смотрю на них и распределяю их на две основные категории: барышни полненькие и барышни худенькие; я знаю, что полненькие барышни — пустенькие, а худенькие — полны бактериями нервных и иных болезней, полны истерических капризов, и хотя все это пока еще в потенции, но, я знаю, все оно будет актуально через неделю после свадьбы.

Я смотрю на них и думаю: вот существа, большинство которых со временем превратится в женщин и матерей, войдет в активную жизнь и будет воспитывать из детей своих мужей твердых духом и граждан благородных, бескорыстных слуг отечеству.

И я смотрю на модно причесанные головки барышень полненьких, смотрю и думаю, — где именно в их чертах помещена природой та частица мозга, которая должна выработать ясное представление о гражданских обязанностях матери и представление о том, какие именно люди нужны отечеству, и о том, что такое отечество.

И я сомневаюсь в том, что полненькие барышни имеют под прическами какое-либо иное представление об отечестве, кроме того, которое во время оно извлечено ими в поте лица из тощих учебников по истории и географии, и я никак не могу представить себе, что полненькие барышни способны сознательно заглядывать в будущее и точно представлять себе те задачи и ответственность, которые ждут их впереди.

И я испытую взглядом направление мысли у барышень худеньких, отчаянно стреляющих глазками семо и овамо, я смотрю на них и вижу: свирепо перетянувшиеся корсетами, воспитанные как бы только на фиалках и лунном свете, анемичны и тощи они, и мне думается, что когда у них будет по паре детей, к тому времени они приобретут по дюжине болезней тела и души...

И глухая скорбь сосет мне сердце, ибо я не вижу в барышнях — будущих матерей, достойных этого имени.

...И тогда много тревожных и мрачных дум возникает в уме моем. С какими душевными ресурсами и с каким моральным фондом примутся эти барышни за построение семьи, которая должна быть школой, имеющей воспитать в их будущих детях любовь к родине, стремление к подвигу во имя ее, благородство духа, понятие о чести и о справедливости, и многое другое, что в конце концов человеку все-таки необходимо воспитать в себе, дабы тем оправдать узурпаторски присвоенное им право на звание высшего животного.

Есть ли у них представление о важной ответственности, которая

ждет их, матерей, в будущем, понимают ли они, что им придется созидать будущего человека, имеют ли они представление о том, что нужно делать для того, чтоб дети не были точными копиями своих слабосильных и нежизнеспособных родителей, людей, устроивших себе такую бесцветную, скучную и нищую духом жизнь, — как жизнь современная?

Что, наконец, кроме тела, принесут они мужу, чем, кроме поцелуев и объятий, могут облегчить его жизнь, что новое и неизведанное им внесут они с собой в сферу его духовной жизни, — если предположить, что у современного мужчины стремление к духовной жизни есть, а не иссякло уже под гнетом будничной жизни и ее омертвляющих душу мелочей?

Что может принести с собой современная женщина современному мужчине, вступая с ним в союз?

...Я поднял вопросы старые, избитые в пыль, размолотые жерновами российского красноречия, — но все-таки не разрешенные по существу.

«Жизнь есть труд», говорит Тургенев, это «глупо, как факт», говорит Бальзак, но это факт — жизнь есть труд.

Она требует серьезного отношения к себе, и всякое легкомыслие терпимо ею только до времени, но время придет и принесет с собой жестокое наказание тем, которые относились к жизни невнимательно или легко, холодно или недостаточно активно... она поставит в счет каждый ваш ложный и неосмотрительный шаг, и когда вы будете подводить итоги ей, в конечном [счете] может получиться роковой и ядовитый вопрос — зачем мы жили?

Мы живем в странное время оскудения энергии, в равнодушные, скептически тусклые дни, и на нашей обязанности лежит исправить это, расцветить жизнь желаниями, оживить ее поступками, облагородить мыслью и всячески сделать ее более разумной, живой и разнообразной; мы ничего не делаем в этом направлении, прикрываясь от укоров совести, как щитом, нашим амплуа маленьких, шаблонных, дюжинных людей.

«О, женщины! Что сделать вы б могли
Для родины, когда бы вы хотели!»—

вздыхает Леопарди в одном из своих жгучих и мрачных сонетов и через несколько строк с тоской спрашивает от лица мужчин:

«Но что вы в нас будили в наши дни?»

А дальше спрашивает от себя:

...«Кто виноват в беде земли родной?
Скажите мне, о женщины, не вы ли?»

Он был итальянец, этот Джиакомо Леопарди, и его стихотворение адресовано итальянкам...

Я считаю нужным заявить об этом для того, чтобы облегчить русским женщинам возможность не признавать за его вопросами ни смысла, ни значения, — чем они наверное и воспользуются.

10

Пылища...

На улицу нельзя выходить без респиратора, сетчатых очков и без ваты в ушах, — а если вы не запасетесь всем этим, в вас сразу насыпается два пуда пыли.

По распоряжению городской управы, залежи пыли помещены на Дворянской улице. Это вполне естественно: все города сосредоточивают то, чем могут похвалиться, именно на главных улицах.

Управа мостит улицу, пускает обывателю тучи пыли в глаза, а я смотрю на все это и думаю: что есть пыль?

По преимуществу, это земля, в порошок измельченная.

Куда девается она?

Частью поглощается человеками, большей же частью улетает в поднебесье, где и увеличивает за счет земли объем иных планет.

Не уменьшается ли земля от распыления?

Несомненно, — да.

Не вредит ли сей казус человечеству, коему и без того на земле тесно, о чем свидетельствуют неустанно производимые им войны, драки и иные скандалы?

Несомненно, — да, трижды да.

Что же отсюда следует?

О, городская управа! В интересах всего человечества, в интересах великого будущего, ожидающего его, для-ради распространения на земном шаре добродетелей и во вред развитию пороков — улицы надо поливать!

Надо поливать улицы, ибо земной шар распыливается, что сокращает его объем.

О, городская управа!

Покончив с пылью, — поговорим о поэзии.

Поэзия — это ведь тоже не более, как пыль, разноцветная и яркая пыль; ее человеки разводят в чернилах и ею раскрашивают действительность, дабы легче примириться с грубостью и бедностью ее.

Но это уже некоторая философия, я же намерен говорить о поэзии, и — да простят мне это Аполлон и Музы! — о поэзии современной...

Трудно сказать что-нибудь о поэзии современной, ибо все, что следовало сказать о ней скверного и ругательски-ругательного, уже сказано до меня.

Следовало бы мне молчать о ней, но — увы! — она надоедает, как осенняя муха, и вынуждает к защите противу ее поползновений в печать.

Как убить ее? Я долго думал над этим и решил — печатать ее!

Печатать ее! Пусть мне простят эту жестокость, но я напечатаю...

Вот она пред вами в полном блеске своей специфической орфографии.

Г. Пенза. — июля 1895 г.
В контору редакции «Самарской Газеты».

Милостивый Государь,
Господин Редактор!

Я слышал что в Вашей газете
Такие стихи как вот эти,
Печатать на первой страницы
Доступны лишь высшие лица;
Но я: не высок, и не знатен,
Но пачкать бумагу занятен.
На первый я раз прилагаю
Нижеследующий стих и мечтаю,
Вот, вот попадет он в печать
Все с жадностью будут читать
И я прослыву, как велик человек
Поэт первый номер в наш век.
Когда я пойду, все вот скажут идет
Поэт! что в «Самарской Газете» слывет.
Ну это оставим, прошу же я вас,
Напечатать в газете мой стих первый раз,
Как Леонов поэт прослыву я точь в точь
Вот стих мой: заглавье, «*Июльская ночь*».

Тускло месяц серебрится
В тишине ночной
Пеленой туман ложится
По земле родной.
Соловья не слышно трели,
Мрак и тишь кругом.
И деревья помертвѣли
Все объято сном.
Все заснуло мрака ночи
Разослан ковер.
Мрак и мне слепляет очи,
И туманит взор.
Тихо все, лишь серебрится
Месяц над рекой;
А река все в даль стрѣмится
Уходя с тоской.

Остаюсь с почтеньем к Вам,
Лично Вас, прошу я сам
Стих в газете пропустите
Где хотите поместите.
Только денег платить вам
Не могу, я беден сам.
Досвиданья! Жду ответ,
Юный, пензенский поэт.

Слово-Глаголь молодец,
У него мужик, купец,
Кто под руку попадет,
Всех в газете пронесет (!).
Остаюсь в надежде я
Не заденет он меня,
А заденет так пускай
Прослыву как шалопай.

Скукин.

Каков этот г. Скукин, сын своего времени! Остроумный мальчик.
Он «пачкать бумагу занятен».
Пишет стихи и опасается, что его «пронесет».
Река у него куда-то стрѣмится через ять.
Мрак у него обладает свойством гумми-арабика.
Деревья, под которыми он сочинял свои деревянные стихи, «помертвѣли» и засохли из жалости к нему, человеку молодому, искреннему, сознающему, что он «шалопай» и — по рассеянности, очевидно, — подписывающему свою фамилию с двумя однозвучными буквами, из которых одна — совершенно лишняя.
Ну вот, он попал в печать и, надеюсь, доволен.

Покончив с поэзией и пылью, теперь я имею сказать нечто о панелях.
Самарские домовладельцы с Казанской улицы окончательно пришли к убеждению, что по панелям пред их домами никто уж не рискнет ходить, что все те храбрые пешеходы, которые некогда прошли по этим премудрым путям, ныне лежат в больницах с вывихнутыми шеями, руками и ногами, а некоторые уже и умерли от понесенных ими увечий.
В силу такого соображения один из домохозяев Казанской улицы, г. Журавлев, взял да и застроил панель пред своей мельницей во всю ее ширину.
Он возвел на ней какую-то будочку серенького цвета.
Другим остается последовать его примеру, и, я думаю, они не заставят себя ждать в этом отношении.
Пройдет, может быть, год, от сего дня считая, и вся Казанская улица застроится серенькими будочками.
И прекрасно. По крайней мере панели будут скрыты от глаз людских, — это улучшит вид улицы, и по ним нельзя будет ходить, — это сократит количество вывихов и переломов костей.
Г. Журавлев — гуманный человек, очевидно.

29 июля, № 161.

11

Ах, как я рад, что открыта шестая часть света! Я верю на слово норвежцу Борг Гревингу и думаю, что шестая часть света есть и действительно открыта им.
Почему бы ей и не быть? А раз она есть, было бы странно, если бы человек не нашел ее. Не так ли? И вот он ее нашел.

Теперь ему следует искать остальные части, а нам нужно озаботиться скорейшим заявлением континентального права на открытую часть и переселить на нее горчишников...

Нам, ей-богу, необходимо сделать что-нибудь с горчишниками, и я думаю, что самое лучшее — это отправить их на новый континент; кстати, там живут только звери, и, значит, гг. горчишники будут в своем кругу.

Снарядив флотилию из барж для перевозки скота, посадить на оные этих чумазых самарских фрондеров и под начальством какого-нибудь Ашинова отправить к южному полюсу, высадить их там на вновь открытый материк, и пусть они его колонизируют и культивируют.

И, кстати, уж пусть препятствуют жадным сынам Альбиона, желающим проглотить этот новый кусок земли, а также пускай защищают русские интересы на южном полюсе.

И уж, по всей вероятности, наши патриоты во главе с «Московскими Ведомостями» найдут, что у нас есть важные интересы и на южном полюсе... ибо дальновидность их в вопросах внешней политики как раз равна их близорукости в вопросах политики внутренней.

История русская учит нас, что шайки разбойников весьма часто играли в ней в высокой степени важную роль, — а пожалуй, коли пристально посмотреть, так и теперь играют... И вот, гг. горчишникам представляется возможность попасть вместо страниц полицейских протоколов на страницы истории.

Кстати, они любят истории и в сфере творчества таковых весьма изощрились.

А буде новая страна окажется заселенной, — на сей случай гг. горчишники пусть возьмут с собой те орудия истязаний, кои они до сей поры применяли к мирным гражданам Самары, — возьмут с собой эти орудия и наглядно при помощи их покажут аборигенам полюса, как далеко ушла цивилизация Европы в деле издевательства над человеком.

Познакомившись через почтенных самарских кондотьери с атрибутами, видом, родом и сутью европейской цивилизации, туземцы шестой части света в ужасе удерут на седьмую, которая, наверное, где-нибудь там же поблизости, и шестая часть останется за нами.

Из всего этого выйдет прекраснейшая штука!

Англия останется с носом, Самара без горчишников, «Московские Ведомости» и патриоты — с удовольствием, а Европа приобретет место вдвое больше себя самой для свалки разного общественного отброса.

Я уверен, что проект моего проекта обратит на себя внимание лиц, сведущих в деле укрощения строптивых, и с горчишниками будет поступлено именно так, как я рекомендую.

Клянусь честью, с ними надо же как-нибудь поступить!

Ясно, что Самара своими средствами не в состоянии бороться с этим злом и что борьба с ними скоро должна будет стать вопросом общероссийским.

Ибо если жителям Самары будут ежедневно, помимо управской пыли, пускать в глаза еще и сажу с золой, — все они непременно

должны будут ослепнуть, и государство понесет от этого чувствительный урон.

Хотя я и не член Общества покровительства животным, но, уверяю вас, мне искренно жаль г. Ратушкова, стрелявшего 27-го июля около Сызрани в пароход «Миссури».

За это о г. Ратушкове составлен протокол, и его, пожалуй, будут судить, осудят и посадят в каталашку.

Вы думаете, что это справедливо?

Едва ли. Не думаю. Во всяком случае г. Ратушков без подстрекателя не решился бы бомбардировать пароход, идущий по Волге из Астрахани в Нижний с арбузами, восточными людьми, вишней и барышнями для нижегородской ярмарки...

У г. Ратушкова был подстрекатель и я знаю кто...

Это француз, поручик, Густав Эмар, — его-то именно и следует посадить в каталашку, как совратителя и подстрекателя юного кожевенного заводчика, вообразившего себя краснокожим, принявшего Волгу за Миссури, а «Миссури» — за корабль бледнолицых, везущий, вместо арбузов, цивилизацию в дебри сызранской области, к вигвамам племени г. Ратушкова, не желающего знакомиться с цивилизацией и коварными бледнолицыми, измыслившими протокол, каталашку, брюки и другие вещи, от одного вида которых порядочного краснокожего начинает тошнить.

Г. Ратушков, по милости г. Густава Эмара, считал себя именно порядочным краснокожим вплоть до того момента, пока г. частный пристав не доказал ему, что как бы то там ни было, а в существование краснокожих на Волге и пароходов, развозящих по ней цивилизацию, — он, частный пристав, по долгу службы не может верить... и посему...

Г. Ратушков вздохнул...

О, мечты и иллюзии! О, грезы и фантазии! И ты — о, суровая действительность бытия!

И он подписал протокол.

...Хотя я и не член Общества покровительства животным, но клянусь вам, мне очень жаль г. Ратушкова, одну из бесчисленных жертв неотразимо увлекательных сочинителей Эмара, Буссенара, Жаколью и К°.

Успехи деятельности попечительства о народной трезвости опьяняют меня.

20-го июля происходило заседание, которое заслушивало, выслушивало и просто слушало доклады, отчеты и словесные заявления своих членов, решивших так или иначе, но отучить народ от употребления водки и приучить его к чаю, чтению книг и волшебным фонарям.

Нужно мужика напоить чаем, дать ему книгу и поставить фонарь, и от всего этого он будет трезв и добродетелен.

Недорого и просто.

Г. Постников предложил устроить для мужика еще и кегельбан. Прекрасная идея...

Следует устроить, по-моему, и тир. Это тоже очень завлекательная штука.

Не мешало бы также в каждой пьянствующей деревне сгоношить открытые сцены и эстрады для хоров песенников и оркестров музыкантов...

Но всего лучше, это — балет...

Устроить в каждой деревеньке малюсенький балет и ежевечерне заставлять оный дрыгать ножками для развлечения мужиков...

Это было бы превесело!

Отпахался мужичок и — в театр, а там этакие канашки перед самым его мужицким носом па и пируэты выделывают.

Само собой разумеется, что при театре буфета не нужно.

Нет, в самом деле, г. Постникову пришла в голову хорошая мысль...

Но почему кегель-бан, а не крокет? Не лонг-теннис? Или серсо?

Это тоже очень занятные игры.

30 июля, № 162.

12

Маленький диалог в Струковском саду. Разговаривают два по культурному одетые человека; один из них мрачен, другой меланхоличен, и оба под шефе.

— Ты чем любишь закусывать водку?

— Я? Ог-гуррцом...

— А я — соленым грибом. Это лучше...

— Мм...

Пауза.

— А ты к чему стремишься в пьяном виде?

— К жене...

— Зачем?

— Б-бить...

— А я плачу... Это лучше... Облегчает душу...

— Мм... не знаю.

Пауза.

— Значит, мы с тобой друг на друга не похожи... — со вздохом замечает меланхолик.

— Выпьем... — решительно говорит его собеседник. И они пьют, должно быть, для того, чтоб сгладить резкое различие своих стремлений, ибо для того, чтобы напиться,—им уже не надо больше пить.

Передо мной стоит полубутылка казенной водки, и вид ее наводит меня на элегические воспоминания о недалеком прошлом, когда не существовало винных лавок, и полубутылки распивались на месте купли под веселый и буйный шум приятной компании людей, которым кроме как в кабаке негде отвести душу.

Ныне, с уничтожением питейного дома, который был вместе с тем и клубом, в котором не только ругались и дрались, но и, как умели, разговаривали о ходе жизни и о тяготе ее люди, которым, кроме кабака, больше некуда итти, — принуждены стать индивидуалистами, напиваясь в одиночку.

Раньше, когда существовал питейный дом, он за дверями своими скрывал много такого, что ныне по необходимости вынесено на улицу и смущает видом своим благочестивую душу степенного обывателя, отчего общественная нравственность проигрывает...

Ныне группы людей, пристрастных к винопитию, восседают около винных лавок на улице и, чувствуя непристойность своего занятия, — с отчаяния и стыда рисуются им, чем еще более сотрясают благоприличие и мораль.

Раньше можно было выпить стаканчик, — ныне, желая выпить даже каплю, вы должны купить себе полбутылки, — и, конечно, дух человеческий никогда не в силах устоять против искушения выпить ее всю, — что паки и паки сотрясает как мораль, так и физику и психию пьющего субъекта.

Раньше за полубутылку вы платили как раз столько, сколько она стоила, — ныне переплачиваете грош, ибо полубутылка стоит 17½ коп., грошей же в обращении не имеется, и отсюда прямой вывод: у вас выклевывают из кармана ни за что, ни про что ваш кровный грош, который никогда не дается вам даром.

Раньше вы пили хорошую водку,—ныне вы пьете плохую водку, что, несомненно, поведет к тому, что в конце концов вы сами, как это ни трудно, станете еще хуже, чем есть.

Ныне, раньше чем я выпью свою казенную полубутылку, я измаю себя думами о будущем, думами, которые всегда вызывает во мне ее зеленый ярлык, который смотрит со стекла казенной бутылки, как бубновый туз со спины человека, неохотно шествующего за Урал...

Раньше ныне существующая водочная посуда чище была и... поэтому люди были чище...

Впрочем, этого, кажется, не было...

Во всяком случае раньше было несколько менее вредно и обидно пить, чем теперь.

За пять месяцев существования винной монополии мы переплатили гг. сидельцам винных лавок 3311860 грошей, — а это уж выходит ни много, ни мало — шестнадцать тысяч пятьсот шестьдесят рублей...

Мне жалко этих денег... как заработанных горбом и кинутых в пользу сидельцев винных лавок...

Зачем им, торгующим водкой, дается так много на чай?

1 августа, № 163.

13

С некоторых пор в провинциальной прессе видное место занимают, — извините! — скоты.

Оговариваюсь: — человек скромный и миролюбивый я только констатирую факт и, — честное слово! — не хочу говорить и не говорю личностей.

Я констатирую факт, — вот и все.

Я развертываю «Волгарь» и читаю в нем:

«Арзамас. По городу нашему невозбранно прогуливаются свиньи

и чтобы покончить с этим непорядком городская дума избрала особых наблюдателей».

Я ликую! Наконец-то русский человек додумался до необходимости регламентации свинства! Теперь, благодаря разумной и неусыпной деятельности «наблюдателей», — лиц, очевидно, компетентных в свинстве, — Арзамас, несомненно, должен будет несколько облагородиться.

Беру снова «Волгарь» и снова становлюсь лицом к лицу со свинством.

Напечатано:

«Макарьев. Свиньи испортили все улицы. Городской староста предложил: всех свиней, гуляющих по улицам, обложить особым в пользу города сбором».

Это, конечно, паллиатив, — но, как хотите, и это тоже борьба со свинством.

Городской староста твердо помнит изречение, гласящее: «бей не палкой, а копейкой бей, это будет в десять раз больней».

И хотя в Макарьеве существуют обязательные постановления, воспрещающие свиньям прогулки по улицам, городской староста находит, что под условием нарушения их за плату, на них можно и не обращать внимания.

Он, должно быть, крайний утилитарист и желает даже из свинства извлечь некую пользу для города, проектируя свой свинский налог.

Он, надо думать, — и гражданин хоть куда.

Сидельцу одной из местных казенных винных лавок потребовалось составить инвентарь имущества, находящегося в его заведывании.

И вот, он составляет его. Все идет прекрасно, пока дело не доходит до ливера. Сиделец или не знал, как называется это орудие, или забыл название — только он описал его в своем отчете так:

«То, чем цедят водку».

А ниже сделал в скобках пояснение.

«Сначала узко, потом широко, а потом узко и длинно. И все жестянное».

Ясно?

2 августа, № 164.

14

Я получил письмо от одного из моих друзей, человека, которому я должен и который поэтому очень ценит меня и сильно интересуется моей жизнью.

«Милый друг!» — пишет он мне.

«Я весьма озабочен состоянием твоего здоровья и настроения. Ты знаешь мою любовь к тебе...

Не можешь ли, кстати, уплатить мне твой долг?

Жму твою честную руку. Твой...»

«P. S.[1] Сообщи мне, чем живет, во время лета, самарское общество?»

---

[1] Сокращенные слова Post scriptum, что в переводе означает: после написанного, приписка.

Я очень люблю читать письма друзей, — особенно коротенькие, но меня всегда несколько смущает то обстоятельство, что в каждом из них на адресата возлагается какая-нибудь комиссия...

Дружеские комиссии — это как бы нечто вроде процентов на чувство дружбы.

О чем бы ни корреспондировал друг, — он всегда в конце концов предлагает вам исполнить маленькую комиссию, как в данном случае, например.

Прочитав желание моего друга ознакомиться с жизнью самарского общества летом, — я задумался... О каком собственно обществе может итти речь?

Об Обществе книгопечатников? Здесь не трудно ответить; — это Общество живет ссорами и дрязгами, что может быть объяснено, как его молодостью и сопряженным с нею избытком сил, так равно и его жизнеспособностью.

Или об Обществе трезвости? Оно хочет угостить народ фонарями и устроить ему кегель-бан. Оно твердо уверено, что если пьяницам наставить фонарей, так они протрезвятся. Старая форма отрезвления, — трение ушей, — им забракована.

Общество канцеляристов? Я не был на кладбище забвения и не знаю, где помещена могила намерений этого Общества.

Общество учителей? У нас вообще не везет учителям. Это — скромное Общество. Оно притаилось где-то в глубине самарской жизни.

Велосипедисты? Катаются... Но, пробегая на велосипеде и по сто верст в час, не убежишь от скуки, если она не вне бегущего, а всегда внутри его.

Не так ли?

Ах, какая это мудрая вещь — скука!

А может быть он, мой друг, желает ознакомиться с жизнью «общества — просто», — вообще интеллигентного общества?

Что же я ему отвечу, не видя вокруг себя никаких признаков существования такого общества?

Я справлялся о нем, но никто из лиц, с которыми я говорил, не дал мне никаких точных указаний не только относительно его интересов, но даже и по поводу факта бытия.

— Местное общество? — задумчиво повторял опрашиваемый мной и некоторое время молчал, задумчиво и подозрительно посматривал на меня, а затем, очевидно, убедившись, что я не имею каких-либо тайных целей, ставя мой вопрос, — изъяснялся.

— Видите ли что... у нас тут два основных деления общества: — на молгачистов и антимолгачистов.

— Это враждебные друг другу кланы?

— Нет, просто так... От скуки выдумали себе интерес и воюют друг с другом...

— А невыдуманного интереса нет разве?— с унынием спрашивал я.

— До такого еще не додумались.

— Вот же — все-таки живет местное общество?

— То есть как это, живет? — изумлялся мой собеседник.

— Я хотел сказать: чем оно живет?

— А! Как везде, тем же самым. Иные рентой, иные жалованьем, доходами торговли и т. д.

— Нет, я говорю в моральном смысле?

Тут собеседник обыкновенно хмурился и сухо говорил:

— В моральном смысле? Не могу ответить вам на этот вопрос... Плохо-с понимаю его... Мы люди все более или менее порядочные и степенные, а потому моралью не занимаемся... Не интересно-с!

Я так отвечу на письмо моего друга:

— «Мой друг!

Общества пока здесь нет. Будет ли? — не знаю. Трудно надеяться. Кстати, долг уплатить не могу. Твой...»

Г. Кларк и 22 человека, иже с ним, очень оригинальные люди.

Устроив Общество книгопечатников, цель коего духовное усовершенствование своих членов, они хлопочут о скидках и льготах.

Им желательны всевозможные скидки и льготы.

Устанут они усовершенствоваться и захотят удрать от этого скучного занятия — предоставьте им для сей благоразумной цели бесплатный проезд, как на пароходах, так равно и на железной дороге.

Захворают они от опытов самоусовершенствования — потребна им скидка на касторовое масло, горчичники, разные элексиры и на все средства против головной боли.

Правление говорит им:

— Господа! Это — нищенство! А мы устроили Общество взаимопомощи, последняя же, как таковая, должна в корне отрицать всякую подачку со стороны.

Но г. Кларк и иже с ним настаивают на своем.

Они устроили Общество книгопечатников в Самаре, — где не только никто не печатает, но даже совсем почти и не читает книг. Это чего-нибудь да стоит и за это остальное человечество должно сделать для них разные скидки и льготы.

Они иначе не могут понимать взаимопомощь, как в форме помощи им.

Они пресерьезные люди и в высшей степени строго относятся к задачам своего Общества, — что, между прочим, не мешает некоторым из них подписывать разные заявления, не ознакамливаясь с их содержанием.

Устроив Общество, они тотчас же построили нелепый вопрос: «кто более компетентен в делах Общества — его правление или частные собрания членов?

И кто кого должен слушаться?»

По-моему, прежде всего все должны одинаково внимательно слушать глас здравого смысла.

Это — истина.

3 августа, № 165.

15

...Снотворное, еле заметное течение провинциальной жизни иногда навевает на чуткие души мечтательных людей странные желания и фантазии...

Скучно человеку, ибо жарко, есть не хочется, пить водку в одиночестве не интересно. Для того, чтоб обрести компанию, нужно пошевелиться — это не так-то легко!

А между тем хочется чем-нибудь развлечься.

И вот человек садится под окно и начинает швырять окурками папирос или чем-нибудь другим в физиономии прохожих, а то сам себе шепотком нескромные анекдоты рассказывает или развернет книгу, — если таковая в доме окажется, — и начинает читать строчки в ней слева направо, — если же весь этот порядок развлечений исчерпан, но скука не заглушена, — человек отправляется куда-нибудь по соседству и там начинает сплетничать...

— А знаете что, Иван Васильевич? Ведь жена-то Михайла Ивановича не иначе, как в интимностях с Василием Михайловичем! Ей-богу! Прошлый раз иду я это с ним мимо их окон, а она нам кричит: «Здравствуйте, господа!» И вдруг так, знаете, минорно и говорит ему: «Что это вас, — говорит, — Василий Михайлович, не видно?» И этак, знаете, глазами-то повела, повела! Я думаю: ах, ты штучка! А он, Васька, этаким петухом стоит под окном-то и улыбается ей. Я себе мотаю на ус: те-те-те! Ах, вы, милашки! Вон куда вы гнете! Нет, каков народец-то, Иван Васильевич? Портятся люди... Ведь она давно, знаете... этакие амурные авансы ему делала... Сначала мне было... но я, конечно, ни шагу! — Я? — Больно мне нужно!

Поговорив благодушно о порче нравов и о коварстве женщин, скучающий человек-фантазер вместе с своим приятелем идет в Струковский сад, садится там на скамеечку, и оба они, рассматривая гуляющих по саду «погибших, но милых созданий», — мысленно проводят соблазнительные параллели между ими и своими супругами.

4 августа, № 166.

16

В бытность мою в Тифлисе сделал я одно курьезное наблюдение над кухаркой моих квартирохозяев...

Была она пшавка,[1] рыжая, сухая, рябая, вечно грязная и сальная, вечно она свирепо хмурила густые рыжие брови, и желтоватые белки ее темных глаз то и дело или угрожающе вращались, или скрывались за густыми ресницами и вдруг снова блестели странным фосфорическим блеском глаз шакала.

С первого дня моего переезда на квартиру к ее хозяевам мы не поладили с ней.

---

[1] П ш а в ы — одно из кавказских племен. Живут в Сигнахском уезде Тифлисской губернии. [*Примечание Иегудиила Хламиды.*]

Она, таская мои вещи, то и дело толкала меня то тем, то другим и, видя, что это не обращает на нее моего внимания, наконец, ткнула меня кулаком в бок и шопотом сказала мне:

— Дъявэл!

Я попробовал объясниться с ней, но она захохотала и ушла.

С этого начался для меня ряд разнообразных мучений. Меня щипали, ругали, впускали мне в комнату тарантулов и скорпионов, клали мне под подушку ящериц, однажды утопили в кувшине с моим вином пару воробьев, и все это делала она, рябая пшавка.

Я, наконец, не выдержал и пошел к хозяину объясняться.

Я все рассказал ему. Он глубокомысленно выслушал меня и сразил таким объяснением:

— Нычэго! Нэ обращей вныманья! Наплуй на нэе. Это она тобой ынтэресуэтся.

Я вспомнил об этой рыжей дикарке по поводу любезного внимания ко мне со стороны г-на Сфинкса.

Не потому ли и он выпускает на меня скорпионов своего остроумия, что очень уж интересуется мной, но по молодости своих лет и жизненной неопытности никак не может более культурным способом обратить на себя мое внимание.

Сфинкс пишет мне разные неудобь-произносимые комплименты и сам же «от удовольствия зажимает нос».

Пишет он, по собственному сознанию, с удовольствием, но мне кажется, что он пишет с трудом.

Из него плохо «излезают мыслити», как выражаются болгарские поэты.

Но когда «мыслити сички[1] излезут» из него, он действительно с удовольствием ставит точку и рад, что из него испарилось все, отягощавшее его голову.

А за всем тем — господь с ним.

Он желает быть первой совой в старом, дуплистом и скрипучем дереве, — ну, и пусть его будет.

Как и чем можно помешать человеку в его стремлении исковеркать себя до утраты всякого человекоподобия?

Пускай его доставляет публике дешевое и смешное увеселение,— деятельность ничего себе, — не трудная и, должно быть, недурно оплачиваемая?

А?

А еще Сфинкс говорит о «настоящих литераторах», — должно быть, о тех самых «восьми птицах», отлет которых из «Самарской Газеты» своевременно отметил блаженной памяти сотрудник того же «Вестника» Гаврила.

Да, с той поры прошло некоторое время, «настоящие литераторы» перепорхнули в «Вестник», где ныне и чирикают более или менее «по-настоящему», но другие мелодии.

Запевалы у них нет, каменный Сфинкс — плохой дирижер, и по

---

[1] С и ч к и — все. [*Примечание Иегудиила Хламиды.*]

сей причине рассуждения об экономическом материализме Каутского нимало не мешают настоящим литераторам помещать в своем органе перепечатки передовиц из «Московских Ведомостей».

Иное место — иные песни, — это настоящий смысл деятельности настоящих литераторов.

5 августа, № 167.

17

Если вы пойдете днем в Струковский сад, то увидите там много юных людей с озабоченными физиономиями и с книжками в руках и услышите такие странные речи, которые сразу заставят вас усумниться в строгости надзора за пациентами Томашева Колка.

— Кроме военной славы, которою Спарта заслуженно пользовалась... Машенька обещала мне подарить на память свою карточку. Она хотела сняться в то время... когда во всей Греции кипела борьба политических партий...

— Le commode — комод, le crocodil — крокодил... Как я ему шаркну мячом-то прямо в глаз!

— Гомилетика есть наука, предметом которой служит... Рыбная ловля для меня предпочтительней беспутного хождения с ружьем... По определению греческих писателей... уженье погружает субъекта в созерцание.

— Границы Румынии простираются от реки Прута.

— До сада я шла с ним под ручку, и он...

— Разбил персов наголову!

Переэкзаменовки близко!

Молодое поколение, опьяненное впечатлениями лета, из всей силы старается втянуть себя в рамки научных занятий.

Сквозь туман пережитого рельефно встают пред глазами грозные фигуры учителей, прыгают маленькие фигурки нолей, и единицы вертятся в воображении, ядовитые, как коховские палочки.

...Подвергаясь до некоторой степени влиянию провинциальной жизни, и я поддаюсь иногда странным желаниям и фантазиям, навеваемым ею.

Так, например, сегодня мне ужасно хочется рассказать один восточный анекдот, и, право, я не могу устоять против этого желания.

Я очень смущен им, знаете, и мне ужасно неловко пред вами за то, что мой анекдот — не «кабинетный» и не «будуарный». А также я боюсь, что вы, может быть, уже слышали его...

Но тем не менее это хороший анекдот, и я уж расскажу его все-таки... Он краток.

К шейху одного арабского племени пришел некто из его людей и заявил, что у него пропал осел.

Шейх славился своей мудростью... Он посмотрел вокруг себя в песчаную пустыню, раскаленную солнцем, окинул взором старого орла палатки своих людей и сказал человеку, потерявшему осла:

— Собери иди всех сынов пустыни к шатру моему!

И когда арабы собрались вокруг него и молча ждали его мудрой речи,— он так заговорил:

— Дети пустыни! Есть ли среди вас кто-либо, кто бы не болел душой над книгой мудрости, не думал бы в ночи о происхождении света звезд, или о судьбах человека и задачах жизни его, кто бы не любил цветов и музыки, кто бы ценил овцу выше женщины, кто бы не мечтал о будущем и не желал его видеть лучшим, чем настоящее? Есть ли среди вас кто-либо, довольный жизнью своей, кто бы предпочитал сон бодрствованию и спокойное бодрствование — горячей работе для славы племени? Есть ли среди вас кто-либо такой, дети мои?

Тогда один из арабов подошел к шейху своему и, склонив пред ним голову, скромно признался:

— Это — я.

И, указывая на него тому человеку, кто потерял осла, шейх вздохнул и кратко сказал:

— Вот осел...

Покорно прошу заметить, что ругается шейх анекдота, а не я.

Затем я не желал бы, чтобы меня заподозрили в намерении сказать кому-нибудь личность.

Уверяю вас, что я привел этот анекдот не ради чего другого, как только ради исполнения моего желания.

Я также прошу заметить и то, что дело происходило в пустынях Аравии, а не в Самаре. Аравия же, по-моему, гораздо хуже Самары, ибо в ней и жарче и пыли больше.

И вообще, к утешению самарян, я считаю нужным заявить, что сам лично видел на земном шаре места еще более худшие, чем Самара, например, Сиваш, Пинские болота и другие не менее неприличные местности. Не в комплимент Самаре говорю я это, а по чистой совести.

Вообще на земном шаре нельзя найти что-нибудь такое, хуже чего так бы уж и не нашлось еще чего-нибудь.

Извините за эту несколько запутанную фразу...

Бывают фразы еще хуже... то есть оригинальнее, хотел я сказать...

Так, на днях одна самарская лэди, коренная русачка, собираясь гулять, выпалила в лицо своего супруга такую премудрость:

— Всегда, когда я когда-нибудь иду гулять, — тогда никогда моей шляпы не оказывается на месте!

А когда супруг ее не понял, — она отдула его зонтиком по голове...

6 августа, № 168.

18

Недавно управление железной дороги устроило маленькую комедию, — раздавало служащим награды за усиленную работу в 1893 г. по сдаче дороги в казну.

Судя по некоторым примерам, правление захотело при раздаче наград изобразить из себя фортуну, для чего и завязало себе глаза во время операции распределения наградных денег по заслугам.

Из этого получилась целая серия игривых нелепиц.

Так, например, составитель поездов А. служит с 78 г., имеет два жетона за беспорочную службу и получает жалованья 40 р. в месяц.

Его наградили пятишницей.

А весовщик Б. служит два года, получает 30 р. в месяц — он получил награды...

25 р.!

Ясно, — чем меньше служишь, — тем больше получаешь наград...

Это очень поучительно.

Придерживаясь такой системы определения степени заслуг, железная дорога должна выдать более или менее крупные куши всем тем людям, кои не состоят у нее на службе.

Заслуживает внимания и тот факт, что некоторые штатные служащие наград не получили совсем, хотя участие в работе по сдаче дороги и принимали, и, наоборот, некоторые не штатные получили, хотя по сдаче и не работали.

Все это весьма премудро.

Очевидно, штатным служащим бабушка не ворожит, а не штатные в сорочке родились.

Какой-то наивный и чрезмерно требовательный человек прислал в редакцию письмо, в котором жалуется, что пароход «Амазонка» опоздал против расписания на 17 часов и этим нарушил и разрушил его, пассажирские, предположения.

Вот недовольный человек! Благополучно сошел с парохода, — никто его во время пути не обругал, ниже́ не поколотил, ниже́ не сжег в огне и не утопил в воде, — и, несмотря на все это, — он жалуется...

Разрушены его предположения... Как это важно! Пассажир не должен предполагать, ибо им и судьбой его располагает капитан парохода.

Садясь на пароход, нельзя ничего предполагать, ибо если вы предположите, что вас утопят, — вас только изругают, а если вы приобретете уверенность в том, что погибнете при столкновении,— вас наверняка сожгут.

Если же вы проехали на пароходе сто верст и, примерно, через сутки сошли с него на твердую землю при полной наличности ваших сил и способностей, — тут не на что жаловаться и следует ликовать.

Ведь вы остались живы? И никаких особенных неприятностей не претерпели? Будьте же довольны этим, ибо это очень редко случается с человеками, имеющими неосторожность кататься по Волге на пароходах. А если вы опоздали куда-то на 17 часов, — это может быть даже очень полезно как для вас лично, так и вообще для людей.

Кто знает, что с вами могло случиться или что вы сами могли сотворить в эти 17 часов, будучи на земле?

Нет, право, он очень счастлив, — этот опоздавший пассажир.

Капитан парохода не прогуливался по его посуде в то время,

когда пассажир обедал или пил чай, — а на пароходах Зевеке это принято...

Лакей не облил этого пассажира кипятком из чайника, что случается очень часто, — и не выпустил ему в физиономию бутылку сельтерской, что происходит еще чаще.

Этому пассажиру не придется также и фигурировать в качестве свидетеля по делу об изнасиловании пароходным лакеем крестьянской девушки... или по делу о неправильном потоплении лодки с человеком, желавшим съехать с парохода на берег.

Он, пассажир, ни слова не говорит и о том, что его беспокоила во время пути русская ругань немецких людей, играющих административные роли на пароходах Зевеке.

Вообще его путешествие обошлось ему очень дешево, чем он и должен быть доволен...

А он, неблагодарный, жалуется...

За это его следовало бы наказать...

Например, снова посадить его на пароход Зевеке в третий класс и прокатить на оном уже от Нижнего до Астрахани. Это, наверное, смирило бы его строптивость... если бы он закончил свою поездку цел и невредим.

8 августа, № 169.

19

Если у вас имеется близкий человек, который изредка говорит вам, что вы, например, не умны, или не красивы, — не покупайте себе зеркала, — оно излишне для вас.

Можете быть уверены, что ваш друг говорит вам правду, — ибо по представлению людей суть дружбы в том именно и заключается, чтобы делать друг другу маленькие неприятности под видом взаимного опекательства...

И если вы — любитель истины, — не ищите ее в похвале вам, — это наивно, но вы всегда найдете ее в порицании, — это факт.

Согласитесь, что трудно согласовать правду с похвалой обыкновенному будничному человеку, именно такому человеку, как вы, ибо, согласитесь опять-таки, за что бы это можно было похвалить вас, не кривя душой?

Ведь если большинство будничных людей и не делает крупных отступлений от общепринятой морали, — так это только потому, что оно вообще ничего не делает.

Из вышесказанного следует, что правдиво только порицание и только порицание искренно, ибо человеку необходимо порицать другого, так как чужие недостатки всегда оттеняют наши достоинства, нам же необходимо убеждаться в существовании у нас достоинств, и необходимо как можно чаще осязать их, ибо по миниатюрности своей они ежеминутно подвержены риску быть потерянными нами...

Надеюсь, мне не станут возражать...

Итак, — человек всего более искренен тогда, когда он порицает...

А отсюда следует, что пресса всегда искренна, ибо она всегда порицает.

Это ее провиденциальное назначение, обусловленное всей канителью и путаницей условий русской жизни...

Именно пресса и есть самый искренний и правдивый друг общества, она есть зеркало его, и общество никогда не должно на нее пенять, памятуя некую мудрую пословицу.

Она отражает явления и факты, она хотела бы быть беспристрастной, — но, боясь и не желая стать беспристрастной, она всегда тяготеет в ту сторону, где сложено человеком и ныне уже покрывается пылью времени все то хорошее, что раньше, не так давно, считалось необходимым для жизни.

В Самаре есть один гуманный человек — это «Один из служащих его», — как он подписал свое письмо в редакцию, обличающее порядки в зверинце г. Эйгуса.

Г. Эйгус со своим зверинцем в данное время в Нижнем, куда в ярмарочное время всегда стекается масса хищных животных, но «один из служащих его», очевидно, остался здесь, в Самаре, и ныне обличает г. Эйгуса за зверское обращение со зверями.

Он пишет:

«Вы знаите у нево было шесть львоф, а сейчас осталось пять, одного совершенно здоровова он, нахал, повесил, дорогой между Симбирском и Самарой, шкуру снял, а труп бросил в Волгу, затем мы шли до Нижнего, тринадцать суток, и за ето все время он кормил несчастных зверей, клянусь вам, только всего два раза и жывотные ныли от голода, а приехавши в Нижний через десять суток околел слон Боско».

Дальше идет речь о дровах, о керосине и еще о чем-то таком, что написано не только совершенно непонятно, но и вполне неразборчиво.

Подписано — «Один из его служащих».

Вы ничего особенного не прозираете в этом обличении? Оно вам не кажется типичным недоразумением, происшедшим в душе русского человека, слегка тронутого веянием культуры?

А право же это именно так.

Человек, проникшийся состраданием к африканским зверям, положение которых во всяком случае более обеспечено и сытно, чем, например, положение бродящих армий косцов, жнецов и иных русских людей, не знающих, где и на чем урвать себе кусок хлеба,— этот человек — близкий родственник тем гуманным господам, которые устроили Общество покровительства животным и не обращают ни малейшего внимания на уличных беспризорных детей.

В обличении г. Эйгуса одним из его служащих сказалась все та же русская гуманность, которая воспаляется состраданием при виде занозы в пальце — и совершенно равнодушна при виде пустоты в желудке и голове ближнего.

Боюсь, что сегодня я скучен, чего не должно быть в моем амплуа. Я сейчас поправлюсь, предложив публике вот эту веселенькую петербургскую штучку.

Отпускной билет
для состоящего в супружестве

Г-на. . . . . .

В виду того, что вышепоименованный в последнее время особенно усердно исполнял супружеские обязанности и, вообще, вел себя хорошо, ему, по его же просьбе, разрешается отпуск на сегодняшний вечер, с правом возвращения домой позже 10-ти час. сего же вечера.

. . . . . дня 189 . . . года.

Супруга. . . . . .

Обратить внимание на помещенные на оборотной стороне примечания.

Примечания сии, числом шесть, суть таковы.

1) Утаение обручального кольца в жилетном или другом кармане сопряжено с немедленным лишением права на сей отпускной билет.

2) На вход в заведение вроде Зоологического сада, Альказара, ресторана Лежень и т. п., где в ужасающем и грозящем серьезною моральною опасностью множестве встречается нуждающийся в покровительстве женский элемент, сей билет прав не дает.

3) Разговоры на Невском с какими бы то ни было неизвестными, особенно женского пола, лицами, в виду могущих произойти от этого неприятных столкновений с гг. городовыми, ни под каким видом не допускаются.

4) Возвращаться домой в состоянии, именуемом «до чортиков» или «до зеленого змия», строго воспрещается.

5) Билет действителен лишь на день выдачи, и выдача нового сопряжена с дальнейшим безукоризненным поведением как на дому, так и во время отпуска.

6) При входе в дом сей билет, а равно и отдельный ключ к квартире, буде таковой имеется, — должны быть немедленно возвращаемы.

Вы, может быть, полагаете, что я сам это выдумал?

Увы — о, мужья! и ах, о, жены!

Это совершенно серьезная штука, взята она мною из «Гражданина» и являет из себя нечто иное, как форму отпускного билета, выработанного «с.-петербургским дамским клубом» для мужей.

По «Гражданину» — петербургско-клубные дамы на первых же собраниях вотировали вопрос об урегулировании прав и обязанностей супруга вне дома.

Предполагалось окончательно воспретить мужьям какие-либо отлучки из дома, но это было найдено неудобным. Было еще несколько предложений, и в результате дебатов — вышеприведенный отпускной билет для мужа.

Был установлен контроль для наблюдения за мужьями вне дома.

Но — да возрадуются мужья! — тот же «Гражданин» сообщает, что проект провалился...

И знаете — почему?

Вмешалось Общество покровительства животным и доказало дамам, что такое обращение с мужьями — не гуманно.

И дамы смиловались.

Г-м! Они не излишне гуманны?

Я, знаете, всегда стою за дам.

9 августа, № 170.

20

... Я расскажу вам трогательную историю о добродетельном воре, историю, за правдивость которой ручается «Казанский Телеграф».

Я надеюсь, что эта история тронет вас за сердце и заставит мягче относиться к ворам, ибо, как оказывается, эти милые люди более вас самих пекутся о спасении душ ваших.

Откройте же ваши уши — внимание! — и да озарит сердца ваши свет воровской добродетели!

Я же начинаю повествовать о сем правдивом событии.

В первых числах июля, в казанском монастыре производился подсчет кружечного сбора и среди медяков был найден билет первого внутреннего займа...

Из надписи на нем оказалось, что он положен на помин души супругов Х.

Желая обратить билет в деньги, монастырь отослал его в банк. И вдруг — обнаруживается, что этот билет некогда принадлежал именно супругам Х. и был украден у них.

Вникайте!

Вор украл билет и пожертвовал его на помин души тех именно людей, у которых он его украл.

Это ли не знаменательно?

Мы настолько мало заботимся о душе нашей и так засорили и выпачкали ее пылью и грязью, что вот, ныне воры ощутили сострадание к нам и грабят нас не ради чего-либо другого, а исключительно в наших же интересах.

Крадут у нас деньги на помин наших же душ.

Они, как видите, ныне расширяют деятельность и начинают заботиться не только об очищении ваших карманов, но и чистоте ваших душ.

Поблагодарите же их за это!

Ибо то, что они ныне делают из сострадания к вам, — давно бы пора делать вам самим из сознания греховности вашей...

Скажем же искреннее спасибо добродетельным ворам за их внимание и любовь к нам, грешным.

Но будем серьезны и заглянем в сердце события.

Господа! В сфере незаконной экспроприации чужой собственности установлен прецедент в высшей степени опасный для нас.

Его оригинальность не должна скрывать от нас его истинного значения.

Вы подумайте, к чему только он может повести!

Расхищены общественные суммы, — мы всегда недовольны таким

деянием, если не были любезно приглашены татями к участию в нем.

Мы ловим татей и желаем, чтоб они были наказаны.

И вдруг, они говорят в свое оправдание:

— Да, мы украли, но мы украли эти деньги потому, что хотели отслужить несколько молебнов за ваше здравие и раздать их нищим на помин ваших душ...

Что мы на это возразим?

Или, например, у вас есть жена и, — предположим для примера же, — вы ее любите.

Является тать и крадет вашу жену.

Вы возмущены этим — не забывайте, что это все только пример.

Вы выражаете вору ваше негодование.

Но он прехладнокровно заявляет вам:

— Голубчик, — чего же вы сердитесь? Уверяю вас, что я действовал всецело в ваших интересах... Вижу я, что весь вы поглощены любовью к вашей супруге, и мне стало жалко вас. В жизни есть и другие интересы, батенька мой, и другие занятия более продуктивные, чем объятия, поцелуи и разные там милые речи. Так-то, дорогой мой. И вот, видя, что вы утопаете в блаженстве и тратите нужные для жизни силы на такие причуды, как любовь, — я решил возвратить вас к действительности...

Как бы вы на это возразили?

У вас крадут трость и объясняют это тем, что боятся, как бы вы, при вашем характере, не побили ей кого-нибудь.

С вас снимают пальто из сострадания к вам, ибо заметили, что оно жмет вам подмышками.

У вас тащат из кармана кошелек—и объясняют вам это необходимостью предостеречь вас от непроизводительных затрат вами ваших денег.

И прочее, и тому подобное, и так далее.

Господа! В виду того, что воры вступают на стезю добродетели и начинают проявлять так много внимания к людям, — нам ничего больше не остается делать, как стараться подражать им.

Я думаю, что это единственный путь, по которому мы можем убежать от опасности быть ограбленными с добродетельной целью и из любви к нам.

Приближается осень.

Я знаю, что я не говорю новости, я знаю это.

Я слышу осенние речи об осенних интересах общества и с грустью говорю: — приближается осень.

Солнце становится холодным, зелень блекнет, по небу ползают грустные тучи и в обществе горячо говорят о солке огурцов, о рубке капусты, о переэкзаменовках, о необходимости мочить яблоки, о ценах на дрова, о театре и о том, что в нем будет.

Я думаю, что в нем будет драма.

Сильное желание публики видеть на сцене артистов будет неистово бороться с невозможностью вообразить артистами тех господ, из которых сформирована труппа.

А труппа будет упорно разрушать представления публики о

театре, как о месте, в котором можно провести вечер интересно и поучительно.

Я, — скажу по совести, — не люблю драмы такого сорта.

11 августа, № 172.

21

Бледность и бессодержательность отдела хроники в местных газетах рождает в моем сердце и робкое чувство умиления, и некоторую боязнь.

Я развертываю газету, просматриваю хронику и вижу: скандалов нет!

Почему нет?

А вдруг потому, что мы приобщаемся к культуре?

И я робко умиляюсь.

Но через минуту я уже думаю:

А вдруг потому, что мы настолько утратили способность вообще к какой-либо деятельности, что даже и скандала сделать не можем?

И я боюсь быть правым в моем предположении.

Ах, это мучительное состояние!

Нет скандалов, — ведь это, знаете ли, очень опасный признак, ибо общественная жизнь у нас знаменуется прежде всего — именно скандалами.

И если нет скандалов, то...

13 августа, № 174.

22

На Волге есть новости.

Во-первых, в ней нет воды.

Во-вторых, на ней есть новые криминальные казусы.

«Боярин» разбил нос о борт «Короля».

«Надежда» безнадежно изувечила баржу Солина.

Положим, это не особенно ново и ничуть не оригинально, ибо столкновения судов на Волге всегда были, есть и впредь будут.

Мне кажется, что столкновения — это тоже нечто вроде спорта, и совершаются они так.

Едет, например, «Боярин», а навстречу ему шествует «Король».

Капитан «Короля» смотрит и соображает:

— Ежели я теперь возьму курса мало-мало влево, то непременно угожу ему в правый борт, а ежели взять мне вправо, так тогда я садану его с левой руки. Штука! Оно можно разойтись и мирно, не задевая друг друга... Но только это не занимательно... Да потом, ежели давать ему дорогу, так оно, пожалуй, захряснешь в песок. Опять же и он не барин. Пусть сам свертывает!

И пока капитан соображает,— пароходы стукаются друг о друга, и оба, изувеченные, останавливаются среди реки.

Тогда гг. капитаны принимаются за освещение факта.

— Что же вы, дьяволы, не видите, куда прете? — говорят с «Боярина».

— А вы?
— Что мы?
— Ничего! Слепые свиньи, вот что!
— Да разве это мы?
— А кто? Ишь!
— Да вы же сами наехали на нас!
— Мы?
— А то кто?
— А вы чего не брали в сторону?
— Мы?
— Вы!
— Это в какую сторону?
— В левую!
— В левую? Сказал! Ежели бы мы взяли в левую, так вдарили бы вам в правый борт!
— Ну, а теперь?
— А теперь — в левый!
— Да разве не все едино, лешманы?
— Эка? Вот чучела! Разве, по-вашему, все равно, что лево, что право?
— Да, чай, ведь не про то речь идет!
— А про что?
— Да вы нас изувечили!
— Эвона! У нас у самих нос разбит!
— Так ведь кто виноват-то?
— А кто?
— Мы?
— А кто же?
— Вы!
— М-мы!? Ах вы...

Далее диалог теряет свой цензурный характер...

Иногда на сцену вылетают кулаки.

В общем же никогда и ничего нельзя понять в делах о столкновениях, и судоходная инспекция всегда чувствует себя как бы в сетях в массе разноречивых показаний свидетелей-очевидцев...

Вот роскошная иллюстрация к вопросу о том, как хорошо знают капитаны пароходов фарватер своего плеса.

Через реку Вятку едет мужик с возом сена.

Читатель изумляется...

Да ведь Вятка — судоходная река!

Это ничего! И через Волгу будут свободно переезжать воза и путешествовать любопытные курицы.

Захочет, например, самарская курица посетить Симбирскую губернию и пойдет пешком в село Рождествено.

Пойдет — и благополучно, ноги не замочив, дойдет до означенного пункта.

Это скоро уже будет — года через два-три.

Итак, по реке Вятке едет мужик с возом сена.

Навстречу ему осторожно ползет пароход и свистит.

— Сворачивай!

А затем — отмахивается...

— Сворачивай вправо! задавлю!

Мужик лежит на возу, смотрит и смеется...

Он знает, что скоро наступит торжество гужа, и скоро гуж будет успешно конкурировать с поездами железных дорог.

И, уверенный в этом, он покоен.

А пароход свистит.

— Вороти лошадь вправо!

Тогда мужик — он был великодушен — кричит пароходу:

— Дурень! Куда тя несет? Видишь, я на колесах тут еду! Чай догадайся, что не пройдет пароход там, где воды телеге по ступицу... Сам-от вороти! Эн куда загибай — там четвертей шесть воды-то! Чучело!

Пристыженный пароход загибает и, благополучно минуя перекат, пронзительно высвистывает мужику свою глубокую благодарность.

А великодушный мужик едет с возом по реке Вятке, понукает свою лошаденку:

— Ну-ну! Шагай, милая! Вот скоро река-те совсем просохнет,— легче будет езда-те! Ну-ну!

И едет себе по судоходной реке.

Это факт...

Об этом рассказывает «Волжский Вестник».

Поверьте ему, — газета почтенная.

15 августа, № 175.

23

...Нам было скучно — мне и моему лучшему другу.

Мы сидели с ним за столом и молча думали, — о чем бы нам заговорить?

Я думал еще и о том, что ни с кем не проведешь времени так скучно, как с лучшим другом.

А он тоже думал о чем-то таком, что не говорится между лучшими друзьями.

Так, сидя бок-о-бок, мы были далеки один от другого.

— Скучно! — сказал мой лучший друг.

Я молча и утвердительно кивнул головой.

Молчаливое согласие уменьшает стыд признания.

— Давай исследуем вопрос, почему нам скучно? — предложил он.

— Действуй! — согласился я.

Мой лучший друг занимается скорбью о жизни.

Как известно, тихая скорбь о неудобствах и тяготах бытия, — тихая скорбь с легонькой гражданской ноткой и с поползновениями в область философии — вполне современное и самое излюбленное занятие большинства просвещенных обывателей.

Вместе с тем это и очень выгодная профессия — она решительно

ни к чему не обязывает, но всегда оставляет за вами право на звание передового и мыслящего человека.

— Почему это нам живется так скучно? — приступил мой друг к исследованию вопроса.

И он поковырял пальцем правой руки свою голову, после чего в ней начали шевелиться разные залежавшиеся мысли.

— Ведь, говоря без комплиментов, мы люди не глупые, до некоторой степени образованные, не старые, если судить по внешности, и хотели бы жить, на что указывает наша скорбь о жизни. Почему же нам скучно?

Я не люблю отвечать на вопросы, отвечать на которые неприятно, и я очень любопытен.

Поэтому я молчал, дожидаясь ответа.

Мы — я и мой лучший друг — стояли в таком положении: он был по отношению ко мне как бы человеком, имеющим намерение занять и развлечь меня, я же по отношению к нему как бы публикой.

Публика никогда не ощущает чего-либо иного, кроме любопытства.

Я вошел в мою роль и сразу стал хладнокровен и туподушен, как настоящая публика.

Я ждал будущего и был уверен, что оно придет, мой друг озаботится ускорить его приближение, заполняя мое настоящее и сокращая его за счет будущего.

Я, в роли моей, и рассуждал так же хладнокровно-цинично, как публика:

— Ты даешь мне что-то? Посмотрим. Послушаем. Ты не хочешь дать мне чего-либо? Ты не интересен и не можешь претендовать на мое внимание. Убирайся! меня развлечет другой.

Я и чувствовал себя так же прекрасно и уверенно, как публика.

Она всегда и всюду, где есть, чувствует себя хозяйкой положения и ждет услуг со стороны лиц, предлагающих ей, для ее развлечения, свой голос, свои мускулы, свой ум, все, что у них так или иначе замечательно и исключительно.

Она смотрит на моралиста, слушает его и думает:

— Ба! Посмотрела бы я на тебя тогда, когда бы ты имел возможность наслаждаться всеми благами жизни и поклонением тебе!

Едва ли тогда ты был бы моралистом.

И не думаю я, публика, чтобы ты стеснялся...

Единственно, что, может быть, ты совершил бы для прикрытия своего отступления с пути твоей морали, — ты создал бы новую теорию, способную оправдать тебя в моих глазах за перемену фронта!

Она цинична, публика-то.

— Мы имеем много, — говорил мой лучший друг. — Цирки, журналы, спорт, газеты, концерты, дома терпимости, искусство, устрицы, женщины — разве не для нас все это?

И мы пользуемся всем этим и все-таки нам скучно! Мы разнообразно перетасовываем наши удовольствия и развлечения — ненасытно и алчно пользуемся всем, что предлагают нам — и все-таки мы тупы, скучны, тенеобразны и странно надуты вечным недовольством жизнью, недовольством нашим ближним, к которому — от безделья — мы выработали такое строго критическое отношение.

Это ведь не иначе, как от безделья все мы морализируем и осуждаем друг друга так безапелляционно и так якобы тонко и глубоко проникаем в душу ближнего, для рассмотрения в ней ее пятен и для осуждения их...

Это все от скуки мы делаем и все затем только, чтоб, обвиняя другого, оправдать себя. Не так ли?

Я молчал, это очень удобно — молчать.

Он тоже замолчал.

Мы сидели в саду на лавочке... Над нами висел зеленый полог ветвей, и солнечные лучи, проходя сквозь него, бросали на траву зеленые пятна света.

Почти в каждом из них — нам ясно было видно — кипела жизнь.

Крохотные букашки разнообразных форм и цветов нервно копошились в траве, ползали, исчезали, снова появлялись; муравьи что-то таскали в своих сильных челюстях.

Все было настроено нервно, все кипело...

Малюсенькие букашки во всю мочь устраивали «как лучше» свою краткую жизнь.

Я и мой лучший друг смотрели на это... И нам было скучно...

Веселая и, полагаю, остроумная мысль пришла мне в голову:

А не заняться ли нам от скуки, по примеру букашек, муравьев и других микроскопических насекомых, устроением нашей жизни «как лучше».

Может быть, это несколько развлекло бы нас?

20 августа, № 179.

24

Совершенно неожиданно оказалось, что у обывателя имеется честь.

Этим открытием мы обязаны лавочнику Васильеву, занимавшемуся сбытом краденых вещей и, в страхе наказания за такие операции, отравившемуся карболкой.

Говорите о мертвых или хорошо, или ничего.

Я ничего не буду говорить о Васильеве.

Он умер, письменно заявив живым: «менять честь на тюрьму не хочу».

Но кое-что об обывательской чести необходимо сказать.

Это очень странная честь, согласитесь.

Ее нельзя променять только на тюрьму, вообще же она ходкая, меновая ценность.

Как бы нечто вроде медного пятака.

Она не позволяет сесть в тюрьму потому, что это подорвало бы кредит ее носителя и обладателя, но она ничуть не мешает ему совершать те деяния, за которые сажают в тюрьму.

Вот она какая гибкая и неопределенная штука, эта обывательская честь.

Некоторые суровые господа решались даже отрицать существование чести у обывателя.

Они близоруки, эти господа.

Факт — обыватель имеет свою честь, но вследствие ее гибкости, она мало заметна в его деяниях.

Ныне письменно засвидетельствовано, что она существует и настолько дорога обывателю, что он не решается менять ее на тюрьму.

Это очень хорошо и очень убедительно.

Итак, обыватель живет с честью.

Он с честью принимает краденые вещи, с честью немножко занимается ростовщичеством, с честью скандалит, напивается, сплетничает, с честью бьет от нечего делать жену и т. д.

Но он не хочет с честью сесть в тюрьму...

Ах, какой благородный!

В воскресенье в Струковском саду происходило торжественное и публичное посрамление музыки г. Мраза и оркестра его.

Играл оркестр златоустовского резервного батальона и публика биссировала исполняемые им пьесы.

А г. Мраз стоял и в недоумении, кусая свою деревянную палочку, думал:

— Почему же это никто и никогда не одобрял моей деревянной музыки? Разве я играю недостаточно быстро те пьесы, которые требуют медленного темпа.

И он решил, что самарская публика не понимает музыки, если она предпочитает хорошую музыку его музыке.

Я считаю музыку г. Мраза очень высокой — она играет на чердаке вокзала.

Мало того, — желаю видеть ее еще выше.

Тогда она была бы не так слышна.

Сидельцы винных лавок притворяются невинными в присвоении обывательских грошей...

Они говорят:

— Мы что? Мы ничего! Нам приказано взимать с грошом, — мы и говорим: — пожалуйте нам грош!

А если у вас нет гроша, почему же у нас должен он быть?

И, продавая в день по сотне и более бутылок, сиделец взимал в свою пользу по сотне и более обывательских грошей.

Это было очень пользительно...

Для сидельца, — конечно.

Для обывателя — совсем напротив.

Он, видя, что с него и тут тянут грош, с горя пил.

Вместо того, чтоб купить одну сотую с переплатой за нее лишнего гроша, он покупает две сотых.

Грош оставался в кармане...

Обыватель был доволен своей экономической смекалкой и, идя в винную лавку, думал про себя о сидельце:

— Н-нет, брат, ты меня не подсидишь! Я тебя всегда обойду и поднадую!

И обошел и поднадул, как сидельца, так и себя.

Ибо по подсчету оказалось:

За полгода существования винной монополии он, обыватель, выпил водки вдвое больше, чем за весь истекший год...

В части ночевало обывателей за эти полгода почти на две сотни штук больше, чем за весь истекший...

В бесчувственно-блаженном состоянии на улицах за полгода поднято вдвое больше, чем за весь прошлый год...

Изувечилось в пьяном виде, опять-таки, вдвое больше...

И все, знаете, вдвое больше, да вдвое больше!

Вот она к чему ведет грошовая-то экономия.

Нужно ждать, что теперь, когда сидельцев обязали иметь в кассах гроши на сдачу, — обыватель будет меньше пить.

За последнее время было несколько крупных общественных выпивок.

Соборне осматривали с выпивкой песчаную косу, имеющую намерение подсыпаться к городу и оттолкнуть Волгу в Симбирскую губернию.

Конечно, порядочное дело всегда надо начинать выпивкой, так уж со времен Гостомысла установлено.

Но, с другой стороны, на чей счет будут отнесены суммицы, потраченные на выпивочки? ась?

Ежели они не будут разложены на лиц, пивших осматривая и выпивавших открывая, — по скольку на душу падет, — а будут отнесены, например, в статью: «на снаряжение экспедиции для осмотра и изучения движения песчаной косы, имеющей намерение лишить город реки», то посредством такового сноса не остался бы кто-нибудь с носом?

Например, которое-нибудь из городских училищ, нуждающихся в пополнении ученических библиотек.

Дело образования народного у нас поставлено на грошиках, по сей причине мне интересно знать — кто платит пропитые рубли?

Не город?

Тогда, конечно, кушайте себе на здоровье!

23 августа, № 181.

25

По городу ходят слухи.

Или, вернее, — по городу расхаживают люди и разносят с собой слухи.

Сии люди унылы и печальны, а разносимые ими слухи мрачны и тревожны.

Ибо над головой г. Молгачевой собираются тучи, и мрачно настроенные люди — суть ярые молгачисты.

Г. Гатлер якобы входит в городскую думу с предложением устроить в Струковском саду летний театр.

Молгачисты, услыхав об этом, моментально поверглись в уныние.

Г. Молгачева, их кумир, должна будет понести убытки от устройства летнего театра.

Этого не должно быть.

Она по гроб своей жизни будет диктаторшей самарского театра, сданного ей на прокормление, и должна пользоваться единолично и безусловно всеми удобствами своего положения!

Так решили ее приверженцы и поныне твердо стоят на страже интересов главы своей партии.

Предложение г. Гатлера нарушает эти интересы. Молгачисты насторожились.

И вот ныне они готовятся к защите г. Молгачевой.

Во тьме нощной, сурово нахмурив брови и закутавшись в плащи, они ходят из дома в дом и совещаются о том, как бы это им устроить в думе самую свирепую оппозицию тем из гласных антимолгачистов, которые стали бы защищать предложение г. Гатлера?

Потихоньку закипает борьба двух главнейших и единственных общественных партий г. Самары.

Кто победит в сем... славном споре?

Вопрос, на который, — как и на все остальные вопросы, — ответит будущее.

Ах, когда я вспоминаю о том, сколько вопросов предстоит разрешить будущему, — я начинаю сомневаться в том, что будущее будет...

Оно только потому и может быть интересно, что от него мы ожидаем новизны.

Но какая же может быть в нем новизна, если мы в него, как приживалка в свой ридикюль, то и дело суем разные вопросы?

Оно, на мой взгляд, все засыпано ими и, право, от него трудно ожидать новизны...

Ознакомившись весьма подробно со всеми неудобствами и нелепостями самарской жизни, — я все-таки не имею чести лично знать г. Молгачеву.

Но я не скорблю об этом, — я уверен, что она с открытием театрального сезона — покажет себя...

Пока я совершенно объективен по отношению к бедной вдове города, столь богатой защитниками.

Скажу больше: втайне я даже рад факту ее существования. Почему?

Ах, это вполне естественно!

Есть г. Молгачева, — есть общественная жизнь, так как есть молгачисты и антимолгачисты, есть враждующие общественные

партии — Монтекки и Капулетти Самары, борьба интересов и так далее, и прочее, и тому подобное.

Борьба же воспитывает дух человека, оживляет энергию общества и посему да здравствует г. Молгачева и ее искусная борьба со стремлением общества насладиться театральным искусством!

Иногда я представляю себе — нет г. Молгачевой!

И тотчас же я вижу — нет общественной жизни!

Театр — единственное развлечение города; он плох, он из рук вон плох уже был и обещает быть еще хуже!

Пока он плох, публика ходит в него и разделяется на две партии.

Одна говорит: труппа прекрасна.

Другая возражает: врете! Труппа никуда не годится.

Возникают споры, изощряющие самарские мозги, что очень хорошо.

А представьте, что в Самаре, паче чаяния, явится умелый антрепренер и сносная труппа.

Тогда единственные общественные партии Самары родственно сольются в одну большую партию обывателей, довольных своим театром. Молгачисты и анти потонут в болоте взаимного примирения, изощрять мозги будет не на чем, вражда, раздоры, все, что оживляет зимой жизнь общества, — исчезнет... Будет скучно-пре-скучно...

Потом нужно будет изобретать новый интерес и пункт раздора, необходимого для оживления жизни.

Это не легко, с нашими-то психическими средствами!

Нет, положительно, г-жа Молгачева необходима Самаре еще более, чем Самара ей. Ибо только она, г-жа Молгачева, фактом своего существования и своей деятельностью оживляет жизнь Самары, заставляя обывателя спорить, вздорить и, главное, рассуждать.

Да живет же г-жа Молгачева и да воинствует самарское общество за и против нее!..

Так как очевидно, что воинствовать за что-либо иное и против чего-либо иного оно, это почтенное общество, неспособно...

24 августа, № 182.

26

Амплуа фельетониста — очень нелегкое амплуа, скажу я вам.

Садишься за стол и берешь перо в руку с намерением отметить движение общественной жизни, совершившееся за истекший день.

Оказывается, что жизнь за истекший день, как и за все ранее его истекшие дни года, никуда не подвинулась.

То есть, в ней есть движение, но это только потому, что она разлагается...

Видишь это и думаешь:

Весьма печально, но вполне естественно.

Переходишь к проявлениям обывателями своих чувств и своей морали.

На этом пути — лежит красный камень преткновения, а вокруг него произрастают разные другие колючие тернии.

Дойти сквозь них до публики ясным и точным фельетонисту удается редко, и большинство обывателей хотя и ведет [себя] зазорно и достойно осмеяния, — но,

И даже «но» не только с запятой, а и со знаком восклицания «но!»

Приходится искать «линии наименьшего сопротивления» своему желанию сказать правду, и таковые находишь в лице людей, которым решительно все равно, — обличают их в газете или нет.

Ибо они грамоты не знают, и по сей причине газет не читают, в чем им, в скобках говоря, — нельзя не позавидовать.

25 августа, № 183.

27

Если вы на улице встретите интенсивно чумазого мальчика, с кипой печатной или чистой бумаги в его руках или на его голове, вы можете безошибочно сказать:

— Вот идет мальчик из типографии!

Мальчик из типографии — совсем особенный мальчик.

Во-первых, он желтоватого цвета, — потому что отравлен свинцовой пылью.

Во-вторых, он очень сонного вида, — потому что много работает и мало спит.

В-третьих, у него непременно где-нибудь на физиономии, на руке, на шее есть болячка, — это его задело машиной и рану растравил свинец...

Жизнь мальчика из типографии вдвое тяжелее жизни всякого иного мастерового мальчика, — ибо он имеет дело со свинцом.

А свинец очень тяжелый металл, как известно.

Но я не решусь сказать, что тяжелее — свинец или рука типографщика Грана?

Я видел щеку мальчика, на которую упала рука г. Грана.

Щека этого мальчика из типографии г. Грана свидетельствовала, что у г. типографщика претяжелая длань.

Щека была и синя, и багрова, и разбита в кровь, — и все это только с одного удара, как объяснил мальчик.

Г. Гран положительно хорошо дерется.

Жаль только, что для опытов бокса он избирает щеки своих мальчиков, а не свои собственные щеки.

Я бы рекомендовал г. Грану последнее, — это более безопасно.

А то мальчики, которых он так усердно лупит по щекам, недовольны таким обращением с ними и могут причинить г. Грану некоторое беспокойство, попросив его к судье для того, чтобы последний объяснил ему, что мальчики, которых бьют по щекам, не могут не чувствовать от этого боли.

Лучше бы г. Грану упражняться в боксе на своих собственных щеках.

Поставить против своей фигуры зеркало и колотить себя, глядя на свое отражение.

А в случае, если г. Гран утомился бы от такого занятия, можно рекомендовать ему пригласить дворника.

Давши сему последнему на чай, — можно получить от него весьма поучительный урок бокса.

Но необходимо дать на чай, ибо дворник, как бы он ни был груб, не станет бить человека даром.

Я могу рассказать, при каких обстоятельствах г. Гран расколотил щеку своего мальчика.

Суть дела в щетке и в кухарке.

Прежде всего щетка.

Есть щетка для кухни и щетка для типографии.

Щеткой из кухни строго воспрещается мести пол типографии и наоборот.

Затем есть кухарка.

Здесь во сто тысяч первый раз подтверждается справедливость французской поговорки:

Cherchez la femme.[1]

Кухарка берет щетку типографии и хочет мести ею пол кухни.

Мальчик из типографии видит в этом явное нарушение распоряжений хозяина, возмущается непочтением к ним со стороны кухарки и щетку ей не дает.

— Не приказано! У тебя есть своя щетка!

А кухарка идет к г. Грану и...

Я не знаю уж, что у них там было.

Но только г. Гран выскочил в типографию, наскочил на мальчика и залепил ему полновесную оплеуху.

От этого щека мальчика страшно вспухла.

Вот и вся история.

На Волге разыгрывается борьба не на живот, а на смерть, — воюют пароходчики-волгари с путейцами.

— Никакого в вас пути нету, даром что вы путями заведуете! — говорят волгари и не исполняют путейских предписаний.

А путейцы сердятся:

— Хорошо, чорт с вами! Мы вам не будем перекаты чистить. Нуте-ка перетаскивайте суда-то через пески на себе.

И отходят в сторону, где, ехидно улыбаясь, смотрят, как капитаны пароходов ищут в Волге воду.

Щупает матрос шестом реку и ухмыляется:

— Эко хвастают как эти водяные! Даве там, где было отмечено шесть четвертей, оказалось восемь, а теперь здесь вот отмечено одиннадцать, а воды-то всего пять! Шутники!

Но как в Волге ни мало воды и как пароходам ни трудно ползать через перекаты, — пароходчики не особенно стесняются этим.

— Будь что будет — все равно! — думают они и набивают в трюмы и на палубы столько грузов, что пароход того и гляди лопнет от переполнения.

---

[1] *Перевод*: Ищите женщину. (Во всем причина женщина.)

Целые часы сверх расписания простаивая у пристаней для нагрузки и выгрузки нахватанного товара, — капитаны нимало не обращают внимания на интересы пассажиров.

От этого много выигрывают буфетчики.

Пароход стоит, пассажир скучает.

Развлечений на пароходе нет.

Итти на берег и смотреть, например, город Самару, — на это не всякий решится.

Боязно.

Во-первых, известно, что в Самаре всех мирных людей истязуют горчишники и грызут собаки, во-вторых, пыль, которую пускает в глаза туристам Самара, видна и с парохода, в-третьих, подыматься с набережной в город по нашим въездам и опускаться по съездам — это уж никак не может быть названо развлечением, потому что это — наказание, в-четвертых, и с парохода слышно, чем в Самаре пахнет, в-пятых, до Струковского сада, первого по Волге — и по количеству скандалов, совершающихся в нем, тоже, наверное, первого, — до этого оазиса в Самаре хотя и недалеко от пристаней, но уже с шести часов вечера там начинает отчаянно шуметь оркестр г. Мраза, а для непривычного к такому развлечению человека оно не представляет ничего приятного.

По всем сим и многим прочим причинам пассажир остается на пароходе.

Но ему скучно.

Тогда русский человек вспоминает свое излюбленное развлечение от скуки:

Он ест.

И он пьет...

А пароходные буфетчики — ликуют...

26 августа, № 184

28

Снова горчишники.

Неукоснительно поддерживая свое реноме диких людей, — ныне они принялись за избиение гимназистов.

Вполне понятно почему.

У этих гг. горчишников органическая ненависть ко всему, что так или иначе намекает на культуру, и они положительно не могут равнодушно видеть признаков культурности...

Ибо, несмотря на свою дикость, они все-таки смутно чувствуют, что пройдет век, два века, — и они все-таки будут побеждены культурой и подчинятся ей.

А пока они действуют, неукротимые дикари русского Чикаго.

Завтра, быть может, они, собравшись толпой, торжественно из конца в конец пройдут Дворянскую улицу, перебьют на ней окна и по дороге изувечат всех, кто будет иметь несчастие встретиться с ними.

Это вполне входит в программу их маленьких удовольствий и развлечений.

И сколько бы их ни обличали в газетах, сколько бы ни портилось бумаги на составление полицейских протоколов о их поступках,— все равно, смею вас уверить, это ни к чему не поведет.

Человек хочет развлечься как-либо, ибо жизнь, по секрету говоря, довольно-таки скучна.

Человеку культурному есть чем развлечься, но и то он пополняет программу своих развлечений скандалами и разной скверной довольно-таки частенько.

Не так ли?

Дикому горчишнику нечем развлечься и он только неистово буянит.

А дайте ему здоровое развлечение и он будет буянить меньше.

Устройте для него театр, дешевый, маленький театр и, поверьте, он не будет истязать гимназистов, обкусывать взрослым обывателям пальцы и уши, ломать позвоночники и ребра, бросать в глаза золу и сажу.

Ведь он делает все это только ради развлечения.

И в силу своей дикости.

Соблаговолите же устроить ему здоровое развлечение и этим вы поборете его свирепые инстинкты.

Мне, кстати, рассказывали, что в прошлом году здесь был и функционировал народный театр.

Он имел очень солидный успех и горчишники более чем усердно посещали его.

Нехватало билетов, все места были битком набиты.

Но...

Было дано только два или три спектакля, и несмотря на то, что они имели полный, блестящий успех... дело все-таки развалилось.

Развалилось по тем самым причинам, сила которых всегда разваливает и разрушает наши «симпатичные» предприятия...

Играли любители...

Во главе дела стоял некто один.

Играя, любители, конечно, ссорились друг с другом.

Ссорились из-за всякого пустяка, что всегда бывает у любителей.

Инициатор дела, прежде чем устроить спектакль, должен был справляться с настроением каждого актера.

Сему сапоги ногу жмут, — и он по сему случаю впал в пессимизм и не верит в важное значение дела, которому он обещал посильно помочь.

Сия страдает мигренью и черной меланхолией по той важной причине, что на нее недостаточно много обратил внимания кто-нибудь.

Кто-нибудь заявляет, что, согласившись играть, он полагал, что ему предоставлено будет господином инициатором дела все от костюма до таланта изображать на сцене жизнь чужой души, — и если этого нет, так это свидетельствует о недостатке внимания к нему, артисту.

Еще кто-нибудь просто капризничает, потому что он не в духе, потому что погода скверна.

И так далее и тому подобное и прочее.

Общего серьезного сознания важности дела нет.

Все друг другом недовольны, все друг друга критикуют.

Рак, конечно, пятится назад к спокойному ничегонеделанию, рыба лезет в воду не относящихся до дела рассуждений, лебедь рвется к небесам различных фантазий и не понимает действительности.

Воз с «симпатичным начинанием» стоит неподвижно на одном месте.

Инициатор начинания превращается в скептика и всех ругает во всю мочь и со всем своим уменьем.

Горчишники обижены.

Занялись было ими, показали им, какие интересные на свете бывают развлечения, и, показав дважды — больше не показывают.

Горчишники злятся.

И ломают, сокрушают, истязуют обывателя. А он терпит и плачется.

Право же не жалко, — он мог бы оградиться от горчишника, если б захотел.

1 сентября, № 187.

29

В четверг, на гулянье Общества книгопечатников в Струковском саду было не особенно много «настоящей публики», но зато в нем присутствовало много оригинальных, шумных и веселых, чумазых и оборванных маленьких людей, придававших устроенному симпатичным Обществом вечеру милейший, задушевный характер.

Это были мальчики из типографий, воспитанники печатного станка, незаметные труженики слова, веселые искры которых со временем, может быть, разгорятся в большие огни.

«Настоящая публика» не понимала значения чумазых мальчиков и их права на веселье, и часто субъекты из настоящей публики покрикивали на мальчиков:

— Ты! Вы, пострелята!

Но пострелят это не смущало, и они задорно, как ерши в садке, снуют между настоящей публикой.

Играл оркестр г. Моттл, и мальчики кричали ему браво и хлопали в ладоши, похваливая маленького барабанщика и солиста на корнет-а-пистоне за то, что оба они так «ловко задувают».

Пиротехник Буров угостил мальчиков фейерверком и удостоился их благосклонного одобрения, чего едва ли дождутся от них те, что заставляют их работать над набором фейерверков слов и фраз.

Затем мальчикам показывали те орудия, которые их истязуют, и машины, сокращающие век мальчиков и здоровье их.

Показывали верстатку и наборную кассу, линейки и рамы, и все другое, с чем ежедневно имеют дело чумазые мальчики.

Они стояли густой толпой перед экраном и кричали, видя все это:

— Знаем!

Потом им показали Гуттенберга.

Мальчики встретили его изображение молча, хотя им сказали, что это именно он изобрел печатный станок.

Но пока печатный станок еще только усложнил жизнь мальчиков и не дал им почти ничего хорошего, — они молчали.

Вслед за Гуттенбергом они увидали Фонвизина в мундире и с нахмуренными бровями.

Его тоже встретили молча и только один мальчик заметил:

— Полицейский будто.

Шекспир, гладко причесанный, с красным носом и с румяными щеками, не произвел никакого впечатления на мальчиков, но «настоящая публика» заявила, что знакома с ним.

— Это Камоэнс! — предупредительно сообщил кавалер в пенсне даме в богатой тальме.

— Ах, какой здоровый! — сказала дама.

— Это английский генерал Шекспир, победивший Наполеона!— рассказывал человек типа отставных военных, стоявший сзади меня, своему товарищу — юноше.

— А говорят, это писатель? — зевая, спросил юноша.

— Врут! — отрезал его собеседник.

За Шекспиром вскоре появился бедняга Тредьяковский, и на экране вызвавший смех над собой.

Григорович с лицом дипломата появился и исчез, не возбудив никаких толков в публике, кроме чьего-то замечания —«Скобелев в штатском платье».

— Гоголь!

— Знаем! — раздались два-три звонких голоса, прозвучавшие самодовольно и весело.

И мне стало весело...

А трое из «настоящей публики» расхохотались над Гоголем, находя, что у него смешной нос и допотопный костюм.

Впрочем, какая-то барышня нашла его «очень миленьким».

— Писатель Тургенев!

— Знаем! — врассыпную вскричало несколько детских голосов.

С экрана смотрело на публику и мальчиков умное и доброе старческое лицо с задумчивыми глазами, — смотрела и публика на него.

Смотрела и молчала.

Что она могла бы сказать?

И старый поэт, дрогнув, исчез.

И за всеми этими людьми — на экране появилось изображение человека, которого я не знаю.

Я несколько испугался, увидав этот портрет.

Он напомнил мне издателя одной газеты, именуемой «Волгарь» и представляющей из себя водянистый волдырь на физиономии поволжской прессы.

Оказалось, что это пиротехник Буров, «мастер фейерверков».

Тут я понял, почему мой знакомый издатель похож на пиротехника, — он часто пишет в своей газете передовые статьи.

Мальчики смеялись над г. Буровым, видя его рядом с Нестором, Гуттенбергом, Шекспиром и другими великими мира сего.

Мальчики были довольны вечером.

Общество книгопечатников, устроив свое гулянье, поступило прекрасно уже по одному тому, что сумело развлечь чумазых крошек — слуг печатного станка.

Я выражаю скромную надежду, что это симпатичное Общество и впредь не обойдет своим вниманием и заботой тружеников-детей.

Общество могло бы, например, показать мальчикам посредством туманных картин и объяснительных чтений, что сделало для человечества печатное слово, которому они служат пока механически и, может быть, будут служить — кто знает как?!

И затем от души желаю Обществу всякого преуспеяния, а его членам солидарности, уважения друг к другу, солидарности, ясного понимания преследуемых целей и точного представления о путях к достижению их.

И снова, и еще — солидарности.

2 сентября, № 188.

30

Даже и в Самаре среди ее обывателей есть человек, исключительный по отсутствию в нем какой-либо порядочности.

Это некто г. Маиоров.

Я имел печальное удовольствие недавно познакомиться с ним, а третьего дня получил от него записку, напомнившую мне о существовании этого милейшего монстра.

Мы познакомились так.

Однажды ко мне в комнату вошел человек и сказал:

— Маиоров!

Я спросил его:

— Чем могу служить?

Он сел на стул, снял перчатки, поправил очки на носу и стал изъясняться.

— Я, видите ли, принес вам материал для фельетона. Вы ничего не имеете против фельетона о дачной жизни? Знаете, если начать его так:

«Осень наступает.

«Дачный сезон кончается.

«Дачники разъезжаются.

«Чем же занимались дачники, а в особенности дачницы на даче летом?» И затем перейти к делу, а? Как вы находите такое начало?

Я поблагодарил его за начало и попросил подъезжать скорее к делу и не разъезжать по сторонам.

— Хорошо-с, извольте. Дело очень несложно, но вы, надеюсь, сумеете расписать его занимательно. Есть здесь одна барыня. Красивая. С положением. Был у нее «друг души». А она, изволите видеть, замужем. Ну-с, «друг души» ходил к ней на дачу, мужа она засаживала играть в винт, а сама наслаждалась в объятиях своего...

— Позвольте — это едва ли интересно.

— О, да, конечно, и очень, — быстро возразил он. — Вы послушайте только. Это имеет громадное общественное значение. Она, эта дама... хотите, я вам скажу ее фамилию?

И раньше, чем я сказал ему что-либо, — он сообщил мне ее фамилию.

— И вот она... поверьте мне! Я уважал ее, считал ее святой, чистой женщиной, но она сменила своего старого друга на нового— и представьте!.. на кого? на какого-то солдата, барабанщика! Да...

До сего места я понял только одно — это его, г. Маиорова, променяли на барабанщика, но в этом факте я не мог усмотреть какого-либо общественного значения, о чем и заявил несчастному ловеласу, оставшемуся с носом.

Кстати, он должен бы быть доволен, что сохранил орган обоняния.

Всегда лучше остаться с носом, чем без оного.

Он возражал мне:

— Ах, нет, позвольте! Это порок... Не так ли? Долг прессы обличать пороки. Ведь тут дело доходило почти до револьверов!

Это уж он, наверно, приврал. По всей вероятности, барабанщик просто-напросто поколотил его своими палками, и этим ограничилось все дело.

— Так что же мне и обществу за дело до барабанщика и дамы, которая предпочла его другому?

— Как же? Как что за дело?

И он говорил мне... о необходимости соблюдать чистоту нравов, о долге женщины, имеющей мужа, и о многом прочем, неизвестно откуда попавшем на его язык.

Затем он ушел, оставив меня ошеломленного его речами.

После него остался запах раздавленного клопа...

Это неприличный запах, — но я тут ни при чем.

Я сидел и думал:

Вот обыватель, типичнейший обыватель без всякой моральной закваски.

Соблазнив замужнюю женщину, он пользуется ее благосклонностью, развращает ее и не видит в этом ничего худого.

Наверное, даже несколько афиширует свои отношения к ней.

Но когда она, развращенная им, отдается другому, он видит в этом вполне естественном факте порок и преступление.

И он пускает о ней по городу позорную сплетню, мстя ей за то, что она променяла его на барабанщика, трубочиста или иного человека, может быть, и грубее, но уже наверное порядочнее г. Маиорова.

Мало этого доблестному господину.

Он идет жаловаться на свою неудачу и обиду к «газетчику» и униженно просит его печатно «отделать изменницу».

— Как можно ядовитее, пожалуйста!

Здесь ясно видно и его отношение к печатному слову, к прессе...

Печатное слово для него только тогда важно и имеет значение,

когда так или иначе может способствовать его пошлым вкусам и интересам.

Дикий, жалкий, безмозглый и туподушный человек этот г. Маиоров и все похожие на него.

Затем я забыл о милом любителе морали и газетных обличений.

Но вот он шлет мне письмо.

«Милостивый Государь N. N.

«Не откажите сообщить с подательницей сей записки, — воспользовались ли вы тем материалом, который я вам передал в субботу? Если да, то какая форма изложения? Мне это нужно знать, чтоб не потерять время. Извините за беспокойство. Маиоров».

Следует приписка:

«Помните о дачной жизни одной (стыдно назвать) барыни».

Все...

И вот я воспользовался материалом г. Маиорова, чем, полагаю, предупредил намерения и других гг. Маиоровых обличить шашни своих любовниц путем печати.

Меня несколько смущает одно, — не выдумал ли этот господин себе фамилию?

Это очень огорчило бы меня, ибо тогда его не узнают знакомые и не посмеются над ним.

Он заслужил много больше, чем насмешку за свое отношение sans-gêne[1] к женщине и прессе.

Не правда ли, г. Маиоров представляет собою довольно-таки интересный образец человека, незнакомого с порядочностью и обладающего качествами, назвать которые вслух считается неприличным?

3 сентября, № 189.

31

Как типичнейший пример искреннего вопля русского интеллигентного человека, терзаемого условиями окружающей его жизненной обстановочки, я храню у себя письмо одного приятеля, некогда заподозренного «в сочинительстве» и подвергшегося за это свирепому гонению со стороны своих сограждан, быт и типы которых он, несчастный, имел смелость описать.

В этом письме много интересного, но я остановлюсь на передаче приемов гонения, воздвигнутого на смельчака, решившегося писать корреспонденции из уездного города и тем поколебавшего смутную тину его жизни.

Это были приемы столь же бесшабашные, как и остроумные.

Обыватель начал свою месть корреспонденту с того, что поймал корреспондентского петуха и выщипал ему хвост.

Засим отрубил хвост кошке корреспондента...

Начав месть с хвостов, он так и продолжал «лупить» корреспондента «в хвост и в гриву».

---

[1] *Перевод:* Без стеснения.

Кухарка моего приятеля, возвращаясь вечером из лавки, подверглась нападению обывателей.

Они ей наколотили шею, для чего-то измазали физиономию сажей и засим рекомендовали ей, не требуя от них ничего больше — итти домой и сообщить барину, что и ему то же будет.

Потом перешли к свояченице корреспондента.

Однажды, когда она была на каком-то вечере, ей, незаметно для нее, конечно, выстригли ножницами кусок юбки сзади.

Другой раз ее же на улице обрызгали чем-то скверно пахучим.

Покончив со свояченицей, нашли необходимым привлечь к делу сына корреспондента — мальчика лет девяти.

Дети обывателей стали дразнить его крайне зазорным прозвищем. Они высовывали ему язык и кричали:

— Писатель, писака, писачка, собачка!

Мальчик приходил домой и горько плакался на отца за то, что он избрал себе такую зазорную деятельность, которая не позволяет его сыну иметь товарищей и чувствовать себя с ними на равной ноге...

А когда мальчик сердился, — это увеличивало насмешки над ним, а если он уже злился, — ему разбивали нос.

Одним словом, травля была строго обдумана и верно рассчитана.

Мой приятель был сражен.

Он отряс прах с ног своих и уехал из этого города.

И с той поры больше не пишет корреспонденции...

Темный, маленький, уездный городок, невежественный, полудикий обыватель, сплошь покрытый твердой корой традиции «доброго старого времени» — находит себе оправдание за свои гонения на корреспондентов именно в том, что он, обыватель, дик.

Но вот перед нами нечто «из другой оперы».

Действуют в диком обывательском духе люди, надо полагать, просвещенные.

Я говорю о «начальстве» земской школы сельских учительниц.

Оно давно уже производит некоторые подходы под газетного «писателя» за то, что он печатно указал некоторый непорядок в административной деятельности начальства школы.

И эти подходы как раз направлены на ни в чем неповинных учениц школы.

Дело, видите ли, в том, что некогда, довольно давно уже, «Самарская Газета» посвятила «несколько теплых слов» по адресу школы. Говорилось этими словами о грязи в школе, о том, что брусья, на которых режут мясо для обедов учениц, — не моются, а их вылизывают две собаки... и т. д.

Статья была подписана, и буде она была бы с подлинным не верна, — администрация школы, конечно, возразила бы на нее путем печати же, письмом в редакцию, или опровержением на основании надлежащей статьи закона.

Но она, администрация, ничего подобного не сделала и начала тайный розыск:

— А кто дал сведения для статьи?

И вот она нанюхала нечто.

По розыску оказалось, что некий газетный человек живет в одном доме с одной из учениц школы...

Ясно — вот эта самая ученица во всем и виновата.

И ученицу начинают «жевать».

Ее «доезжают» всеми возможными путями и, конечно, делают это под прикрытием тех или других якобы оснований.

Совершая сие, — в душе злыдарствуют над газетчиком:

— Ага! Ты — так, а мы — этак! Ну-ка, каково?

Но увы, оказывается виновата-то совсем не эта ученица, а другая, родственник которой, как администрация школы проследила вполне досконально, часто ходит в ту именно часть города, где помещается редакция ехидной газеты.

Тогда первую ученицу оставляют в покое и жуют другую.

Жуют и злопыхательствуют на газетчика:

— Что, брат? Ты — вот как, а мы — инако...

И девицу, имеющую родственника, который часто ходит в сторону Алексеевской площади, доезжают не менее основательно, как и первую девицу, имевшую неосторожность жить в одной улице с газетчиком...

Ах, милые люди!

Несмотря на то, что вы стоите столь близко к делу просвещения, скажите, ну, чем же вы лучше тех диких обывателей, которые выщипали хвост живого петуха из мести к его хозяину — корреспонденту?

Вы на кого обращаете месть за обличение? На людей, которых в будущем ждет тяжелый и важный труд просвещения народа.

Как назвать это?

Помиримся...

Оставьте невинных в покое, — помиримся.

Я заведу себе петуха и кошку — вы выщипаете хвост у первого и отрубите у второй.

А пока — прекратите гонения на учениц.

Это нехорошо... мягко выражаясь.

5 сентября, № 190.

32

Хотя типическое свойство процентов и выражается главным образом в их стремлении расти и множиться, но иногда и они, несмотря на все свое бездушие, выходят из колеи своего непременного назначения, прекращают свой рост и исчезают. Где?

Неизвестно...

Но наверное, в дебрях человеческой сообразительности.

Я, например, знаком с тремя процентами, кои ныне где-то заплутались, оставив меня в полном недоумении относительно места их нахождения и их дальнейших намерений.

Явились эти три процента давно, еще в 1890 г., и явились они путем отчисления со счета общества оренбургской железной дороги в пользу вспомогательного фонда служащих дороги.

К этим трем процентам причислялись еще деньги штрафные, вырученные от продажи забытых в вагонах и на вокзалах вещей и кое-какие другие деньжата, в общем составлявшие сумму весьма солидную.

А основанием фонда служили 6%, отчислявшиеся с жалованья служащим.

Хорошо-с...

Дорога перешла в казну и казна вспомогательного фонда тоже очутилась в казне.

Те из служащих, которые уходили с дороги, получали взятые с них 6% обратно.

А трех и К° не получали...

Тем из служащих, которые оставались на дороге, 6% перечислялось в пенсионную кассу.

А трех процентов и К° не перечисляли...

И вот, однажды, служащие вспомнили о сих трех процентах, аккуратно поступавших в фонд в течение целых трех лет.

Вспомнили и задумались...

— Где бы это им быть? Из них ведь хо-о-рошая сумма образовалась...

И решили спросить надлежащее место о местопребывании принадлежащих им, служащим, трех процентов с компанией.

Место помолчало и ответило циркуляром № 7111:

«Суммы, числящиеся по общему вспомогательному фонду, не распределены еще по счетам участников, за неполучением указаний от управления казанской ж. д. о порядке распределения их...»

Служащие обрадовались.

Нашлись три процента и компания!

Подумали и снова еще пуще обрадовались.

— Ведь коли в течение почти трех лет сумму, образовавшуюся из этих процентов, мудрые железнодорожные счетчики не могут распределить, — какая же это должна быть солидная сумма!

Да, и я, радуясь находке, думаю, что велика же она, надо полагать, коли три года неподвижно лежит и никак ее распределить не могут.

Куча денег!

Но как же те служащие, которые уже ушли с дороги, как же они получат теперь причитающиеся на их долю суммочки?

И как получат их те оставшиеся служащие, участники фонда, которые уйдут со службы дороги, не дождавшись распределения?

И куда будут употреблены три процента, когда все участники фонда отправятся в горние селения?

Некто, пожелавший остаться неизвестным, прислал мне по городской почте нижеследующую штуку:

«Милостивый государь, ваше благородие, господин Игуидинл Хломида!

Что вы писали про горчишников, что для них нужно устроить театр — это верно. Я сам горчишник молодой ищо. Но вы писали правильно. Нужно что бы для человека было развлечение в жизни.

Потому что, работая, например, целый день, я тоже человек как и всякий барин, и хочу как и всякий барин хорошенького понемножку. А вот, например, в 188-м номере помещена статья «Из нравов горчишников», то она не правда. Сотрудник, коль-скоро он пишет, должен писать одну правду, а то выходит скандал лишний.

Я ближайший сосед садика и всегда, почти каждодневно, прохожу по нему и бываю в нем. В нем ходят полицейские и ничего больше худого и нехорошего нет, никаких драк не бывает. А полицейский Ермаков видно был не в здравом смысле и оттого наговорил разное этой бабе.

И вышло по пословице: «баба сказала повару, а повар всему городу». А про театр это верно.

И покорнейшей прошу напечатать это.

3-го сентября 1895. Фамилии моей не печатайте, для того я ее вам не написал».

Безграмотно, но, мне кажется, довольно знаменательно.

Горчишник находит, что театр ему действительно нужен.

Горчишник пробует писать опровержение. Караул! Выступает на защиту своего класса от нарекания несправедливого.

Очевидно, в горчишнике развиты корпоративные чувства.

Он хочет правды и высказывается против лишнего скандала.

Что сей сон значит?

7 сентября, № 192.

33

Итак, летний сезон кончен и освистан.

Развлечения лета исчерпаны, если не считать маркиза Вольгу и карлицу, иже с ним.

Наверное, карлики будут иметь в Самаре колоссальный успех.

Всякому любопытно посмотреть на двух людей, еще более маленьких и мизерных, чем он сам.

Всякому приятно видеть нечто такое, что еще уродливее, чем он сам и что позволяет ему сделать лестное сравнение в свою пользу.

Самарские люди будут смотреть лиллипутов и услаждать себя сообразными случаю размышлениями.

— Мы еще что! Конечно, мы люди не крупные, а все-таки бывают живые люди и еще мельче, чем мы...

И, подняв себя в своих глазах таким соображением, маленькие люди снова и с новым жаром примутся за мелкие дела.

10 сентября, № 194.

34

Происшествие с «Пушкиным».

Мне так рисуется это традиционное происшествие...

Пароход отвалил от Мариинского посада и храбро лупит сквозь тьму осенней ночи «вниз по матушке по Волге», причем пароходное начальство в лице капитана и лоцмана совсем не хочет знать, что «широкое раздолье» реки отошло в область преданий.

Ночь темна, у штурвала скучно и вахта ведет между собой разговорец.

— А здорово мы нагрузились! — восхищается лоцман.

— Н-да! — усмехаясь говорит капитан. — Можно сказать «хватили горячего до слез». Мне в Самаре агент говорит: — Что ты, говорит, чудак, как набился грузом-то? Лопнешь! Ничего, мол, довезем... Да ведь, говорит, будут места, где тебе, по твоей осадке, всего один вершок воды-то останется... Ну что ж? Авось пройду! Н-да... ведь ежели мне в норму-то грузиться, так какой же я капитан буду? Сколько мне премий перепадет?

— Это верно! — соглашается лоцман. — По закону жить совершенно невозможно... А кажись тут где-то «огрудки»?

— Да надо бы им тут быть... Огней чего-то не видать, однако...

— Може убавить ходу?

— Ну! чего еще! И так опоздали.

— С таким грузом не опоздать — нельзя...

— Верно. Наглотались мы, действительно... рама-то у машины ходуном ходит. А здоровый пароход: который рейс идем, а он все еще кряхтит.

— Пароходина добрый! — говорит лоцман. — Вот тут где-то и есть этот самый «огрудок». Дуй его горой! Раньше, бывало, на него не напрешься, — коса песчаная была — не пускала к камням-то. А огней-то нет?

— Не видать... Водяные черти не зажгли может... А в самом деле, где-то тут они, камни-то.

— Убавить бы ходу...

— Чай пробежим и так.

Сотрясаясь, пароход мчится вперед, переполненный грузом.

Капитан беспечно посвистывает и смотрит во тьму.

— Промерить бы...

Трах!

Пароход весь вздрагивает от носа до кормы и грузно останавливается.

— Вот они где еще, «огрудки-то»! — философски замечает лоцман и идет к борту.

— Ах ты дьявол! Груз-то подмочим, пожалуй! — и капитан стремглав летит с мостика на палубу.

Ко всему приученные пассажиры не особенно волнуются.

Да это было бы бесполезно, ибо на них никто не обращает внимания.

Матросы лезут в трюм, залитый водой, «начальство» мечется по палубе и покрикивает:

— Господа! Не мешайте! Разойдитесь по своим местам! Ничего опасного...

В силу этого невнимания к пассажиру бесследное исчезновение одного из них, мальчика Недуева, было замечено только около Самары.

Это не важно, конечно...

На пассажирских пароходах первую роль играет груз, а не пас-

сажиры, и человек, с точки зрения капитана, всегда стóит гораздо дешевле, чем место мануфактуры, например...

13 сентября, № 196.

35

...Между многими вредными привычками человека не последнее место занимает его желание знать будущее.

Это проживание в настоящем за счет будущего крайне неэкономично и очень легко может убить всякий интерес к будущему.

Но в то же время вполне естественно желание человека заглянуть вперед, — ибо назади у него так мало, а в настоящем и еще того меньше...

И вот, по сим причинам, ваш покорный слуга, видя, как Самарой прожито лето,— захотел осведомиться, как Самара предполагает прожить зиму...

С сей целью я устроил несколько интервью с обывателями.

Вы увидите, много ли я вынес из них утешительного.

Обыватель № 1-й.

Я застал его за занятием, которое не могло не показаться мне странным.

Он стоял перед зеркалом и сам себе улыбался...

— Ах, это вы! Здравствуйте! А я, вот, знаете, готовлюсь, так сказать, к зимнему сезону... Учусь пленительно улыбаться.

— Это вам на какой же предмет? — спросил я.

— А для дам, знаете, для дам. Хочу, знаете, ухаживать за дамами... Хе, хе, хе! И изучаю улыбки. Разочарованная выходит ничего себе, смущенной — тоже доволен, изумленная — прекрасно... а вот, светлая, ну хоть ты лопни, — не вытанцовывается, какая-то пьяная.

Я посочувствовал ему, мы оба перекинулись парой слов о будущей участи самарских дам, и я ушел от него несколько смущенный моим успехом в первом интервью.

№ 2-й я застал лежащим на диване.

Он лежал и откровенно пел на мотив из «Демона» о самом себе.

— «Я тот, в котором толку мало...»

Он был гласный думы и член ее 666-ти комиссий.

После некоторых дипломатических подходов я спросил его, — как и чем он намерен заняться в зимнем сезоне?

— Я? Я в этот год преинтересно устроюсь, кажется. Слыхали может быть, у нас тут есть комиссийка по надзору за проституцией? Ну так вот, я думаю прикомандировать себя в блюстители за нравственностью. Ха, ха, ха! Пикантная деятельность, чорт возьми! Заранее предвкушаю массу интересных «встреч и приключений». Сим живу во дни суровой осени. Скорее бы... Есть, знаете, хо-орошенькие канашки...

Я оставил его в восторге от предвкушения будущего.

№ 3-й был хмур и что-то мрачно насвистывал, когда я к нему явился.

На мой вопрос он кратко и определенно заявил:

— Буду всю зиму ругать г-жу Молгачеву и приспешников ее.

— Но если, паче чаяния, окажется, что ее труппа сносно умеет играть? — возразил я.

— А мне все равно! — отрезал он. — Мне надо проявить себя... А вы знаете, что театр является здесь самой первой и важной общественной темой. Иных нет и я в этом не виноват. Создайте другой интерес и я стану бороться за него. Мне ведь все равно. Я, главное, шум люблю.

Мне оставалось удивиться обывательской готовности к бою...

Я и удивился...

№ 4-й и несколько последующих кратко заявили мне:

— Будем винтить!

Иного я и не ожидал от людей, чья жизнь давно уже превратилась в бесконечный архимедов винт, годами вращаясь от одного зеленого стола по направлению к другому, от людей, у которых роль самого высшего жизненного интереса играет большой шлем, которые развинтили себе все нервы и мозги, изощряясь над головоломными соображениями о лучших способах объегоривания своего ближнего...

И как еще хорошо, что игра в винт по своей трудности не может быть особенно корыстной и удовлетворяет только почти одной платонической потребности человека оболванить своего ближнего.

Ах, я много интервьюировал, но я мало вынес утешительного и жалею, что заглянул в будущее.

Теперь оно представляется мне таким же полным всяческого обалдения и мракобесия, как полно ими и наше настоящее.

Я знаю, что наступающий сезон будет так же пуст и холоден, как прошедший и что в нем нет места ничему порядочному и действительно интересному...

Никто ничего не хочет!

Ибо все желания, выраженные мне обывателями, не суть желания человеков достойные. Единственно, что их делает похожими на человеческие, — это то, что они высказываются при помощи звуков членораздельных...

Еще же — ничего!

14 сентября, № 197.

36

...Центром общего внимания ярмарочной публики служат балаганы, вполне удовлетворяющие вкусы, о необходимости развития которых так много говорят...

Пред одним из балаганов ошалелый от водки, которой он «греется», и охрипший от зазывания зрителей к себе в «миниатюрный цирк» — субъект в красном трико засовывает себе в разинутую пасть голову удава, обвивающего ему шею, и благим матом орет:

— Видите?! Смотрите!

Змея, окоченевшая от холода, еле движется на его плечах.

— Это что! — скептически говорит парень, с ног до головы выпачканный в муке. — Нет, кабы к твоей-то шее наш Иван Митрич присосался, — ты бы узнал, каков он есть, настоящий-то удав...

— Н-да! — вторит ему товарищ. — Тот поживее ворочается... Тот не токмо что свою голову в чужой рот совать, — он сам живьем людей глотает...

И, довольные своей аналогией, зрители отходят.

У другого балагана толпа смотрит, как на подмостках кривляется и ревет какой-то рыжий детина в костюме клоуна.

— И вон чем в городу-то можно кормиться... — со вздохом замечает обтерханный, седой и морщинистый мужичок в рваном азяме.

Вокруг него смеются «городские», а он с робким любопытством переводит слезящиеся глаза с одного лица на другое и отходит в сторону.

Визжат свирепые, расстроенные шарманки и органы, визжат, ревут и болезненно кряхтят еще какие-то якобы музыкальные инструменты; кричат, зазывая публику, балаганщики.

В воздухе стон стоит от музыки и шума толпы. Но публика еще не освоилась с ярмаркой, держит себя скромно, пьяных незаметно и около, на живую нитку сшитых, лавочек с разными товарами — пусто.

Зато полно в тех балаганах, где, потворствуя корыстолюбию и алчности человека, для него расставлены ловкими людьми разные незатейливые ловушки.

Устроены какие-то самодельные рулетки, быстро пожирающие трудовые гроши наивных людей.

Устроены полочки с развешанными на них разными копеечными вещами.

Около каждой вещи вбит гвоздь и тот, кто, издали бросив железное кольцо, повесит его на гвоздь, — получает кольцо.

Важное кольцо: стоит две копейки!

При мне брошено было их до трех сот штук и ни одно не попало в цель.

Хозяин этого «предприятия» получил, на худой конец, пять рублей за какой-то час времени, проведенный им в подбирании с земли брошенных публикой колец.

Недурный заработок...

Четверг был вообще обилен развлечениями. На набережной открывалась ярмарка, на Дворянской улице, снова по добровольному соглашению, взаимно истязались велосипедисты и, наконец, в Струковском саду — пускали шары и ракеты.

Оказалось, что я поторопился прекратить увеселения в «Струковке» и преждевременно закрыл его...

Ну, я не думаю, что это большая вина с моей стороны.

В четверг публика еще раз смотрела бумажные пузыри, фейерверк пиротехника, без всякого стеснения причисляющего себя к

знаменитым книгопечатникам, слушала музыку и еще раз была пронзительно освистана...

На здоровье!

16 сентября, № 198.

37

Вот истинный рассказ о том, как я искал в Самаре переносную печь.

Так как переносные печи системы «Гелиос» и других систем есть далеко не последнее слово техники, я и предположил, что в Самаре знают, — что такое переносная печь.

Вооруженный этим предположением и движимый необходимостью иметь нужную мне вещь, я отправился путешествовать по самарским магазинам.

— Что, есть у вас переносные печи? — спросил я в первом из них.

— Вам какую — железную или кирпичную?

— Дайте кирпичную...

Приказчик задумался и, подумав, сказал:

— Я не видал переносных печей из кирпича. Не думаю, что такая печь возможна.

— Я тоже не думаю этого, — скромно сказал я.

— Вообще у нас нет печей. Мы, знаете, не торгуем печами. А вот, ежели бы вы пожелали иметь ремни Реддавея, пожарные рукава, арматуру к котлам, изделия из стали и прочее в этом духе, — мы к вашим услугам!

— Благодарю вас!

— Знаете что, вы купите лучше домашний огнегаситель. Это гораздо дешевле и безопаснее, чем печь.

Я поблагодарил еще раз и ушел.

В другом магазине мне сказали, что печь есть.

Есть хорошая печь, которую можно на своих плечах носить всюду, — куда захочется.

— Покажите, — сказал я.

— Сию минуту. Прошу пожаловать за мной. Это в сарайчике, недалеко.

Это действительно оказалось недалеко: чрез полчаса мы пришли в сарайчик.

В углу этого сарайчика лежала на земле некая ржавая, разломанная машина и приказчик, показывая мне на нее пальцем, сказал:

— Вот печь!

Пристально посмотрев на эту штуку, я спросил его:

— Почему же вы уверены, что это печь, а не изломанная швейная машина, или не ящик из-под монпансье?

— А мы купили эту вещь именно как печь. Впрочем, вот что... вам, может быть, нужны бандажи? У нас есть прекрасные усовершенствованные бандажи.

Но мне, слава богу, пока не нужно бандажей.

И я ушел, несколько удивленный приемами торговли в Самаре.

В третьем магазине, когда я спросил про печь, — хозяин магазина сделал круглые глаза и изумленно оглядел меня с ног до головы и обратно.

— Зачем вам такую печь? Купите револьвер — это проще! — сказал он.

Я объяснил, что мне в данное время, по недостатку свободного времени, невозможно покончить с собой и поэтому я совсем не нуждаюсь в револьвере.

— Однако вы покупаете печь! Это все равно убьет вас. За границей никто не потребляет в комнатах переносных печей. Все люди, покупающие такие печи, необходимо умирают от угара, бросая на попечение общества свои несчастные семейства. Жалея вас, — вы еще так молоды! — я рекомендую вам бросить эту мысль, опасную мысль о печке, посетившую вашу юную голову под навождением дьявола, в чем я уверен. Вы вот что, купите лучше музыкальный ящик. Смотрите, какой роскошный ящик!

Он завел ящик, и я стал слушать, как ящик вызванивает превеселую ариэту.

Я слушал и думал:

— Хорошо! вот я еще раз убеждаюсь, что музыка прекраснейшая вещь и очень возвышает душу, но она не может согреть тела и тем более осушить комнату. Я не куплю этого ящика!

И я ушел в четвертый магазин, где мне предложили купить вместо переносной печи старое железное кресло-качалку.

А в пятом сказали, что гораздо рациональнее печи — трехлемешный плуг.

Потом мне предложили купить партию мыла — браку, бочку смолы, коробку случайно попавших на комиссию магазина перчаток.

И, наконец, — ладана!

После этого предложения мои надежды купить в Самаре переносную печь рухнули в пропасть некоего мрачного предчувствия.

Мне стало казаться, что от меня самого начинает пахнуть ладаном и что я «дышу на ладан».

Испуганный, я поспешил домой лег на койку, долго и мрачно думал.

17 сентября, № 199.

38

Я чувствую себя в очень щекотливом и весьма неудобном положении.

Скажу более — в ужасном положении.

Я должен писать о театре.

Я должен писать о театре и я чувствую, что мне гораздо легче написать мои личные воспоминания об Ироде, царе Иудеи, чем самому избивать младенцев.

Я человек добродушный, кроткий и мягкий, как воск.

И это я должен сказать о г. Стенине; например, что он, играя роль сокола, проворонил истинный смысл этой роли и был подвижен весьма немного более, чем любая из декораций.

С моим характером решиться на такой суровый отзыв так же трудно, как трудно г. Зубову быть комиком.

И вот я, так же как г. Зубов, возвожу очи горе.

Но г. Зубов возводил их в раек, и раек оценил г. Зубова, — я же возвожу их в пространство, — кто оценит меня?

Ах, я переживаю большое внутреннее борение.

Я добр — и должен быть беспристрастным.

Вы думаете это легко?

Итак, будем же беспристрастно говорить о театре.

В воскресенье в театре был я, несколько моих знакомых и toute Samara.[1]

Toute Samara смотрела почтенную старую мелодраму, с эффектным боем оконных стекол в четвертом акте этого тяжеловесного произведения.

Заклеванная воронами добродетель, в лице г. Сарматова, кричит караул и бьет кулаком стекла, за что порок приказывает отправить ее в полицию.

Г. Сарматов артистически ловко бьет стекла и весьма быстро и умело падает.

Уметь хорошо упасть, это, по-моему, не особенно большая заслуга; со дня своего рождения добродетель только тем и занимается, что при всяком удобном случае падает и падает.

Бог ее знает, почему она так нетвердо стоит на ногах.

Toute Samara видела своего старого знакомого г. Грубина.

Это хороший товарищ.

Не желая подкузьмить соколов труппы, он всячески старался не выделяться из общего скромного ансамбля и играл так же скромно, как и все...

Потом toute Samara познакомилась с г-жой Нининой-Петипа.

Это... полная артистка.

В первых трех актах она не возбудила особенного интереса к себе... но в четвертом... но в пятом!

В пятом акте у меня душа ушла в пятки — так эффектна была в пятом акте г-жа Нинина-Петипа.

Она открыла перед публикой очень крупные таланты и публика оценила их.

Все видели, в чем заключалось и на чем покоилось счастье г. Грубина — Застражаева.

Смысл пьесы стал ясен, как и бессмыслие водевиля, шедшего в заключение.

---

[1] *Перевод*: Вся Самара (в смысле: все наиболее примечательные лица города).

У г-жи Нининой-Петипа очень крупные серьги... в ушах и, ах! какие есть костюмы!

Но истратив на них около ста тысяч, г. Грубин был нагло обманут.

Его обманули модистки... эти враги всех мужей.

Они шили костюмы из хорошего материала, но с дурным вкусом.

Г. Грубину — Застражаеву следует порекомендовать своей супруге переменить портниху...

Потом г-жа Свободина, г-жа Лодина, г-жа Прокофьева.

Г-жи Свободина и Лодина, кажется, еще молоденькие госпожи, а вот г-жа Прокофьева уже не первой молодости госпожа.

Конечно, первое впечатление часто бывает ошибочно.

Но когда г-жи Лодина и Свободина постареют, они, несомненно, станут опытнее и будут увереннее ходить по земле.

Г-жа Стрешнева поет. Г-н Гофман тоже поет.

— Ведь это они поют? — спрашивала публика сначала.

Потом она убедилась, что да, это они поют.

Почему же людям и не попеть, коли они не умеют красиво и естественно говорить?

Засим я возлагаю надежду на будущее.

Это всегда так делается, если настоящее неудовлетворительно.

Вот погодите-ка, разыграется эта труппа и так будет играть, что театр ежедневно будет полон и касса его лопнет... от обилия сборов.

Все достигается практикой.

Напрактикуются гг. наши новые знакомые артисты и к концу сезона примерно будут доставлять нам своей игрой всамделишное удовольствие.

А до той поры потерпите.

19 сентября, № 200.

39

Учебный сезон начался, а около трехсот мальчиков остались с желанием учиться; но, по недостатку места в городских школах, должны получить домашнее воспитание.

Поздравляю Самару — она в скором времени будет иметь еще целую роту горчишников. Совершенно свежих, еще не бывших в «делах» полиции и не совершавших разных диких «актов», — роту молодых пареньков, обалделых от скуки и пустоты жизни и развлекающихся творением диких выходок против мирных обывателей.

Обыватели будут жаловаться и негодовать, новоиспеченные буяны и озорники не будут обращать на обывательские вопли никакого внимания, а мудрые люди, основываясь на подвигах горчишников, — будут трактовать о порче нравов и о том, что в доброе старое время буянов и озорников «драли» и «лупили», — от чего и нравы были строже и жилось проще и так далее, и прочее, и тому подобное.

Полиции, которой у нас мало, будет еще больше дела.

Придет время и в городской думе появятся доклады и проекты лучших и удобнейших средств искоренения горчишников.

Сей гласный предложит переловить их и сослать на пожизненное проживание куда-нибудь в дикие страны.

Оный порекомендует отдать их поголовно в солдаты.

А там, глядишь, начитавшись «Света», «Сына Отечества» и других специально и специфически патриотических печатных бумажек, — предложит образовать из горчишников вольный кадр и послать их на завоевание Китая.

О мальчиках, не нашедших себе мест в городских школах, я имел суждение с одним из папаш города.

— Как же теперь мальчики эти? Куда их? — спросил я.

А он глубокомысленно высморкался и бессмысленно изрек:

— Куда? Это вопрос, стоящий вне компетенции городского самоуправления. У каждого порядочного мальчика, предполагается, есть папаша и мамаша. Сии субъекты и должны ответить на ваш вопрос. Н-да... Они мальчиков народили? Мы их об этом не просили? Так? Ну и... извольте управляться своими средствами.

— Но, однако, предполагается, что орган самоуправления обязан, до некоторой степени, способствовать развитию грамотности среди...

— Это, положим, есть, но в этом нет солидных оснований. Наука еще пока не установила точно и незыблемо необходимость и пользу грамоты. Есть даже мудрые мужи, относящиеся к грамоте явно отрицательно. Например, князь Мещерский... со слов сотрудников его «Гражданина» и «Руси». Прислушайтесь-ка к ним!.. Можно притти к убеждению, что, именно, грамота и есть главнейшая причина всевозможных непорядков жизни.

— Помилуйте! — говорю я, сконфуженный.

— Нет, это вы нас помилуйте! Вы не соразмеряете ваших требований с наличностью средств удовлетворения. Ведь городская-то касса пуста? Долгу у города по маковку? А мостовые вам дай? Даем, извольте. Посмотрите-ка: какую мы грязищу на Дворянской улице устроили? Думаете это дешево стоит? Да вы сообразите — ведь мы люди... и мало этого, — люди без денег! А вы пристаете — собак вам перебей, ребят грамоте научи, съезды к Волге устрой, там подмети, здесь почисти, и что же? расколоться нам на тысячу кусков прикажете? А квартирного налога не желаете?.. Нет, вы вот позвольте-ка нам налоги сочинить — налог на квартиры, на право женитьбы, на право деторождения, на право прогулок за город, на право езды по мостовым на колесах и полозьях... и еще там разные налоги... Вот дайте нам их устроить... а мы вам сейчас же за это настроим школ и прочее, что вам там нужно. А это не порядок: того подай, это устрой, а на какие средства, смею вас спросить? Да у города одних непредвиденных расходов тьма тьмущая! Того напой, этого угости, там гора идет в реку, здесь земля сквозь землю проваливается; инде, — река в Симбирскую губернию уезжает... Школы! Грамота! Да будьте же справедливы, дяденька!

Быть справедливым?

Иногда и это человеку удается.

А двести восемьдесять мальчиков, тем не менее, лишены возможности учиться.

И дальнейшая судьба их не может не беспокоить того, кто смотрит на них, как на будущих людей и может быть ценных граждан.

Быть может среди их есть таланты.

И уж наверное... Иван Китаев, десятилетний человек, прибывший в Самару из Баку по этапу в арестантской одежде и в компании взрослых воров и разных «потерянных людей»,—мальчик Китаев, бежавший из полиции 11-го сентября, — при других условиях тратил бы свою сметливость и бойкость на нечто другое, чем побеги из полиции и бродяжничество...

Подумайте, мальчик десяти лет — уже бродяга, путешествует по этапам и обучается арестантской премудрости...

Что же из него будет?

Трудно надеяться на хорошее...

Двести восемьдесят мальчиков, не принятых в самарские школы,— уже наверное выделят из себя не одного Китаева.

Домашнее воспитание будет сему сильно способствовать.

Да и чем оно, это домашнее воспитание, лучше того, которое приобретается в этапных тюрьмах у преступников и бродяг?

Много в нем поучительного — это так, но как мало в этом поучительном умного, чистого, честного?

Слишком много гибнет мальчиков, ибо слишком мало уделяют им внимания.

20 сентября, № 201.

40

За последнее время мне часто приходится бывать в третьей части...

Догадливый читатель улыбается и восклицает про себя:

— Есть о чем говорить! Я во всех самарских частях бывал... даже ночевать приходилось не по одному разу, однако, — молчу...

Но я совсем по другим причинам бываю в третьей части.

Я не нарушаю общественной тишины, — хотя искренно желаю сотрясти и возмутить ее спокойствие, я человек трезвого поведения и бываю не в полицейской части, а в местности, носящей название «третья часть» и имеющей право на эпитет «самая последняя часть».

Ибо участь этой части — глубоко несчастна и я полон участия к третьей части...

На меня наводят уныние ее улицы, здания, жители и их быт.

Улицы широки и прямы, но не мощены, грязны, изрыты колесами, дождями и свиньями, загрязнены обывателями, выносящими на них все негодное к употреблению...

Дома — серые, сутулые, подслеповатые, сырые, пропитанные многой скорбью их жителей, изнывающих в заботах о куске хлеба и о продлении своей жизни, всецело состоящей из труда, несомого ими в поисках за трудом.

Жители — тоже серые, тоже сутулые, обтерханные, всегда чем-то ущемленные, подавленные, ходят они всегда торопливо, смотрят они на все с подозрительным вожделением, и кажется, что ко всему, что попадает в поле их зрения, они адресуются с одним вопросом:

— Какую бы можно извлечь из тебя пользу, ежели бы мне позволили?

И кажется мне, что каждый Иван из третьей части только о том и мечтает, как бы ему объегорить Петра, и все Васильи желают подкузьмить Иванов...

И все прочие люди в третьей части тоже только в этом направлении мечтают...

Днем третья часть извергает из недр своих, прокислых от слез и пропахших от пота, хором, — на иззубренные ямами, полными грязи, улицы, все то, что обыкновенно называется детворой...

Это совсем не та детвора, которую называют на культурных улицах города — Дворянских, Казанских и иных.

Детвора третьей части и более чумаза, и живописнее одета, и сильнее худосочна и золотушна, во всех отношениях менее похожа на детвору культурных частей города.

Это все народ солидный, озабоченный, как будто бы плохо накормленный и немного злой, хотя все-таки веселый... и любящий позабавиться.

Например, я видел, как она, детвора третьей части, развлекалась.

Маленькие, чумазые и оборванные особы, любящие позабавиться, мужского и женского пола в количестве дюжины ловили свинью.

Свиньи в третьей части гораздо лучше людей — полнее, здоровее, беззаботней...

Для свиньи, видите ли, там есть вполне подходящие условия существования, — много грязи и всякой дряни на улицах...

Людям третьей части долго не дождаться тех удобств, которыми окружена свинская жизнь...

Хотя, конечно, культура двигается, наука развивается и, может быть, третьей части люди скоро будут стоять в одинаковых условиях с третьей части свиньями...

Итак, дети ловили свинью.

Это была такая жирная, благообразная, важная свинья.

Она, очевидно, считала ниже своего достоинства бегать от детишек третьей части и вот они ее поймали!

Штук десять маленьких людей вцепилось в хвост, щетину, уши животного и я вспомнил картинку, изображавшую мне охоту первобытных обитателей земли на какого-то чудовища.

Когда дети облепили свинью, — она рассердилась.

Она, должно быть, сочла оскорбительным для себя столь непочтительное обращение с ней, — такой хорошей свиньей, — детей третьей части.

И она рванулась вперед.

Ребятишки посыпались с нее как горох, трое из них попали в ямы с грязью, некоторые обрезали щетиной пальцы, другие потирали ушибленные места.

Большинство... смеялось, но одна девочка лежала на земле и плакала.

Это она, видите ли, потому плакала, что, убегая, свинья ударила ее ногой в живот.

Ведь вот какая свинья!

Я смотрел, как развлекаются дети третьей части, и думал о лондонских и стокгольмских садах для бедных детей.

Ах, это, если верить описаниям, изумительно хорошие сады!

И я представлял себе детей третьей части, играющих в разные культурные игры в этих самых заграничных садах.

Выходило уморительно-оригинально!

А свинья, отбежав немного, легла отдохнуть в яму, полную жирной, такой черной грязи, легла и стала этак важно хрюкать.

Точно, знаете, она говорила мне:

— Их надо пороть, а не сады, да разные там культурности для них заводить. Сады... игры! В ученье их, к сапожникам и разным там этаким мастерам — вот их дорога, а не в сады... Н-да! Туда же еще, шляется по третьей части и утопии разводит в грязи...

Вот какая премудрая свинья!

Я ее понял.

Я человек общительный и быстро сходящийся с людьми самых разнообразных физиономий и свинская философия мною всегда довольно быстро постигается.

Поняв свинью, я сконфузился, конечно.

Голодные, ободранные и чумазые русские ребятишки из третьей части г. Самары на улице со свиньей играют, а человек, знающий, что для этих ребятишек в жизни ничего не припасено — ни хлеба, ни грамоты, думает о разных там детских садах, имеющихся в Англии и Швеции.

А ребятишки, оправившись от поражения, снова пошли войной на свинью.

Я посмотрел на них и пошел себе домой.

Ей-богу, больше мне ничего не оставалось делать!

И, идя домой, я подумал:

Что же? Может быть, и со свиньей игра послужит детям третьей части на пользу. Быть может, что-либо и разовьет в них. Н-да... Может, они чему ни то научатся и со свиньей. Что ж такое — свинья? И свинья — животное. Да еще часто и почетное... Иные свиньи даже и умные есть. А дети восприимчивы и впечатлительны. Глядишь, они от свиньи-то и ухватят себе что-нибудь этакое поучительное. Все же это будет лучше, чем ничего.

Так думал я.

Право же мне нечем было иначе утешиться!

22 сентября, № 203.

41

Это было очень странное зрелище.

На Дворянской улице ехала телега, нагруженная кипами казенного вида бумаг. Ее конвоировали двое полицейских и приблизительно дюжина каких-то вполне почтенных господ...

Конвоиры шли молча, важно и сосредоточенно опустив на грудь головы, и на лицах их застыло выражение непоколебимой решимости.

Полицейские трусцой следовали по бокам телеги, а на высокой кипе ее груза мрачно восседал возница, суровый как Харон.

Из окон зданий смотрели на процессию физиономии разных людей, и слышно и видно было, как люди сии скрежетали зубами.

Я смотрел на все это и в недоумении думал:

«Что сей сон значит? Что везут? И куда везут? Не есть ли господа, провожающие телегу, последователи того грибоедовского персонажа, который некогда рекомендовал собрать и сжечь все книги? Или же это везут думские доклады, сданные лет двадцать тому назад в разные комиссии, но, по недосугу, до сего дня нерассмотренные и ныне предназначенные к потоплению в Волге? Или же это прозаические и стихотворные труды местных авторов, везомые оными на Троицкий базар для продажи с пуда?»

Но все мои предположения, я чувствовал, были не верны, ибо они не объясняли зубовного скрежета домовладельцев Дворянской улицы.

Тогда, движимый любопытством, я решил спросить у людей, следовавших за телегой, — кто они суть?

И я спросил. Они в один голос возвестили мне:

— Мы суть участковые надзиратели! В нашем ведении находится Дворянская улица!

— Что же и куда везете вы, милостивые государи?

— Мы везем полицейские акты о несоблюдении домовладельцами сей, первой в городе улицы, обязательных постановлений думы о переустройстве тротуаров. Мы долго ждали исполнения домовладельцами постановления думы, но не дождались. И вот мы составили сии акты и ныне везем их к городскому судье, дабы сей последний судил и штрафовал людей, не внимающих думе. Шестьдесят актов составили мы на жрецов Меркурия — бога торговли, — и вы слышите скрежет зубовный домовладельцев?

Я слышал его, видел злые взоры, бросаемые из окон домов на улицу и, вздохнув, ушел домой.

Бедные шестьдесят богачей!

Что-то предпримут они теперь?

Я рекомендовал бы вот что: подать в думу коллективное прошение о восстановлении срока, данного ею на устройство тротуаров.

Написать на хорошей бумаге этакую слезницу в самом жалобном и к послаблению порокам располагающем стиле и подать оную вопленницу в думу.

В думе сейчас же отыщутся родные человечки: они погуторят, посочувствуют и срок восстановят на полгода, положим.

Тогда шестьдесят домовладельцев пусть снова ждут истечения данного им срока...

И когда он истечет, — то снова пусть сочинят новую вопилицу и просят о восстановлении.

Дума даст еще срок.

И так далее...

Только боги бессмертны. И в один из сроков гг. домовладельцы помрут.

Не все сразу, конечно, но обязательно помрут.

А тротуары останутся существовать, все более и более представляя из себя в миниатюре кавказские горы.

А шестьдесят домохозяев сэкономят по два — три десятка рублей и докажут, что они имеют гибкий ум и твердую волю...

А обыватели, за невозможностью ходить по тротуарам без риска свернуть себе шею, — будут ездить на конке и на извозчиках.

Отсюда истечет польза и даже — две.

Во-первых — увеличатся доходы конки.

Во-вторых — это поддержит убиваемый конкою извозный промысел.

И не только поддержит, но даже может развить его. Чем хуже будут тротуары, — тем больше обыватель будет ездить...

Развитие извозного промысла увеличит доходы города.

А когда это произойдет, — то дума подумает:

«А ведь это мне шестьдесят домовладельцев с Дворянской улицы доход-то создали! Ах, милые мои, дай-кось я вам за это маленький презент сделаю!»

И тогда она устроит вдоль по всей Дворянской улице тротуары за свой счет.

Ловко?! Я уверен, что шестьдесят бедных домовладельцев Дворянской улицы обратят свое внимание на мой простой проект вечных уклонений от исполнения обязательных постановлений.

23 сентября, № 204.

42

Читал отчет о думском заседании.

Прочитал, что г. Барщу разрешили открыть торговлю ядовитыми и сильно действующими веществами.

Изумился.

Кто это хочет еще и еще ядовитых и сильно действующих веществ?

Неужели есть люди, находящие, что самарская пыль, грязь и вонь — вещества все еще недостаточно сильно действуют и мало ядовиты?

А горчишники разве не сильно действуют?

И, наконец, «мертвые колодцы»?

По-моему в Самаре даже слишком много ядовитых и сильно действующих веществ и существ...

Например, наша управа сильно действует в направлении сокращения расходов.

С этой благоразумной целью она закрывает дифтеритные бараки...

Эпидемия дифтерита кончилась, «мертвые колодцы» пока еще действуют не особенно сильно, еще не отравили почвы и новой эпидемии не создали.

Несомненно они создадут и чуму со временем, «но улита-то хотя и едет, а еще когда-то что будет», лечить же управе больных земства — накладно.

А посему следует бараки изничтожить.

Сумму же, которая останется в экономии, следует употребить на ремонт плашкоутного моста, на это несчастное сооружение сильно действует время.

— Э-хе-хе! — с меланхолией и тоской заявляет г. Кожевников. — Чиним мы его каждый год вот уже двенадцать лет кряду, а он все проваливается!

— Да, — грустно соглашается г. городской голова, — он все проваливается.

И сорок восемь грудей вздыхают о шестистах пятидесяти целковых, нужных по смете на тринадцатый ремонт моста.

Тринадцать — это, как известно, роковое число.

А вдруг этот мост совсем уже провалится, сквозь землю, после тринадцатого ремонта?

Несколько взбудораженные таким соображением, многие из гласных упрекают управу в неумении вести хозяйство.

Г. Подбельский изумляется, зачем управа хочет израсходовать 625 р. на выписку газет и прочее такое.

— Хочет ли она следить за политикой европейских и иных держав, или хочет знать, не лучше ли местных пишут о ней газеты иных городов?

Первое намерение может быть достигнуто ежедневным посещением библиотеки, а второе...

Кто хочет сохранить спокойствие души и чистоту совести, пусть лучше он откажется от второго намерения!

За г. Подбельским встает г. Кожевников и заявляет:

— Расходовать деньги так, как это делает управа, — невозможное дело!

Г. Кожевников не видит, что он не логичен. Невозможное дело, очевидно, вполне возможно для управы, — раз она его делает.

Городскому голове стиль г. Кожевникова не нравится.

Он встает и говорит:

— Я не нахожу того, что вы находите. Я даже старые долги плачу... не токма что... Кто со мной согласен — я прошу встать...

Это подействовало на гласных сильно и большинство их встало.

— Господа! — заявил секретарь, когда стали избирать комиссию по вопросу об отпуске тюрьмам отопления и освещения. — Господа гласные! по положению тюрьмы должны освещаться сальными свечами. Таковых потребно в год 280 000 штук.

Многие гласные глубоко вздохнули, подались вперед, и очи их подернулись маслицем сладкого вожделения.

Впереди им рисовался крупный и жирный подряд на поставку сальных свеч в тюрьмы.

Но другие предложили, — нельзя ли как-нибудь стать подальше от тюрьмы?

Первые гласные снова вздохнули и стали безгласно смотреть в потолок.

Что же им осталось делать?

Приятное сердцу видение исчезло...

Засим было сказано несколько бедных мыслей о нищенстве и публично говорилось о публикациях.

Ах, эта последняя пьеса очень интересна, но она и очень щекотлива. Молчу. Потом все отправились по домам, где снова легли спать.

Ибо было уже поздно...

Ах, да, еще один крохотный инцидентик.

Во время разговора о бараках гласный Михайлов вдруг спрашивает:

— До сведения моего дошло, что земство отпускает антидифтеритную сыворотку для городских больных только по знакомству,— правда это?

— Гм! — сказал голова. — Нет, это кажется, что неправда! Оно, положим, было некоторое недоразумение, но ныне оно устранено.

Это хорошо, что оно устранено...

Но слова городского головы вызывают некоторое соображение в моей голове.

Как только в местных газетах появится заметка:

— Сыворотки нет!

Местные аптеки скоропалительно возражают:

— Сыворотка есть!

Это случалось не один раз уже...

Вполне почтенные люди просят заявить — нет сыворотки! Заявляешь, хвать — есть сыворотка!

Именно эти недоразумения устранены.

Еще раз — это очень хорошо!

24 сентября, № 205.

43

У городских судей наступило страдное время.

Почти ежедневно к ним являются толпы крестьян и слезно жалуются:

— Сделайте божескую милость, ваше благородие, рассудите!

— В чем дело?

— Было у нас сорок три воза пшеницы и в кажинном возу по 24 пуда. Привезли, запродали, — все хорошо. Стали ссыпать, хвать, ан в каждом возу по 4 пуда убыло... По 20 ссыпали... Разор, ваше благородие!

— Неверно взвесили значит?!

— Истинно так — по-грабительски взвесили!

— Зачем же это вы?

— Да али это мы, ваше благородие! Мы вот вам крест! фунт в фунт, по 24 пуда в телегу насыпали — и каждый еще мерку на утечку накидывал. А ссыпать стали, по 4 пуда с телеги и просыпалось. Это уж у купца весы так устроены...

— Подавайте прошение!

Мужики чешут затылки и отправляются по кабакам искать себе «ходателя».

Когда-то он будет найден, нужно его напоить, дать ему за работу, купить марок и так далее, — каторжным трудом добытые гроши так и текут из тощих карманов.

Главный расход — это харч.

Сорок три лошади и человек двадцать пять людей живут три-четыре дня, а иногда и больше в городе и каждый день стóит им около пятидесяти копеек.

Таким образом выходит нечто прямо-таки грабительское.

Из воза пшеницы, положим, пуда с два утянет купец, да пуда по четыре на каждый воз сложится взыскание с купца этих двух пудов...

И это еще хороший конец дела.

А бывают случаи, когда четверть и даже половина всего привезенного товара идут на то, чтобы получить деньги за другую половину, ссыпанную в амбар купца.

Вот, для примера, очень характерное «сезонное» крестьянское дело, начатое у одного из городских судей.

Крестьяне Гусев и Платошин привезли 151 подводу льняного семени, весом 2281 пуд. И запродали его местному купцу Николаю Шашкову по 14 к. за пуд.

Ссыпали...

А когда ссыпали, — Шашков нашел, что семя подмочено и скинул по пятаку с пуда.

Хорошая скидочка — чуть-чуть не 40%.

Крестьяне заплатили за ссыпку, потеряли много времени — не пересыпать же семя обратно из амбара в телеги.

Если бы они решились на это, — Шашков взыскал бы с них полежалое.

— Вы, дескать, своим товаром у меня место занимали. Я бы может другое что купил, да на место вашего семя ссыпал! Несу убыток!

Тиски!

Крестьяне едут к судье и предъявляют иск.

Ищут: недоданных за провоз 114 р., убытков на содержание 151 лошади и 44 рабочих 61 р. 50 к.

Дело назначено на 28 сентября.

Выиграют они его?

Трудно сказать! Купцы люди умные и весьма ловко «наблошнились» объегоривать крестьян!

Уж если человек решается действовать так нахально, как наши

самарские толстосумы действуют на ссыпке, — значит он, этот человек, в успехе своего начинания уверен и для благополучного исхода дела в свою пользу все припас?

И вот вы сообразите...

Сколько потеряет от судьбища этот четырнадцатикопеечный товар?

А купец, догадливый и ловкий человек, возьмет да попросит судью назначить экспертизу — осмотреть семя.

Семя осмотрят. Наверное найдут, что оно не подмочено — тогда купец постарается еще чем-нибудь затянуть дело.

И даже если судья постановит взыскать с купца 175 р. 50 к. проторей и убытков, — купец перенесет дело во вторую инстанцию.

А сам в это время будет вести с мужичками такой разговор:

— Бросили бы вы, ребята, эту самую волокиту! Вам со мной не тягаться. Помните, с волком кобыла тягалась — хвост да грива осталась... Уступите по чести купцу. А то я вас все равно измором возьму. Я сужусь с вами, ничего не теряю, а вы каждый день на худой конец рубля два! Товар ваш дешевый, барыш ваш грошовый! Все вы со мной просудите... Бросили бы лучше! Ась? Добра ведь желаю вам, ребята... Уступите пятак с пуда...

И он, добрый человек, добьется своего так или иначе.

Он не возьмет убытка сам, даже и в том случае, если иск крестьян будет удовлетворен, — купец вгонит их в убыток.

Как так?

А такова уж крестьянская участь и купецкая сметка!

26 сентября, № 206.

44

Мне совестно пред читателем, ибо я должен говорить о порядках волжского пароходства.

То есть, вернее, о беспорядках и безобразиях волжского пароходства.

Я знаю, что это старая, избитая тема, что читателю уже надоели обличения, направленные по адресу капитанов и всяких пароходных администраторов, то и дело напоминающих о себе разными диковинными деяниями, рисующие сих почтенных господ прямыми потомками старого времени на Волге, которые не давали никому ни прохода, ни проезда и выдумали такое страшное слово, как:

— «Сарынь на кичку!»

Ныне проход и проезд по Волге не только вполне свободен, но и обставлен разными культурными удобствами.

Вы найдете на пароходе ковры и бронзу, картины и библиотеки, музыку и прекрасную кухню.

И, вместе со всем этим, вы увидите, что все эти культурные удобства отданы в полное заведывание доброму молодчику, являющемуся в своих деяниях прямым потомком старинных ушкуйников, бесконтрольных царьков Волги, творивших на ней все, что им было угодно.

Всякое обаяние культуры сразу пропадает от встречи с господином, под командой и наблюдением которого она находится.

Вы чувствуете, что вас как бы несколько подкузьмили.

Заманили вас на благоустроенный пароход и вместе с тем отдали под команду психически расстроенного капитана, совершающего над вами разнообразные «турецкие зверства»...

Вам становится жалко себя и вы, когда при вас зайдет речь о культуре и усовершенствованиях в пароходном деле, ехидно ухмыляетесь, как бы говоря:

— Знаем мы эту культуру!.. Испробовали...

Хотя культура тут решительно ни при чем, а виноваты дикие люди.

28 сентября, № 207.

45

Будем говорить о технике.

Сначала о той технике, задача которой сводится к тому, чтобы создать наилучший и в то же время наивыгоднейший двигатель, одинаково применимый ко всем родам механической деятельности.

Мне кажется, что «искание наилучшего двигателя» — дело совершенно химеричное и даже совсем «плевое», как говорится, дело, — и именно вот с какой стороны оно никуда не годится.

Зачем нужно выдумывать усовершенствованный двигатель и всячески ломать головы над усовершенствованием разных моторов и локомобилей с целью экономизации их энергии и требуемых ими вспомогательных средств: топлива, смазочных материалов и прочего такого?

Совершенно излишнее времяпровождение.

И те люди, что известны миру своим творчеством в области техники, суть, по моему мнению, отчаянные Дон-Кихоты, не больше...

Ибо все, что придумывается с целью облегчить труд человека, не достигает этой цели, и едва ли достигнет, пока жив человек и нужда управляет им.

И потом, какая двигательная сила может быть более экономична, чем сила мальчиков, отдаваемых в учение *бесплатно?*

Бесплатные и беззащитные мальчики не требуют от своего хозяина дров и масла, ибо мальчиков, для того, чтобы они работали, не нужно ни накаливать огнем, ни смазывать маслом.

Они и без этого могут делать все, что их заставит хозяин.

Ибо к нему их погнала непобедимая нужда.

Все это прекрасно понимает г. Лебедев, хозяин местного чугунолитейного завода и бесконтрольный командир и властелин бесплатных мальчиков-учеников.

Г. Лебедев любит соблюдать экономию.

Это хорошее качество, если оно сдерживается чувством меры.

Но... зачем же нужно чувство меры для г. Лебедева в его стремлении к барышам, если он ничем не рискует, достигая их так, как ему это угодно и выгодно?

Он прекрасно знает, что за мальчиков вступиться некому и что мальчики суть самая выгодная двигающая сила.

Им не нужно платить, их не нужно топить, чистить, смазывать и вообще ухаживать за ними так, как того требуют металлические машины, которые хотя и ничего не чувствуют, но во многом нуждаются.

Мальчики же нуждаются только в ругани, в толчках, пинках, подзатыльниках, трепках, выволочках и прочих дешевых средствах.

Наградить всем этим мальчиков хозяину не только ничего не стоит, но даже доставляет ему удовольствие.

И мальчики на заводе г. Лебедева с этой стороны совершенно довольны и вполне, даже, можно сказать, с избытком награждены всеми этими необходимыми атрибутами ремесленного обучения.

Но, знаете, с одним из мальчиков на заводе г. Лебедева произошла 24 сентября маленькая неприятность.

Его немножко изувечили...

Это было так:

На заводе г. Лебедева есть паровой или газовый двигатель, приводящий в движение токарные станки.

Недавно завод приобрел новый станок, и хотя к нему еще не был устроен привод от двигателя, тем не менее г. Лебедев распорядился, чтобы на новом станке точили какие-то колеса. Вертеть же станок заставили мальчиков.

Брань, лязг металла, ворчание обтачиваемой вещи и равномерно-машинальное раскачивание ручки колеса у станка загипнотизировали одного из мальчиков.

Он как-то неловко пошатнулся и его ручонка попала в шестерню станка...

Треск костей, дробимых железом, слабый крик — и станок останавливается.

Из раздробленной кисти бесплатного мальчика фонтаном хлещет кровь, а он даже и кричать не в состоянии...

Его, конечно, уводят...

Работа продолжается в том же порядке до устройства привода или до нового увечья другому мальчику...

Деталь происшествия:

Мальчику так искусно раздробило палец, что на пол посыпались «косточки».

Очевидец происшествия именно так и выразился: «посыпались косточки».

Сколько же сэкономил г. Лебедев, раздробив косточки мальчика?

И во сколько он их оценит?

Говорят, что дробление косточек весьма часто практикуется на заводе г. Лебедева, и говорят, что он вообще очень хладнокровно смотрит на такие пассажи.

Раздробило косточки мальчику?

Ба! А он бы не зевал, так ему бы и не раздробило!

Ну, а если раздробило, то я-то, Лебедев, при чем?

Мне, первым делом, нужно обточить на станке данную вещь, а если при этом неосторожный мальчик ухитряется изувечить себя, я, Лебедев, тут ни при чем.

Я не приказывал мальчику совать свои пальцы в шестерню!..

Так проста и ясна логика г. Лебедева и всех ему подобных господ, бесплатно обучающих и безнаказанно уродующих своих мальчиков...

Мальчик в их представлении — не велика штука.

И только...

По сей причине они свободно практикуют по отношению к мальчикам великие зверства, великую халатность и все прочие качества своих низких душ...

Хозяева широко применяют к бесплатным мальчикам знаменитую систему ремесленного воспитания — «воспитания от руки».

Все это старо?

Я знаю.

Но ведь это случилось 24-го сентября, наверное произошло где-нибудь и 25-го, 26-е число тоже вместило в себе дробление «косточек»...

И за все остальные числа каждого месяца я поручусь.

Всегда кости мальчиков дробят.

И как это ни старо, как ни привычно, это все-таки возмутительно в виду полной беззащитности мальчиков...

29 сентября, № 208.

46

Читали вы во вчерашнем номере «Самарской Газеты» «Письмо в редакцию»?

Прочитайте: оно характерно, как яркая бытовая черта.

В нем испуганно вопит какой-то смиренный служащий в Обществе «Самолет», человек, заподозренный своими собратиями и присными в сочинении и печатании обличительных корреспонденций о «ревизорах» Общества и о прочих его нелепостях.

Бедняга обращается к гуманности и просит печатно засвидетельствовать о его непричастности к делам этой беспокойной язвы обывательского благополучия и косности — к газете, вечно мешающей обывателю спокойно наслаждаться киселем самоуслаждения и утопать в мутной тине окружающей его обстановочки.

Автор письма пожалуйста просит заявить, что это совсем не он пытался пролить луч света на мутные и темные делишки и порядки Общества, в котором он служит и около которого кормится.

Мы заявили — это не он.

Я дополняю заявление — это совсем не он.

Ах, боже мой! Как это те, что ополчились на г. Сорокина, не могут понять, что ему, г. Сорокину, — человеку, пока еще Обществом незаслуженно не изгнанному, несмотря на то, что он служит двадцать три года кряду, — как это его гонители не могут сообразить, что о них и помимо г. Сорокина есть кому и есть чего писать в газету?

Это наивно с их стороны...

Наивно предполагать, что пишет служащий, еще не изгнанный,— когда есть так много служащих, незаслуженно изгнанных.

Г. Сорокин, судя по тону его письма, человек робкий, а судя по тому, что он служит в почтенном Обществе так долго, — человек ужившийся, заработавшийся, что называется, до «чортиков», и по всем сим причинам вместе — человек, к такой ехидной и вредной деятельности, как писательство, совершенно неспособный.

Пусть его оставят в покое — после двадцатидвухлетнего беспокойного труда на пользу Общества...

И пусть его гонители не беспокоятся.

Прекратить гонениями на служащих разоблачения самолетских порядков — столь же трудно, как трудно, например, заткнуть пальцем пробоину в киле парохода.

Или склеить гумми-арабиком сломанный вал «Тургенева».

Или полным молчанием отклонить от себя обличение в незаконном взимании четверть-процентного сбора.

Ах, совершенно напрасно пенять на зеркало, когда личико уродливо...

И не следует доискиваться причин, в силу которых зеркало отражает.

Таково его назначение...

Я не могу лишить себя юмористического удовольствия,— изобразить здесь события, предшествовавшие появлению в «Самарской Газете» «письма в редакцию» от г. Сорокина.

Наверное они происходили в такой форме и порядке.

Появилась в газете заметка...

Ее прочитали и стали обсуждать:

— А, ведь правда, чорт их возьми! Ишь ты как тяпнули! Прямо в глаз... Ловко...

Потом, обсудив, стали соображать.

— А кто бы мог сообщить?!

Задумались...

— А я знаю! — радостно восклицает один из исследователей вопроса.

— Кто?!

— Это — не кто иной, как Галкин! — торжественно возглашает проницательный человек.

— Почему — Галкин?

— А знаете, у него этакая подозрительная... бородавка на левой щеке...

— Ну так что?

— Как «что»? Ясно — бог шельму метит. Я всегда, глядя на эту бородавку, думал, что из нее со временем истечет какой-либо яд... Ну, вот он и истек...

Некоторое молчание.

Сообразительный человек торжествует.

Но более умный — сомневается.

— Ну это знаете — тово... Слишком малодоказательно, пожалуй...

Хотя, конечно, у Галкина — лицо, вообще не возбуждающее доверия. Но у него жена умница, — она бы не позволила ему в газете писать.

— Я так думаю, что это писал не он...

— А кто?

— Воробьев!!

— Почему Воробьев?

— А потому, что, видите ли, жена Воробьева в родстве с Щегловым, а тетка Щеглова имеет знакомого, некоего Бородина, племянник которого учится в Самаре, в фельдшерской школе, и одно время стоял на квартире у какой-то женщины, ранее державшей на хлебах у себя одного сотрудника «Самарской Газеты»!

— Н-да-а! Это, пожалуй, «что»...

— Видите? Нужно держаться подальше от этого Воробьева, а то он и нас пропишет...

— Это, конечно...

И все впадают в некое уныние.

— Ба! И совсем это не Воробьев, господа! — возбужденно говорит третий.

— ?

— Не Воробьев, а Лукин!

— Лукин?

— Ни кто, как он! Он! Я уверен — это он. Потому что я иду прошлый раз мимо его квартиры, заглянул в окно, а он сидит и... пишет! Пишет, и таково, знаете, подозрительно оглядывается вокруг. Было около часу ночи... Уж в такое время порядочный человек писать не станет.

— Г-м... довольно правдоподобно! Пожалуй, что и он...

Но возбужденная мысль не удовлетворяется этим и продолжает работать далее в направлении фиска.

Вспоминают, что однажды, не так давно, г. Ласточкин куда-то торопливо пошел с бумажкой в руке...

У Воронина с некоторой поры мечтательное лицо и какие-то улыбки на таинственно-поджатых губах.

Наконец, вольные сыщики доходят до того, что вдруг все вздрагивают и отскакивают друг от друга.

Воцаряется гробовое молчание.

Каждый подозревает всех и все каждого.

У каждого есть веское доказательство виновности своего соседа в писании и печатании тайнодействий Общества....

Положение становится невозможным.

И тогда берут первого попавшегося на глаза человека и сваливают грех на него...

Доказательств его виновности хотя и нет, но желание оправдать самих себя в подозрении у всех налицо.

И вот берут Сорокина, — до сей поры остававшегося вне подозрений в силу отдаленности от непосредственно коммерческой деятельности Общества. И на Сорокина воздвигается Диоклетианово гонение...

Его преследуют ехидными усмешками, косыми взглядами, наме-

ками, вздохами лицемерного сожаления о его нравственном падении и о печальном будущем...

Начальство не потерпит у себя на службе писателя!

Семейство Сорокина, — коли оно у него есть, — тоже подвергается некоторому остракизму...

Сорокин чувствует себя чем-то вроде чумного и во всю мочь вопит в газете:

— Помогите! Погибаю! Заживо жрут!

Дико!

30 сентября, № 209.

47

...Сегодня в моем амплуа выступает новое лицо, которому я, человек, чуждый зависти, с удовольствием уступаю свое место.

Пусть его займет публику.

Но мне кажется, я сам должен представить его читателю.

Представляю, — мой заместитель — это хозяин местного чугунолитейного завода г. Лебедев.

Он написал опровержение через «ять» на мою заметку о порядках на его заводе.

Он недоволен мной главным образом за то, что я сопричислил его к сонму низких душ. И вот он прислал некоторую ядовитую вопилицу, в которой доказывает, что у него напротив душа весьма даже высокая.

Он мог бы сделать это проще и не портя так искусно русского языка, как он ухитрился испортить его в своем сочинении.

Ему, на мой взгляд, следовало уплатить мальчику за раздробленный палец рублей этак сто хоть, что ли, и сообщить об этом поступке редакции.

Я бы ему печатно сказал за это спасибо.

Но он предпочел доказать мне, что я солгал и что я пишу — неприлично.

И вот, — внимание!

И вот, как прилично и правдиво он опровергает меня.

И не просто опровергает, а через «ять».

Вот оно, его

«Опровѣржение»

«В № 208 «Самарской Газеты» в отделе *«между прочим»* автор этого хронического недуга, скрывавшийся под псевдонимом *«Хламида»*, искажая несчастный факт повреждения токарным станком на моем механическом заводе пальца мальчику, позволил себе оскорбить меня бранными словами *«низкая душа»*.

На брань «Хламиды» я, конечно, обратил бы внимание столько же, сколько обращает внимание *лошадь*, идущая с возом, на лай прыгающей перед нею, выскочившей из подворотни дворняжки, но так как искажение факта и приписывание мне грубого обращения с мастерами и учениками *возбуждает антогонизм между заводчиком*

и служащими, то на основании 3 п. 18 ст. закона о печати я прошу вас, господин редактор, настоящее опровержение поместить в редактируемой вами газете, в отделе «*между прочим*». Хламида говорит, что на моем механическом заводе мальчики награждаются: «пинками, руганью, подзатыльниками, трепкой, выволочками».

Все это *гнусная ложь*, — результат воображения, *болеющего от подъзатыльникав «пшавки»*, *мозга*. Надо заметить, что заводом я владею 10 лет, работает у меня до 200 человек и никогда (!) никто (!) из находивших на моем заводе средства к жизни не жаловался на мое грубое с ними обращение. А ведь вести механическое дело, г. редактор, — далеко мудренее, чем составлять «между прочим» из лакейского острословия и обстоятельств, при которых поврежден палец мальчику, переданных Синьором «Хламида» *ложно*. Мальчик этот не вертел маховика токарного станка, и если бы вертел, — в шестерню не попал бы (?). Он шалил шестернею, несмотря на предостережение токаря и сделался жертвою своей неосторожности[1] без вины кого бы то ни было, а моей в особенности, потому что ни один заводчик не может везде и во всякое время охранять от неосторожного обращения с машинами работающих на них. Кто никогда ничего не делает, *а в печать проникает как болезнетворная бацилла в здоровый организм*, тот не в состоянии понять, как велико зло злоупотребления печатным словом. Но вы, г. редактор, ближе чем «Хламида» стоите к жизни, — вы не могли не понимать, что оглашать факты можно, а извращать их, а тем паче сопровождать бранью, по малой мере *не прилично*.

Н. Лебедев».

Не правда ли, г. Лебедев и вполне приличный и очень остроумный мальчик?

У него есть стиль.

Но как мне ни жаль г. Лебедева, а одним стилем меня не опровергнет.

Ибо у меня есть факты.

Он не опроверг их заявлением, что на его заводе не задают мальчикам трепок и выволочек.

Он только подтвердил, что палец мальчику действительно оторвали и раздробили. Я повторяю: раздробили именно тогда, когда мальчик вертел маховик.

И он не сказал ни слова о том, как и чем за это мальчику заплатили.

Он много меня поносит и немножко на меня доносит, крошечку, знаете, доносит.

Сравнив себя с лошадью, а меня с собакой, он полагал, что убил меня наповал.

Ах, это совершенно напрасно!

И это меня нимало не трогает. Я даже оттенил все сильные места его опровержения своим курсивом.

---

[1] Ах уж эти шалуны бесплатные мальчики! Всегда они калечат себя ради собственного удовольствия. [*Примечание Иегудиила Хламиды.*]

Мне чуть не каждый день приходится получать анонимные письма от обывателей и обывательниц, неосторожно задетых мною за живое, — и уверяю г. Лебедева, что гг. анонимы обоего пола ругаются гораздо хлеще, чем он.

Так ругаются, что я только удивляюсь образности их стиля и гибкости русского языка.

Но, удивляясь, я думаю по адресу каждого ругателя анонима:

Ты сердишься, Юпитер, — значит ты виноват!

Вы сердитесь, великодушный г. Лебедев?

Очень жаль.

Вот я, надеюсь, успокоил ваше гневное сердце, — поместил ваш буйный вопль во всей прелести его.

С соблюдением орфографии, не выкинув ни одного слова.

Будьте довольны, — я имел право не делать этого.

И — до свидания.

До следующего раза, когда я несколько более подробно и основательно коснусь порядков прошлого и настоящего времени на вашем благоустроенном заводе.

5 октября, № 213.

48

Я в недоумении.

Со мной случилось нечто очень странное.

Я стоял пред неуклюжей кучей старых заигранных кукол с оторванными ногами и руками и пытался разобрать, что к чему принадлежит и зачем все это свалено в кучу?

Предо мной был злодей из романа Пьера Законнэ или Монтепена.

Добродетельный герой из Омулевского или Мордовцева.

Дубообразный и ветхозаветный купец из беллетристики «Московского Листка».

Мошенник из Февала-отца.

Жуир из произведений Мясницкого.

Купцы и купчихи из Островского.

Все эти личности расхаживали по сцене и разыгрывали якобы драму, именуемую «Расточитель».

Действие пьесы относится к 1867 г., но это не помешало некоторым из ее персонажей одеться по моде 1895 г.

Это, конечно, мелочь.

Самое крупное в пьесе, — купец Калина.

Это громадный человек и большой соня.

Он ухитрился заснуть во время самого разгара одного из чрезвычайных скандалов пьесы.

Перед его носом во всю мочь кричит г. Сарматов, немного подальше кричит г. Грубин, кричит весь «мир», а купец Калина спокойно почивает.

Этим он, очевидно, хотел оттенить основное свойство пьесы, и это ему удалось.

Он проснулся только тогда, когда г. Сарматов под ударами разно-

образных нелепостей пьесы грохнулся на пол, взметнув ногами до высоты бельэтажа.

Когда сверкнули перед лицом публики добродетельные пятки г. Сарматова, публика взволновалась.

Ей понравилось, что добродетель падает так реально, и нимало не заботясь о целости своих костей.

Она захлопала г. Сарматову.

Тут проснулся г. Калина — Кольцов.

— А не похлопают ли и мне? — сообразил он.

И, подняв с пола г. Сарматова, хотел выбросить его в окно.

Но, г. Сарматов — тяжеловат, а публика довольно даже равнодушна.

Она ничем не выразила интереса к подвигу г. Кольцова.

Тогда сей последний бросил товарища по сцене на пол сцены, а сам убежал со сцены...

Все это, ей-богу, сущая правда!

Вообще мне ужасно жалко было г. Сарматова.

Это положительно несчастный человек.

Монологи у него были длинные.

Жену он любил, потому что она совершенно не понимала своей роли в этой странной пьесе, да и во всех пьесах плоховато играет.

Тесть у него был тряпка, хотя очень добрый и молчаливый человек.

И была у него теща.

Г. Грубин во всю силу и на протяжении всей пьесы злодейски издевался над ним.

Г. Кольцов пытался выбросить его в окно.

Г. Нинина-Петипа подвела его под историю.

Наконец, он, возмущенный нелепицами пьесы и игрой своих собратий, сбросил с себя сюртук и убежал за кулисы.

Но увы ему!

Там кто-то, — я подозреваю в этом г. Кольцова, — схватил его и бросил в огонь.

И этого мало.

Из огня его вытащили и уже совершенно изжаренным приволокли на сцену.

И уж только тогда спустили занавес.

Оставив меня в совершенном недоумении относительно всего происшедшего.

Решительно ничего не понял я из этой большой пьесы.

Зачем в ней говорилось о новом суде?

Зачем зажарили г. Сарматова?

Как бы то ни было, — ведь это первая величина труппы!

Зачем заставили г. Гофмана рассказывать о помещениях для дам и для мужчин на парижском вокзале, когда таковые есть и на самарском?

Г. Гофман и без того никогда ничего хорошего не говорит.

Зачем доброго г. Грубина заставили изображать бессердечного злодея?

Он слишком хороший актер для такой плохой роли.
И, наконец, зачем поставили эту пьесу и откуда ее взяли?

Боюсь, что у г-жи Молгачевой где-нибудь есть пьеса Стебницкого.
Если это так, она непременно поставит ее.
У нее такая привычка, ставить по две пьесы каждого автора.
Сначала она дала дважды Сумбатова, потом дважды Немировича-Данченко, дважды Шпажинского...
Вдруг она увеличит по доброте своей порции духовной пищи и даст трижды Стебницкого?
Шесть раз кряду Крылова?
Двенадцать Дьяченку?
Двадцать Нестора Кукольника?
А в конце сезона вытащит из тьмы времен Озерова и угостит какой ни то «Ипохондрией и Сплином», классической вещицей в стихах, в шести действиях и в двенадцати картинах с бенгальским огнем и барабанным боем на сорока барабанах?

«Расточитель» не истощил терпения публики и мы видели «женское любопытство».
Его изображала г. Стрешнева.
Ей было любопытно знать, как отнесется к ней публика, если она, г. Стрешнева, покажет публике голые руки до плеч и слишком голые плечи.
Сия служительница голого искусства декольтировалась «сан-жен» и любопытствовала.
Публика сверху отнеслась к ней горячо.
Публика снизу отнеслась к ней с любопытством. Г-жа Стрешнева осталась отношением публики довольна, но, не довольствуясь успехом своих природных талантов, захотела еще показать публике и талант искусственный.
Она запела.
Это ее привычка, оценить которую я не берусь.
У меня у самого много дурных привычек.

7 октября, № 215.

49

Проходя несколько дней тому назад по Троицкой площади мимо мясных лавок, я был смущен крайне печальным зрелищем.
Валялись кучи леса, уже бывшего в деле, стояли лавки с ободранными боками и раскрытыми крышами, и среди этой мерзости запустения копошились какие-то субъекты с хмурыми лицами людей, незаслуженно обиженных и обретающихся в настроении духа, далеко не располагающем к общению с ними.
Но будучи от природы человеком крайне любознательным, я рискнул и спросил их:
— Чему я обязан сим пейзажем — пожару или землетрясению?
Люди, копавшиеся в обломках, гневным хором ответили мне:
— Городской управе!

К этому ответу я не был подготовлен.

Я знаю главные несчастия, разрушающие благосостояние человека, — трус, глад, пламя, наводнение, — всего четыре.

И по-моему ни среди них, ни рядом с ними городской управе — места не может быть.

У нее совсем иные задачи, насколько я могу понимать.

Я не поверил этим злым людям, очевидно желавшим уронить в моих глазах престиж управы и внушить мне ложное представление о ее деятельности.

Я пристально посмотрел на них, подозревая, что это просто переодетые местные «газетчики», вечно нападающие на управу с обвинениями в бездеятельности и прочем таком.

— А вы кто такие, господа?!— спросил я их, заранее не веря их ответу.

— Торговцы. Бедные мелкие торговцы, — жалобно ответили они.

— Врут, — подумал я про себя.

А вслух сказал:

— Ага! А что вы ломаете?

— Наши лавки.

— Понимаю! Вы не хотите торговать больше?

— Нет, хотим, именно потому-то и ломаем...

— Теперь я вас не понимаю...

— Оно, конечно, трудно понять... Но видите ли — срок местам вышел. Ну мы и переносим лавки с места на место. Я вот, например, шестой раз перетаскиваю свою лавочку. Управа сдает места под лавки на год только. Год пройдет — новые торги. На старое место никак не попадешь. Ну и тащишь всю торговлю с насиженного гнезда куда ни то в сторону. И так каждый год. Сколько плотникам переплатишь, сколько покупателя растеряешь... Беда!..

— Гм!.. А вы бы снимали на больший срок...

— Не сдает управа-то. Просили. Невыгодно, говорит. Я, говорит, сдаю на год — денежки сразу получаю, — сдам на больший срок,— недоимки образуются.

— Н-да. А вы бы постоянные лавки попросили ее выстроить...

— Не хочет... Повремените, говорит. У меня, говорит, денег нет. Погодите, с железной дороги миллион получим, — все сделаем. И постоянные лавки, и электрическое освещение, и школы, и мостовые. Жди-ка! А до той поры мы убытки несем ежегодно. Вот этот перенос-то во сколько, вы полагаете, въедет? Пять дней проваландаешься, не торгуешь, надо леску прикупить, да плотники плохо-плохо рублей полсотни возьмут. Вот она как, управа-то, — нас жгет! А говорят еще, что будто бы на ее обязанности лежит надзор за благоустройством города и благосостоянием граждан...

Как только они сказали мне эти мудрые и языку простого русского человека совершенно незнакомые слова — «благосостояние граждан» и «благоустройство города», — я ушел от них...

Я понял их и раскусил.

Несомненно это были переодетые газетчики, всегда сеющие смуту в умах путем публичного оглашения разных мудрых слов.

— Ишь вы, коварные газетчики, — подумал я, улыбаясь. Какую нелепицу хотят возвести на управу...

А знаете, как в Самаре безграмотные люди опровержения в газету сочиняют?

Я знаю и расскажу.

Положим, что газетой задет г. Z. От русской грамоты он стоит в таком солидном отдалении, что слово «опровержение» может написать не иначе, как вот как:

«Он-покой — оп, рцы-он — ро, — опро, веди-еже-рцы, опровер, живете-еже — опроверже, наш-и — ни, — опровержени, е — опровержение! Уф!..»

Вытирает пот с лица и начинает изъяснять дальше...

Мучительная операция!..

Дабы избежать ее, он идет к знакомому человеку более грамотному.

— Будь друг, излай газетчика, так, чтоб его стошнило!

— Могу! — говорит приятель.

Потом немножко думает...

— Могу, да... Излаю и даже с доносом по начальству излаю... Только вот что — я тебе разные ехидные слова скажу, а пиши ты их сам. Слог пусть будет твой, а ум мой! Понял?! Иначе не могу... Потому мне зазорно на газетчика тявкать, — я сам, брат, ты ведь знаешь, иногда в газеты пописываю... Мне, значит, нужно остерегаться, а то узнают... Пожалуй, нехорошо посмотрят на меня... Согласен так?

— Вали!

И грамотей валит!

Ловко?!

8 октября, № 216.

50

Обращаю внимание публики на № 273 «Биржевых Ведомостей».

В этом номере известный талантливый публицист г. Далин поместил горячую статью о Самаре.

Решено: мостовые в частности необходимы, но вообще они — роскошь.

«Какие-нибудь Сокольничьи и Ильинские улицы» — могут прекрасно прожить и без мостовых.

Мостовые на этих самых несчастных улицах даже вредны, ибо благоустройство их сложится на крестьянина, который тут совсем уж ни при чем.

Он провозит в город редьку, репу, брюкву и иные свои мужицкие продукты и должен за провоз сих фруктов жертвовать грош в пользу города, на мостовые...

Нужно пожалеть крестьянина и его грош.

И затем, нужно пожалеть потребителя, ибо «мостовой» грош увеличивает стоимость продукта.

Пусть же крестьянин ездит со своим возом по ступицу в грязи,

а житель «каких-нибудь» улиц валандается в своей стихии как ему угодно.

Хочет, — вязнет по колено в грязи, хочет — по шею.

С точки зрения биржевой комиссии такого положения дел требует политическая экономия.

Грешный человек, мне эта экономия кажется не политической, а дипломатической.

Крестьянин в ней есть только аргумент в пользу купца, которому совсем не хочется дать грош на мостовую для каких-нибудь Вознесенских и иных улиц.

Купец протестует:

— Вы хотите взять с меня грош? А если от этого промышленность погибнет, — кто за это отвечает? То-то! И опять же крестьянин, — с него и так поборов тьма, да вы еще за проезд по городу брать будете? Это как называется? Зорить деревню-то хотите?

Ох, не платили бы просто, без ссылок на крестьянина.

— Не желаем, мол! Мы на мощеных улицах живем, а другие прочие как знают...

— Вот законное и веское возражение против мостового сбора.

А то, — гибель промышленности, вздорожание продуктов потребления, стеснение роста суммы богатств города и все другие страшные слова, к чему они?

Зачем они?

Коварная самарская публика!

Угощали ее Шпажинским и К°, она была недовольна.

Дали ей Шиллера, она слоняется по коридорам театра и жалуется друг другу:

— Скучно... Длинно. Антрактов нет. Жарко.

Антракты и жару делал не Шиллер, а публика!

Шиллер тут совершенно ни при чем.

Он просто, как это всегда делают гении, просто написал прекрасную романическую пьесу, с огненными шиллеровскими словами, и когда он писал ее, то никак уж не мог подозревать, что эту пьесу будет смотреть самарская публика.

Он не мог предвидеть, что на свете есть публика, способная смеяться в той сцене, где секретарь Вурм диктует письмо Луизе.

В трагически-гнусной сцене жестокого издевательства над честной душой девушки, со стороны облеченного властью мерзавца.

Знай он это...

Впрочем, и зная это, он не изменил бы своей пьесы.

Он веровал в человеческое благородство.

И думал тронуть сердца своими огненными словами о чести, правде и прочих мифах.

И трогал раньше...

А ныне вызывает смех и зевоту.

«Он непонятен стал, хотя все так же ясен,
И пылок и могуч, как в юношестве был.
Не современен, стар, идеалист святой...»

10 октября, № 217.

51

В понедельник в камере городского судьи дан был комический спектакль с юмористической целью показать публике необязательность для домовладельцев обязательных постановлений думы.

В комедии участвовало шестьдесят именитых граждан города, не устроивших, вопреки постановлению думы, тротуаров около своих бедных хижин на Дворянской улице.

Сам г. судья в то же время один из «неисполнителей» и тоже подлежит суду другого судьи.

Положеньице!

Осудив шестьдесят купцов за халатность, он должен был и себя предать суду за то же качество...

Обвиняемые — все люди солидные, с весом, бородатые и богатые.

Говорят сытыми басами, держатся корректно, улыбаются скептически.

Точно думают про себя:

— А интересно, как это нас судить будут за неисполнение постановления, которое мы сами же сотворили и издали? Хе, хе, хе! Чудно!

Действительно чудно!

Большинство обвиняемых — гласные и некоторые из них авторы постановления.

Издали они его к сведению и руководству домохозяев и сами же первые отринули свой закон, не исправив тротуаров в установленный ими срок.

И вот, привлечены к ответственности за то, что пошли сами против себя.

Начинается суд.

— Господин Z! — вызывает судья.

Z выходит и заявляет:

— Это я. Но только я тут ни при чем.

— То есть как?

— А так... мне какое дело до тротуаров? Я не домохозяин, а квартирант.

— Так как же вы? Вот полиция составила акт на вас.

— А мне какое дело? Составила, так составила.

— Да вы, может быть, ошибаетесь... домохозяин вы?..

— Желал бы этого!

— Как же теперь? — недоумевает судья.

— А не знаю. Спросите полицию.

— Гм! Ну... господин X!

Но господин X тоже пока еще не домохозяин.

Гг. У, Θ, V и еще несколько господ также оказываются привлеченными «за напрасно».

Наконец, добираются до настоящих «нарушителей».

Они подходят к столу судьи и спокойно ждут своей участи, уверенные в своей правоте, чистоте и святости.

— Мы законы сочиняли, мы их и нарушаем. И никому, кроме нас, до всего этого дела нет.

Это написано на их почтенных, уверенных лицах.

— Господа! Вы обвиняетесь...— говорит судья.
— Знаем.
— Как же это вы?..
— Чего?
— Нарушили свои же постановления?
— А как нам их не нарушить-то было? Сказано — строй тротуары и чтобы все они были на один лад. Как так на один лад? Не понимаем!
— Да чего же тут не понимать?
— Высоты не понимаем. Низость нам понятна, в уровень с мостовой, например, а какая высота? Нужно, чтобы тротуар был выше мостовой? Так? А на сколько? На аршин? На сажень? Никто нам высоты не объяснил. Ну, мы и того, и ждали. Объяснят, мол... А заместо того полиция составила акты и вот причинила нам беспокойство... Это, как будто бы, и не порядок... За что беспокоить купцов? Мы народ сырой...
— Да вы бы спросили думу насчет этой высоты?
— Для чего? Сама должна сказать. Мы строй, да мы же еще и расспрашивай, как строить...
— Да ведь некоторые из вас сами гласные думы?
— Ну-к что ж?
— Наверное, кто ни то из вас имеет же представления о типе тротуара, установленном думой?
— Никакого типа нету...
— То есть как же нету...
— А так же... Да вы, г. судья, сами-то почему не строили тротуара?
— Я? — гм! Я? Мне... тоже неизвестно, что требуется... Я тоже ни ширины, ни высоты не знаю...
— Ну вот, то-то же!
— А все-таки, что-то не так у нас выходит.
Постановление есть, авторы его налицо, а тротуаров нет, и представления о них тоже нет...
— А на нет и суда нет!
Суда и не было...
Ограничились разговором и благополучно разошлись по домам...
Только...

11 октября, № 218.

52

Переживаемый нами сезон есть сезон всяческих собраний и... рубки капусты.
Мужья разговаривают, жены рубят и шинкуют.
Что продуктивнее?
Это пока еще трудно определить. Хотя ясно, что пока из разговоров мужей ничего путного не выходит, а деятельность жен уже дает плоды.
Но делать вывод еще рано.

Подождем, может быть, и у мужей выяснятся какие-либо реальные плоды их красноречия.

Хотя, положим, и теперь кое-что выясняется.

Единогласное сидение самарских мужей в ответ на вопросы почтенного Н. Д. Батюшкова, «облагать ли гильдии?» и «облагать ли страховые премии?» — вот вам плод любви купца к своему карману!

Усиленное поступление недоимок в городскую кассу — вот вам плод боязни быть не избранным в гласные!

Подходит выборный год, а одна из статей городового положения гласит, что недоимщики не могут быть избираемы в «отцы города».

Гг. гласные, не нарочно запоздавшие с платежами городских сборов, — торопятся уплатить их...

Пора.

Засим, на улицах ясно видны плоды забот домовладельцев о пеших обывателях.

Это плоды, бросающиеся в глаза, и не заметить их невозможно...

Попробуйте не заметить, вам сразу глаз выхлыстнет.

Я говорю о ветках тех несчастных чахлых деревьев, что торчат кое-где у панелей.

Они отросли, опускаясь вниз, и чуть только вы зазеваетесь, — хлещут вас по лицу...

Точно это сам домовладелец невидимой дланью внушает пешеходу уважение к себе...

— Смотри, мол, вишь ты, деревья я насадил. Для чего насадил? Для благоустройства. Для красы, значит...

Заслуживает внимания несчастие с почтенным Суровцевым в железнодорожной мастерской.

Суровцев сварен живьем, потом ему переломило позвоночник и, отправленный в больницу, он умер.

Интересны детали происшествия.

Монтер Шкурин исправлял арматуру котла, исправил, стал сдавать работу и, видя, что в ней есть некоторый изъян, вздумал скрыть это.

Где-то, — где совсем не следовало, — выходил пар.

Монтер догадался заткнуть это отверстие на время пробы починенного котла.

Заткнул и благополучно свою работу сдал.

Затем раньше, чем котел успел остыть, он послал восемнадцатилетнего Суровцева.

— Ступай-ка, вынь затычку-то!

Суровцев пошел и вынул...

Его кипятком и паром сбросило с высоты трех аршин в яму под котлом и изломало ему кости.

Кратко и просто.

До того просто, что не знаешь, как и отнестись к подобному факту гибели человека.

Кто виноват тут?

Обвинить ли в этом монтера, или того машиниста, который, принимая ремонтированный паровоз, осматривал его так тщательно, что не заметил промаха, послужившего гибелью для человека?

12 октября, № 219.

53

В пятницу совершилось событие, давно уже ожидавшееся Самарой.

Мы видели г. Нинину-Петипа в «Madame Сан-Жен».

Она играла Сан-Жен — без стеснения, и люди, знакомые с первоначальной профессией Катрин Юбше, остались довольны г-жой Нининой.

Нашли, что она была, как две капли воды, похожа.

Г. Грубин играл Наполеона, и Наполеон был велик.

То есть я хочу сказать, что Наполеон был великонек.

Маршал Лефевр был очень хорошим г. Сарматовым.

Г. Сарматов вообще очень оригинален, во всех ролях он старается быть прежде всего самим собой.

Он открывает некоторое тайное единство во всех драматических героях, и они у него все похожи друг на друга, как опойковые кимряцкие сапоги.

По программе, г. Зубов должен был играть Фуше, но по рассеянности, должно быть, он воспроизвел перед публикой роль Вурма из «Коварства и Любви».

Потом г. Кольцов изображал Савари.

Очень крупная фигура у г. Кольцова...

Потом некоторый придворный господин назвал Наполеона «Ваша светлость», но Наполеон ничего не сказал ему на это.

Он был вообще очень добродушен и очень мил, — качества, которые были более необходимы ему при жизни, чем теперь.

По-моему теперь совершенно не к чему наделять его тем, чего он никогда не имел.

Ничего уже не исправишь, смягчив характер Наполеона после его смерти.

Г. Стенин изображал Чейнера, человека в белом австрийском мундире, но был очень похож на мешок муки первого сорта с мельницы купца Красикова.

Г-жа Лодина была красива, — что не всякой женщине доступно.

На сцене было еще несколько артистов, которые говорили и двигались немного.

Из них самым лучшим был мамелюк Наполеона; он был адски черен, что очень оригинально, и почти ни слова не сказал, — что весьма умно.

В конце концов в театре было зело скучно, хотя пьеса такого ловкого драмодела, как Сарду, не должна бы наводить уныние.

15 октября, № 222.

54

Читатель «Самарской Газеты» уже ознакомился с печальной историей возникновения в городе Самаре нового города, существование которого открыто на днях и на днях же имеет быть уничтожено, как того требует порядок.

Самарская «гольтепа», теснимая нуждой, выселилась за пределы города, основалась на ямах и рытвинах, на клочке земли, сданной городом под добывание глины, затратила на возведение своих хижин и землянок все заработанные за лето гроши и думала, что вот все-таки на земле, хотя и в ямах для нее есть место...

Оказалось, что это самообольщение.

Нет места.

Невольным переселенцам вновь приходится переселяться.

Куда?

Вот вопрос, над которым следует задуматься господам выселителям...

Как во всяком происшествии чисто русского характера, в этой истории захвата городской земли людьми, выкинутыми городской жизнью за борт, — есть своя таинственная и туманная нелепица.

Вы посмотрите:

В течение одного месяца под самым носом у города, на маленьком клочке земли, возникают велением роковой нужды сто семьдесят три хибарки.

Если предположить, что каждая из них имеет объем две кубических сажени, — выходит, что на земле вдруг вырастает шишка, объемом почти в четыреста кубов.

Согласитесь, что такую солидную кучу дерева издалека видно.

Но город, в лице своих отцов, как будто ослеп.

Он ничего не видал.

Не видеть, как одна за другой возникло из земли в сказочно быстрый срок почти двести хижин, — это ли не слепота?

А теперь вот, очевидно случайно наткнулись, — новый город нашли и жителей его предполагают разорить.

За самоуправство, дескать...

Неужели же в самом деле никто так и не видал, как возник городок под городом?

Не верится мне в это.

Наверное есть в Самаре некто, и может быть не один некто, видевший, как захватывается городская земля, и понимавший незаконность этого.

Может быть, он по свойственной русскому человеку привычке, понимая суть происходящего, размышлял про себя:

— Ишь ты, строят! Чудаки... Сказать им, что незаконно, али не говорить? Скажу... А то, наплевать, не буду. Авось их не прогонят. Как-нибудь и того... Оснуются, может быть. Авось...

А другой некто был, может быть, покультурнее первого.

Он, видя возникновение лачуг, соображал:

— Гм! Незаконно это они строятся. Н-да... А какую я из сего их поступка для себя могу пользу извлечь?

И, сообразив, извлекал пользу для себя, не знаю, в какой форме эта польза утолщала его карман, но думаю, что в самой обыкновенной — в форме кредитных билетов не особенно крупного достоинства.

И снова возвращаюсь к людям, которым будет приказано снести их постройки, возведенные на последние гроши.

Этих людей разорят. За что?

За самовольный захват земли?

А что же это за городские хозяева, которые не видят, как у них под носом взято сто семьдесят три куска этой земли?

Принято, перед тем как строиться, предъявлять в соответствующее учреждение разрешение на постройку.

Предъявлялись таковые?

Город теряет землю около Молоканского сада, терял ее на «Кавказе», ему пора бы научиться зорко оберегать свое имущество, — у него есть опыт в деле потерь.

Или, обремененный заботами о благоустройстве граждан, он сам уже растерялся?

Смешон и странен этот «недосмотр» города, за который будут расплачиваться сто семьдесят три семьи бедняков.

Может быть, город найдет средства смягчить ожидающую их участь?

18 октября, № 224.

55

Как ни хороша погода, но веяние зимы на всем и всюду заметно...

Меховые магазины прихорашиваются, выставляя товар лицом.

Жены заводят с мужьями теплые разговоры о модном зимнем костюме.

Все сжимается в предчувствии холодов.

И разные самарские теплые ребята, пользуясь благоприятными для них, но роковыми для других условиями времени, тоже сжимаются.

Не только сами сжимаются, но и других жмут.

Так, например, местные владельцы вальцовых мельниц, несмотря на то, что теперь самое бойкое время для их заведений, и не принимая в расчет того, что они завалены работой — убавили своим рабочим жалованье на трешницу в месяц...

В сентябре платили 12 р., а теперь платят 9 р.

Расчет верный.

В сентябре еще навигация не закрывалась и рабочий, чувствуя, что его жмут, мог уйти с мельницы и поехать искать «где лучше».

Теперь не уйдет, шалишь!

Пароходов ходит мало, да и те, которые ходят, берут дорого.

Значит — хочешь-не хочешь — работай со скидкой 25%.

Рабочие, конечно, будут работать, — ничего не поделаешь.

Осень, холодно...

На Татьянке, по летнему положению, теперь жить нельзя, и как никак, а нужно работать на купца.

Купец это понимает.

И, подождав, когда будет еще холоднее, он еще трешку скинет.

Он не только просто хозяин, но и хозяин всего современного экономического положения.

И он, прекрасно понимая это, стремглав летит к своему идеалу, к такому положению вещей, при котором на его милость работали бы совсем даром.

Что ж? С богом!

Сведущие люди говорят, что его успехи подвигают к нему его гибель.

На днях редакция и контора «Самарской Газеты» выдержала целый натиск хронически голодающих людей, людей, чающих куска хлеба и ради него готовых все делать и всюду ехать.

Это было прямо-таки нашествие.

Сначала являлись по одному.

Приходит человек, пытливо озирается и вожделеющим тоном спрашивает:

— У вас было напечатано, что нанимают людей на сибирскую железную дорогу. Где остановился агент по приему?

— В Харькове...

— Не знаю такой гостиницы, где это она?

— Это не гостиница, а губернский город на юге.

— Так... значит это не в Самаре?

И лицо спрашивающего покрывается тенью разочарования.

— Ну, разумеется, не в Самаре, коли в Харькове...

— Н-да... А зачем же вы это печатали?

— Что?

— Да что принимают...

— Ну, так что?

— Так, только людей мутите.

И он, несколько подавленный открытием, убившим его надежды, уходит.

За ним другой.

— У вас было напечатано, что нанимают...

— Это в Харькове...

— В Харькове? Ишь... Вам бы не печатать ин...

За ним еще двое поют дуэтом.

— У вас было напечатано...

— Идите в Харьков, в Харьков.

— В Харьков?

— Да, да, и всем говорите, что нанимают не здесь.

— Н-да... Прощавайте...

Проходят пять минут без посетителей.

Но вот отворяется дверь и снова звучит вожделеющий голос.

— У вас было...

— Харьков!

— ... напечатано...

— В Харькове! — орете вы, потому что вам мешают.

Вы уже выпили два стакана холодной воды и приняли шестьдесят капель валерьянки.

Тем не менее вам хочется принять еще и кали, дабы гарантировать себя от окончательного разрушения нервной системы.

— У вас... — раздается из-за двери.

Вы вырываете клок волос у себя из головы и, скрежеща зубами, думаете, скоро ли посетят вас все самарцы, чающие мест?

— У в...

Вы приходите в холодное бешенство и внутренно предаете себя анафеме за то, что позволили себе возбудить путем печати человеческие надежды.

Вы даете себе клятвенное обещание молчать, всегда могильно молчать о требованиях на человека, которые заявляет кто-то где-то.

Вы достаточно наказаны.

Впредь вы не скажете, что на земле есть свободные места для людей.

19 октября, № 225.

56

Есть на свете довольно вульгарная, но очень верная поговорка: «У всякого свой вкус, кто любит «арбуз», иные же предпочитают «свиной хрящик».

Я вспомнил эту поговорку, когда посмотрел, что читают канцеляристы.

Их литературный вкус отдает полное предпочтение «свиному хрящику».

Так, например: толстущие, скучнейшие, якобы исторические романы Георга Самарова, написанные тяжеловесным языком до тошноты точного немца и далеко уступающие, как со стороны стиля, так и со стороны содержания, творениям нашего графа Салиаса, взяты 80 раз в течение года, — каждая книга 10 раз.

Чем так полюбился канцеляристам Георг Самаров?

Семь книжек другого Георга — Георга Борна, бездарного подражателя Террайля, — взяты 42 раза.

И таким образом Борн, с точки зрения канцеляриста, так же интересен, как и Золя, 10 книг которого взяты 60 раз, и более интересен, чем Шпильгаген, 12 книг которого взяты 65 раз.

Бессмертные у нас, но давно уже забытые на родине Монтепен и Габорио читаются более, чем Ауэрбах, Жорж-Занд.

Фламмарион, туманный мистик, бесшабашный фантазер и «любитель риторики скучной», — и сантиментальный подражатель Жорж-Занд, Марлитт вместе с Дюма-сыном пользуются одинаковым почетом с Самаровым, — их тоже читают по 10 раз.

Компания!

Но все-таки всем им предпочитается и более всех читается Гюго, одна книжка которого взята в году 17 раз!

Вторым по качеству, с точки зрения канцеляристов, следует

Вернер, хотя тоже романтик, но уже совсем в другом духе: скучный, сладкоречивый и любитель добродетельных героев, добродетельных во что бы то ни стало и против всякой логики.

Бальзак, Флобер, Диккенс, Мопассан, Бурже, Элиот, Мольер, Бомарше и много других величин европейской литературы пока еще не существуют для гг. канцеляристов...

Но они уже обзавелись Сю, Эберсом, Купером, Эмаром, Онэ и с удовольствием их почитывают.

Вообще отдел иностранных писателей в клубе канцеляристов печально беден, а пользование им до слез смешно.

Конечно, библиотека еще молода, но, приобретая книги, будет ли она помнить имена великих писателей?

И новые книги исправят ли литературный вкус читателя?

Вопрос туманный и решение его в положительную сторону сомнительно...

Делу развития литературного вкуса у средней читающей публики могло бы сильно помочь устройство популярных лекций по истории литературы... Но это, конечно, лишь «пленной мысли раздраженье».

Ибо, кто тот человек, который взялся бы устроить такие в высокой степени полезные лекции, и где то общество, которое откликнулось бы на его начинание.

Ах! На набережной города Самары следовало бы устроить такую же вывеску, как у жигулевского завода, и на этой вывеске написать:

«Смертный, входящий в Самару с надеждой в ней
встретить культуру,
Вспять возвратися, зане город сей груб и убог.
Ценят здесь только скотов, знают цены на сало и шкуру,
Но не умеют ценить к высшему в жизни дорог».

Посмотрим на русскую литературу.

В ней первой величиной является...

Карнович!

Его читали 11 раз.

Он тоже исторический романист и не знаю, кому из двоих — ему или Самарову, следует вручить пальму первенства за своеобразное понимание истории и за изложение скучным языком исторических анекдотов.

За Карновичем следует: Мордовцев, Баранцевич, Мещерский князь-гражданин и Станюкович.

Все они одинаково интересны и прочитаны по десяти раз.

Есть еще очень хороший писатель — крещеный еврей и юдофоб Сергей Сергеевич Окрейц — читан 9 раз.

Поучительно и занимательно...

Лейкина читали 8 раз.

Еще бы, это такой смешной писатель!

Смирнова, Маркевич, Назарьева — две дамы в компании ярого консерватора, читаны по 9 раз.

Каждый том Достоевского взят по разику.

Тургенева 4 раза.
А Неистович-Врольченко 5!
Г. Успенский взят 5 раз.
А Ясинский 8!
8 книг Некрасова взяты 11 раз.
Каждую, значит, читало полтора канцеляриста.
Чехова читали в год пять раз.
Загоскина же и Авсеенка — по 8.
Будет!
Ясно — крупные русские писатели не в чести у средних русских читателей.

В Самаре есть некий сообразительный человек по фамилии Абаимов, кажется.
Он любит развлечения и предпочитает пользоваться ими бесплатно.
Делает это он так:
Является, например, в цирк Боровского, идет в кассу и независимо раскланивается.
— Здравствуйте! Я — Абаимов, сотрудник «Самарской Газеты». Вот моя рецензия о вашем цирке.
И дает вырезку из хроники «Самарской Газеты».
— Надеюсь, мне, как представителю прессы, вы дадите билет?
Ему дают билет и он бесплатно наслаждается...
Дешево и приятно.
Вот господин, который умеет пользоваться жизнью.
Но я считаю нужным сказать несколько слов по адресу гг. самарских торговцев.
Милостивые государи! Если к вам явится господин Абаимов и попросит у вас фунт говядины, осьмушку чаю, десяток папирос или еще чего в этом роде, — поступите с ним, как вам будет угодно, и знайте, что муж сей к «Самарской Газете» никакого отношения не имеет, в оной не сотрудничает и никогда сотрудничать не будет.
Так и знайте...

20 октября, № 226.

57

С вашего позволения, читатель, я в городской управе...
12 часов дня.
Сидят несколько членов и развлекаются обсуждением наиболее насущных вопросов бытия.
— Кузьмич! — озабоченно обращается член к члену. — Вы ведь знаток по части кулинарии и гастрономии?
Кузьмич скромно улыбается и изображает на своей физиономии, à la сыр-честер, полную готовность дать все необходимые управе гастрономические сведения.
— Скажите, дорогой, сколько из фунта крупы выйдет каши?
Сведущий в деле человек глубокомысленно возводит очи в потолок и, приставив перст к челу, соображает.

Общее молчание, полное глубокого внимания и почтения к члену, высиживающему ответ на премудрый вопрос о варке каши.

— Фунта три, четыре... — решает он, наконец.

Предоставляю хозяйкам судить, насколько сей член близок к истине.

Я не компетентен в этом деле, хотя всегда готов заварить кашу.

Читатель! Не думайте, что я говорю о каше острого словца ради и что я имею в виду кашу нашего городского хозяйства.

Ей-богу, нет. Это действительно происходивший и мной подслушанный разговор, в котором, я знаю, нет ничего предосудительного...

Это разговор специалистов об излюбленном ими деле — и только.

Предполагается наверное какая ни то поездка с целью что-нибудь осмотреть, чего ни то выпить и немножко закусить.

Погода еще так хороша и для легоньких хозяйственных прогулок вполне благоприятна.

Вот наши члены и обсуждают заранее меню.

Упрекнем ли мы их за это?

Конечно, нет...

Господи боже мой! Каждый в праве говорить о том, что его всего более интересует и в чем он видит смысл своей жизни и деятельности.

Управа видит все это в каше и всюду старается сотворить кашу.

Это ее самоуправское дело.

И мы с вами, читатель, решительно тут ни при чем.

Не так ли?

Потом гг. члены управы почуяли «скоропадента»...

Так как он был один и в гостях у них, а их много и они у себя дома, то само собой разумеется, они не преминули тотчас же воспользоваться выгодами своего положения.

А посему они стали издеваться и посмеиваться над ним, лягая местную прессу и полагая, что они делают это остроумно, много смеялись сами над собой жирным смехом людей, которым живется покойно, весело и сытно, и которые выбрали своей специальностью варку каши в самых разнообразных формах и видах.

Посмеялись в свое удовольствие над «скоропадентом» — до поры, пока он не ушел, и когда он ушел, тоже продолжали смеяться и разговаривать о каше.

Милые весельчаки!

Ужасно я люблю веселых людей.

Но хотя я уже не присутствовал при продолжении их разговора, тем не менее мне досконально известно, о чем они не говорили.

Они не говорили о каше, которую устроил на Троицком базаре арендатор городских весов, завалив доступ к весам каким-то своим товаром...

И ни словом не обмолвились о безобразиях, творящихся на конке, точно всем поперек горла встали бесплатные жетоны на вечную езду по городу, в скрипучих вагонах, на драных лошадях, на лоша-

дях, которые поставляются конке разными родными управе человечками.

Они ни разу не вспомнили о каменной стене набережной, которую день за днем размывает вонючая навозная эссенция, и на ум им не пришла мысль о том, что в благоустроенных городах не принято и не следует устраивать набережных из навоза, как они делают это между Предтеченской и Алексеевской улицами.

И они совершенно забыли поговорить об улицах, которые давным давно никто не метет для того, чтоб на них не скоплялось гор пыли.

Раньше улицы мели, но это оказалось неудобным, во-первых, за это нужно было платить, во-вторых, получались такие кучи пыли, что ветер не в силах был убирать их, разнося по городу.

Ныне нашли, что для облегчения работы ветра, — улиц не следует мести, пыль, не сметенная в кучи, скорее разносится по городу.

Сообразительно! Экономично!

Не говорилось также в управе ни слова о том, как это так вышло, что она, обязанная знать все, что делается с городским имуществом, проморгала 173 самовольных захвата городской земли и ныне по своему же недосмотру вынуждена разорить 173 семьи?

И не было сказано ни слова об аналогичном деле Грачева, начатом 25-го августа 1885 г., по которому город не «имел хождения» десять лет и пять месяцев, вследствие чего за истечением земской давности дело это городом проиграно, самовольно захваченная земля остается за Грачевым, а город в назидание за деятельность, столь быструю, платит половину судебных издержек.

Не говорилось и о классических порядках управской бухгалтерии, рассылающей окладные листы, по которым пошлины давно уже уплачены.

Говорилось только о каше из крупы; о каше в городском хозяйстве — ничего не было сказано, я знаю это...

Говорилось о «скоропадентах», которые, как календари, «все врут», по мнению управы.

Но здесь, почтенная управа, едва ли ты права, потому что ты сердишься на местную прессу. Кто прав — тот покоен.

Он не будет пытаться доехать прессу различными подпольными и окольными путями, ему нет надобности тайно свирепствовать против нее.

Истинные деятели и граждане идут нога в ногу с прессой, прислушиваются к ней, и ее ошибки, если они есть у нее, злостно в фальшь ей не ставят.

Истинный работник общества никогда не может итти против печатной и публичной критики его действий.

Он слушает и учится, если чувствует, что идет ложным путем, или возражает, если чувствует себя правым.

Пресса не враг самоуправления, а всегда верный друг его.

Пора бы органам самоуправления сознать это.

Давно пора...

21 октября, № 227.

Жестокая Анна Яковлевна!

До чего довели вы этого бедного человека!

Не кусок кирпича послал он вам, Анна Яковлевна, — это он послал вам сердце свое, сердце свое окаменевшее, превратившееся в кирпич от тоски по вашим прекрасным глазам, бесчувственная вы женщина, Анна Яковлевна!

Ах, Анна Яковлевна!

Чего ради прислан на ваше имя по почте кирпич, оцененный подателем в три рубля?

Несомненно, Анна Яковлевна, — посылка вам кирпича имела символическое значение.

О, Анна Яковлевна!

Я уверен, что присланный на ваше имя кирпич есть не что иное, как сердце вашего поклонника, сердце вашего поклонника, окаменевшее от любви к вам и от дум о вас.

Анна Яковлевна!

Идите в почтово-телеграфную контору и получите там сердце вашего поклонника, — это вещь, как не имеющая никакой ценности, будет уничтожена, если вы не возьмете ее.

Возьмите это бедное сердце, — из него можно сделать пресспапье.

Помимо кирпича при разборке местным почтамтом недоставленной адресатам корреспонденции, — были открыты и другие символические посылки.

Так кто-то ценной посылкой прислал кому-то в Самару «изорванные дамские туфли».

Что сие значит?

Назначение дамских туфель почти таково же, как и дамских башмаков.

Исходя из такого соображения, что можно предположить?

Можно предположить, что это некая супруга, посылая свои туфли в Самару, наверное, своему супругу, — сим, так сказать, знаменует, что она отказывается от дальнейших с ним сношений и вот передает ему атрибуты своей власти над ним, — сиречь, хочет сказать, что ей настолько уже надоело держать его под башмаком, что вот она даже и самые башмаки ему возвращает.

Положим, в данном случае, — мы видим туфли, но это ничего не значит.

Разве на свете нет дам, обладающих массой добродетелей и достоинств, и в то же время не имеющих башмаков?

Кто-то кому-то прислал книгу «Золотой Бисер», позабыв пословицу «не мечите бисера».

Бисер, несмотря на то, что он золотой, остался не взятым.

Одной из самарских дам прислан «старый пиджак».

Зачем? Какой смысл имеет эта посылка?

Вообще вскрытие недоставленных адресатам посылок позволяет сказать так:

По вскрытии обнаружились ясные признаки насилия над здравым смыслом и издевательств, учиненных разными людьми друг над другом.

---

375 самарских человеков задались, очевидно из мести, целью — разорить «Кузьмича».

Каждый из них выписал себе Эфедры и никто ее не взял.

Бедняга Кузьмич!

И его подкузьмили.

25 октября, № 229.

59

Некоторые из гг. самарских гласных нашли точный критериум, определяющий степень энергии своей деятельности.

Этот критериум — расстояние, отделяющее гласного от места его действия.

Так, выбирая членов богадельного комитета, руководствовались расстоянием местожительства данного лица от поля его будущей деятельности.

Близко к богадельне живет г. Карпов, — ага! быть ему, г. Карпову, деятелем по части надзора за больными.

Следует предположить, что в члены всех будущих комиссий дума будет выбирать, руководствуясь этим же соображением.

А теперь по-моему следует всех избранных членов перебрать и снова выбрать.

В собачью комиссию назначить лиц, обитающих в улицах, более других заселенных собаками.

В комиссию по освещению города — лиц, живущих в самых темных улицах.

В санитарную — тех, что живут в наигрязнейших углах г. Самары.

Следовало бы даже обязать членов каждой данной комиссии жить в самом центре деятельности, возложенной на них.

Например, выселить в немощеные улицы тех, чья миссия — замощение улиц.

В училищную комиссию выбирать лиц, только имеющих недвижимую собственность в виде зданий, пригодных для помещения училищ.

Это сразу, я уверен, увеличило бы количество школ в Самаре.

Засим следует составить комиссию для рассмотрения расходов управы на канцелярию и в председатели оной назначить г. Ф.

Вообще нужно «соображаться» с тем, кто к чему наиболее способен, кто где живет, кто что любит, кто кому родня, у кого какие привычки и так далее.

Кажется, только при таких «соображениях» и возможно преуспеяние в наших городских делах.

26 октября, № 230.

Мне прислал письмо «Боярин Орша».

Это боярин не из лермонтовской поэмы, а из Z-ского уезда нашей почтенной губернии.

Боярин недоволен порядками земской почты, и если верить хотя половине того, что он сообщает, у боярина есть основательные причины для недовольства.

Например:

Пишет боярин своему приятелю, живущему в сорока верстах от него, письмо.

— «Милостивый государь! дорогой друг мой!

Немедленно вышли мне на хутор 12 плугов Сакса.

Твой боярин Орша».

Отправив письмо, боярин и сам отправился из уезда.

Приехал в Берлин и, вспомнив о Самаре, запросил приятеля телеграммой:

— Плуги прислал?

Ответа нет.

Боярин переехал в Париж, снова спросил:

— Плуги ты мне прислал?

Получился ответ:

— Какие?..

Боярин спросил из Бадена:

— Плуги Сакса?

И в Ливерпуле получил ответ из Самары:

— Ничего не понимаю. Когда ты просил плуги?

Боярин из Афин объяснил:

— Плуги Сакса, 12, просил письмом тогда-то...

В Бомбее он получил ответ приятеля:

— Никакого письма не получал. Плугов не посылал, полагаю, что теперь послать уже поздно.

Боярин, который в это время смотрел в Толедо бой быков, грустно отвечал по телеграфу:

— Да, поздно. Чорт бы взял наши почтовые порядки. Больше я не ворочусь в Россию.

И он остался смотреть бой быков в Испании, а после этого поехал в Египет, где и был с удовольствием съеден крокодилами.

Бедный боярин! Ужасные почтовые порядки!

Рассказав о том, что я вам выше передал, боярин продолжает рассказывать о порядках уездной земской почты вот что еще:

Когда вы встретите по дороге почтового рассыльного, вы никак не догадаетесь, что это почтовый рассыльный, а не торговец разной разностью.

В тележке у него всегда помещается цыбик чаю, бочка сахару, корзина живых гусей, цепные собаки, корова, тысяча кирпичей, несколько штук балочных бревен, жерди для стропил и прочие нужные по хозяйству вещи.

В руках он, рассыльный, держит картонки с принадлежностями

дамского туалета, несколько штук модных материй, четвертные бутыли с духами Пино и Аткинсона, горшки с комнатными цветами, несколько штук ламп, флаконы с соей и пикулями и прочие необходимые в семейном быту вещи.

В карманах рассыльного земской почты напиханы замки, гаарлемские луковицы тюльпанов и гиацинтов, наперстки, резиновые соски, погремушки для детей, несколько сотен коклюшек для плетения кружев и тому подобные штуки.

И все это дано рассыльному земской почты гг. членами земской управы для раздачи своим женам, тещам, детям, братьям, сестрам и прочим родственникам даже до седьмого колена.

Рассыльный, говорит боярин Орша, развозя по назначению все эти предметы, совершенно забывает о своем назначении.

И результатом этой забывчивости объясняется тот факт, что письмо, посланное по земской почте на расстояние в сорок верст, идет до адресата столько же времени, сколько нужно его порядочному человеку для того, чтобы съездить посмотреть настоящую Европу.

А иногда — письмо вовсе никуда не идет.

Его напишут, сдадут на почту, — и на этом пункте бытие его прекращается.

Так говорит боярин Орша.

И вот что еще говорит Орша.

Некий член управы поручил некоему почтовому рассыльному восемь штук гусей в одной корзине и, поручив ему сих птиц, сказал так:

— Видишь ли ты эту птицу? Ну то-то! Свези ее жене моей и отдай ей, и скажи ей, что это я посылаю ей гусей.

Рассыльный поехал отвозить гусей по назначению и кстати, по дороге, захватил с собой земскую почту.

Приехавши в некоторое волостное правление, оный исполнительный рассыльный стал тех гусей кормить и поить, но три гуся, по легкомыслию своему, из корзины выскочили и, ударившись в бега, бесследно пропали.

Боясь возмездия, догадливый рассыльный захотел пополнить разбег гусей, каковое пополнение до открытия факта растраты,— как все это знают, — практикуется более, чем часто.

Но хотя оный рассыльный и был догадлив, но он не был сообразителен.

По сей причине в корзину к пятку живых гусей он засовал трех битых и даже ощипанных, в каковом виде и вручил корзину с птицей почтенной супруге достойного члена управы, которая и вознаградила за труды честного рассыльного, давши ему «на чай» пять копеек серебром.

Потом же, когда сей самый рассыльный встретился с хозяином гусей, посылавшим оных птиц своей супруге, — хозяин гусей, как член управы, учинил рассыльному членовредительство, выбив ему три зуба спереди и два в верхней левой челюсти, а также расквасив ему нос.

Вот что и многое еще в таковом же духе пишет мне благородный боярин, именовавший себя Оршей.

Заочно веря в беспристрастие и благородство его души, предаю речи его опубликованию, на предмет публичного осуждения столь непорядочных порядков земской почты.

27 октября, № 231.

61

В настоящее время, когда в Самаре развиваются различные заразные болезни, вполне уместно отметить нашу неряшливость и неопрятность, хотя едва ли разговор на эту тему заставит городскую управу почиститься и помыться.

Ей уже в привычку слышать указания на ее халатность, она столько их слышала, что более не интересуется ими и продолжает пребывать глухой, слепой и немой в ответ на скорбный вопль обывателя, утопающего в грязи. Но все-таки считаю нужным набросать в поучение ей несколько антисанитарных пейзажей.

Вот, например, городской мясной двор, весь в аромате разлагающегося мяса, весь заваленный различными отбросами, полный жидкой, вонючей грязи, Авгиевы конюшни, которые, наверное, скоро уже придется очищать по способу Геркулеса.

Вот «съестной ряд», сплошь засоренный органическими отбросами, аромат гниения которых заглушается только... близостью выгребной ямы, до краев наполненной разной разлагающейся гадостью, создающей прекрасную и удобнейшую среду для развития микроорганизмов, порождающих инфекционные заболевания.

Вот самарские торговцы мясом, подбирающие с грязного пола своих лавок крошки сала и мяса и пудами продающие их с червем и с запахом на предмет потребления беднейшему населению Самары.

Вот 110 квартал 3-й части, сплошь зараженный всеми формами инфекции.

Но всего не перечислишь. Да едва ли это и нужно. Самарские обыватели личным опытом хорошо осведомлены о количестве грязи в своем городе.

Какие же меры для «предупреждения и пресечения» всех этих прелестей принимает управа?

Устраивает навозную набережную!..

Больше пока ничего неизвестно.

Но известно, что в зараженный дом Гавохина, в 3-й части, вызванный врачом Вейманом для производства дезинфекции санитарный врач не явился.

Почему?

Едва ли тут виновен санитарный врач.

Наверное, он завален работой, и не имея времени тотчас же явиться на место нужды в нем, позднее — забыл о приглашении г. Вейман.

Не мешало бы управе сделать надлежащее представление санитарной комиссии о необходимости более строгого надзора за ги-

гиеной в городе, и не допускать отравления почвы и воздуха, производимого у нас так свободно и в таких широких размерах.

«Науки юношей питают,
Учителя нам говорят,
Так пусть они нам не читают,
А суп из алгебры варят».

Это четверостишие из одной неуклюжей семинарской песни пришло мне на ум, когда я прочитал сообщение о том, как ученики местной фельдшерской школы были оставлены «без обеда» и заперты на замок.

«Науки якобы отраду
Маститым старцам подают.
Но за науки нам в отраду
Обедать старцы не дают».

Не знаю, пели ли эту песню запертые на замок фельдшера и фельдшерицы, запертые за то, что один из преподавателей опоздал явиться в классы на урок; но они, во всяком случае, имели основание и право отнестись фривольно и скептически к этой строгости преподавания наук, к строгости, отрицающей в них, людях уже взрослых, их самолюбие и позволяющей маститым старцам смотреть на них, как на детей.

Едва ли такая, хотя и юмористическая, но все-таки карательная мера, может иметь какое-либо педагогическое значение, но что она может подорвать престиж преподавателя в глазах его учеников, в этом едва ли можно сомневаться.

В заметке в № 229 «Самарской Газеты» автор заметки справедливо полагает, что без обеда следовало оставить преподавателя, во-время не явившегося на свои уроки, а не учеников, которые, устав дожидаться его, разошлись по домам обедать.

По-моему — это справедливое предположение. Это имело бы за собой более воспитательное значение, чем то, что сделано.

Заприте на замок и оставьте без обеда невнимательного к ученикам преподавателя, — и вы увидите, как это благотворно подействует на учеников.

Они сознают себя оцененными, увидят, что за ними признается их «я», поймут, что к ним относятся серьезно, — и отсюда сами они отнесутся серьезнее к своему положению и к тем требованиям, которые к ним предъявляются.

Ей-богу, нужно бы хоть раз, в виде опыта, оставить без обеда какого ни то провинившегося пред здравым смыслом педагога.

Это было бы преинтересно!

Не правда ли?

28 октября, № 232.

Знаете ли вы, читатель, что в Самаре есть «Корневильский рынок»?

Настоящий «Корневильский рынок», на котором всегда к вашим услугам:

Есть блондинки
И брюнетки...

Предлагающие вам взять их в качестве нянек, кухарок, горничных, по цене от трех рублей за месяц каторжной работы.

Предлагая свои услуги, они не поют, как в оперетке:

«Regardez par ci,
Regardez par la»;[1]

а просто говорят:

— Барин! не нужно ли вам какую-нибудь рабочую женщину?

Или:

— Барыня! не требуется ли вам кого-нибудь для услужения?

По причине их простоты и жалобного тона их обращения, по причине полного отсутствия в их словах какой-нибудь гривуазности и в их поведении опереточного жанра, на них никто не обращает внимания.

И они уныло высиживают по двенадцать часов в сутки на холоде и под дождем в чаянии спроса на их руки.

Место их упорного сидения — угол Алексеевской площади и Дворянской улицы, на тротуаре против дома Бахаревой.

Ранее они сидели в сквере, а теперь облюбовали себе, как сборный пункт, тротуар Бахаревой и ныне с полным удобством вымораживают из себя надежды на работу и на кусок хлеба.

Их спрыскивает дождь, посыпает снег, продувает ветер до мозга костей, но они все-таки сидят и ждут...

Чем чорт не шутит?

Среди них создалась легенда: что когда-то одна из них чуть-чуть не попала кухаркой в хороший богатый дом и даже наверное, можно сказать, попала бы, но простудилась во время сидения на ветре, под открытым небом, схватила воспаление легких и умерла ранее, чем успела окончательно переговорить с нанимателем относительно условия найма.

В эту легенду верят и ждут подтверждения ее реальным фактом путем найма на службу одной из них, на глазах всех ее товарок.

Они коченеют от холода.

Они немножко не деликатны от голода.

С шести часов утра они идут дрогнуть на холоде и ветре до шести вечера, и все безуспешно: на рынке труда перепроизводство рабочих рук, и никто из нанимателей и работодателей не хочет взять одну из этих замерзающих женщин себе в услужение.

И они сидят день за днем, сидят и ждут работы, простужаясь, заболевая, уродуя себя.

[1] *Перевод:* «Смотрите здесь,
Смотрите там».

Мимо их ходят, ездят, но все это мимо их.

А они мокнут на дожде и удивляются:

— Почему это, товарки, не нанимают нас куда-нибудь? а? — спрашивают они друг друга.

Никто не знает почему.

Добрейшая управа!

Твори добрые дела!

Пора!

Дни выборов близки, — чем помянут тебя преемники после того, как большинство твоих членов помрет гражданской смертью, убитые черными шарами?

Прикрой крышей «Корневильский рынок» на Алексеевской площади!

Дай где-нибудь приют корневильским брюнеткам и блондинкам, ничем не защищенным от капризов самарской осени!

Осени крышей кухарок, нянек, мамок, горничных и других особ из категории «услужающих людей»!

Сунь их куда-нибудь в уголок!

29 октября. № 233.

63

Поговорим о Троицком базаре.

Вот, я вам скажу, злачное место для некоторых из его аборигенов!

Один из главнейших нервов торгового организма Самары, этот великий, обильный продуктами потребления и беспорядочный базар функционирует совершенно по-ветхозаветному.

Не говоря о его тесноте, о грязи, переполняющей его, и о всем крайне неприглядном внешнем виде, я рекомендую его внутренние распорядки, допотопные методы и приемы торговли, прочно установленные на принципе: «не обманешь — не продашь».

Как-то раз, недавно, проходя по его «рядам», я обратил внимание на некоторые магазины.

Меня заинтриговали их физиономии: стекла дверей и окон этих магазинов почему-то заклеены бумагой или завешены каким-нибудь дешевеньким ситчиком и внутри их царит полумрак.

Я посмотрел и подумал:

— Зачем бы это устроено? Кому сей полумрак нужен и приятен, — продавцу или покупателю? Или на Троицком базаре между прочим торгуют и таким товаром, который боится света?

Чем же, наконец, торгуют в этих подозрительных темных лавочках?

Я справился.

Оказалось — торгуют льном, кожевенным товаром и овчинами.

Поскольку я знаю, солнечные лучи не могут дурно влиять на эти вещи.

Ну, может быть, кожа боится загара...

Но лен?

Он выцветает от солнца, что ли?
И овчины?
Их коробит?
Или они меняют цвет под влиянием солнечного света?
Я спросил кое-кого из прохожих.
— Почему это?
Мне отвечали:
— Не знаем мы. Дело хозяйское.
Я спросил хозяев:
— Зачем вы, господа, заклеиваете и занавешиваете окна и двери магазинов?
— А у нас глаза болят. Зрение у нас, изволите видеть, слабое-с!
— Это от пыли, должно быть?
— Именно-с! От нее, от самой-с! Это вы изволили в самую точку попасть!
— Бедные! — пожалел я торговцев.
И, поболев душой о том, как много труда нужно человеку для своего пропитания, успокоенный насчет назначения и применения тьмы в торговле, ушел домой.

Но, увы!
Оказывается, что эта тьма имеет совершенно иное применение и совсем не для сохранения глаз, а для отвода оных устроена.
Постиг я тайну так:
Приходят ко мне некие человеки и приносят с собой нечто ни на что не похожее.
— Извольте посмотреть!
Я посмотрел.
— Это по-вашему что?
Я не решился сказать.
— Н-не знаю... Вижу, что это нечто реальное.
— Нет-с извините, это идеальное плутовство.
— Почему же!
— А потому что это овчина.
— Овчина?! А вы почему же это знаете?
— Нам за овчину это продали!
— Должно быть, очень редкая овчина?
— Еще бы не редкая! Весь волос молью съеден, а дыр сколько хошь.
Шерсти, действительно, на этой штуке, которую мои посетители назвали овчиной, было шерстинок с двадцать, не более.
— Г-м! А на что идет такая овчина? Если это действительно овчина.
— Говорим тебе, она самая. Мы было для тулупа покупали, но из нее и пары голиц не сошьешь.
— Да вы зачем такую брали?
— Эка! В лавке-то темно, окна, двери занавешены. Суют тебе в руки вещь, говорят: хороша! На улицу тащить смотреть, не велят. Ну, и того... покупаем кожаные решета вместо овчин-то. Потому темно, говорят, в лавке-то.

— Н-да, вот оно что! — подумал я.

Так, ссылаясь на слабость своего зрения, гг. торговцы Троицкого базара отвели мне глаза и провели меня за нос.

Затем на Троицком базаре есть щепные ряды.

В оных рядах прежде всего поражает обилие собак.

Я никого не ругаю, поверьте мне.

Я говорю о всамделишных собаках, на четырех ногах и с хвостами.

Их там так много, что они рискуют перемереть с голода, если с ними ничего не сделают.

И они уже умирают.

Им необходимо дать средства к существованию, по моему мнению.

А то их трупы, валяясь в разных укромных местах, хотя и не часто попадаются на глаза, но гниют и заражают воздух.

Положим, теперь холодно, но тем не менее нужно позаботиться о собаках.

Они иногда с голода ведут себя крайне непорядочно и даже жестоко.

Так, например, 28 октября они обгрызли ноги какому-то татарчонку, ныне пребывающему в больнице.

Они собирались целиком съесть татарчонка, уверяю вас.

И это далеко не единственный случай.

Голод раздражает даже человека, а они собаки.

По сей причине, если управа не примет каких-либо мер к устройству их быта или не войдет с ними в соглашение о необходимости для них избрать более культурные способы питания, эти собаки будут питаться и взрослыми инородцами.

А когда пожрут всех инородцев, необходимо должны будут кушать и благополучных россиян.

В виду такой печальной, логической необходимости следует обратить внимание на поведение собак.

Нужно серьезней заняться ими, да.

Внушить им, что в губернском городе, имеющем телефон, конку и другие прочие культурные штуковины, есть живых людей среди белого дня на улице неприлично, невозможно, постыдно, недостойно порядочных собак.

Возмутительно, наконец!

Ведь мы накануне XX века, должны это они, собаки, понимать или нет?!

31 октября, № 234.

64

Еще нечто о фельдшерах и фельдшерицах, оставленных «без обеда», несмотря на их великовозрастность.

Оказывается, что эти женихи и невесты ушли из-под замка, сломав его, ушли, не желая изображать из себя малых ребят, наказанных за шалости.

Поступок прежде всего предусмотрительный.

Досиди они смирненько срок ареста до конца, и в педагогических приемах фельдшерской школы создался бы весьма неблагоприятный для учеников прецедент.

В следующий раз, пожалуй, мне пришлось бы описывать, как шестнадцатилетняя девица была поставлена «в угол на час».

Или паренек, лет девятнадцати, стоял на коленях не пред девицей и по собственному желанию, а по приказанию преподавателя и пред его суровым ликом.

И весьма возможно, что барышня, лет девятнадцати, была бы поставлена на «горох» или «на дресву».

Теперь, позволяю себе надеяться, ничто подобное невозможно.

Тем более, что, несмотря на ослушание, бегство из-под ареста, взлом замка, преподаватель г. Ястребов, невольный виновник этой водевильной катавасии, извинился пред учениками на другой день юмористического происшествия, и за это извинение был награжден овацией с их стороны.

Так оно и должно было быть.

Порядочный человек публично и искренно свидетельствует своим ученикам, что он считает их за людей равных ему, вполне уверен в их порядочности и серьезном отношении к самим себе и избранному ими делу, а они благодарят его за это доверие к ним и за признание в них людей взрослых и ценных для жизни.

Поступок г. Ястребова делает ему честь, и г. Ястребов в праве гордиться собой, — он дал своим ученикам урок благородства — науки, которая нужна людям прежде всех других.

И отношение учеников школы к их преподавателю имеет хороший смысл и большое значение, показав ему, что они умеют понять и оценить отношение к ним, как к живым людям, они своей овацией г. Ястребову как бы протестовали против тех педагогов, что не хотят признать за своими учениками ни души, ни самолюбия, ни развитого сознания.

Невероятный слух циркулирует в Самаре.

Он свил себе гнездо в уездной земской управе и оттуда облетает город, всюду возбуждая недоумение и скептические усмешки.

Никто не хочет верить.

Все причастные к земству или интересующиеся его делами люди, встречаясь, спрашивают друг друга:

— Вы слышали, — говорят, едет?

— Слышал, но не верю.

— И я не верю.

— Ведь, никогда этого не было, чтобы он сам приезжал.

— Да, да. Обыкновенно он присылал за жалованьем свою няньку.

— Именно! Всегда нянька, и вдруг сам едет!

— Невероятно!

— Но, скажите, его нянька...

— А! это его нянька...

И начинают говорить о няньке члена уездной земской управы.

Да, это действительно загадочный слух.

Согласитесь, существует в каком-то селе некий мифический член

земской управы, человек, которого никто в земстве не видывал и который никакого участия в делах земства не принимает.

Он просто-напросто получает жалованье.

И полагает, что для земского деятеля правильного выполнения этой функции вполне достаточно.

Он и деньги не сам получает, а обыкновенно присылает за ними в управу свою няньку.

Следует добавить, что хотя у члена земской управы есть нянька, но у него нет детей.

Он сам еще ребенок, что ясно доказывается его отношением к земству.

И вот этот мифический человек якобы сам к рождеству едет в Самару.

Понимаете, сам, самолично, весь едет.

Это не может не произвести сенсации.

И хотя он, конечно, приедет только за получкой жалованья, но все-таки преинтересно посмотреть на такого любопытного человека.

Узнав о дне, когда он будет здесь, я сообщу об этом публике.

Наверное, многие поедут на вокзал встретить члена управы и посмотреть на его лицо.

Это, должно быть, прелюбопытное лицо!

Я сообщу о дне его приезда, если слух, что он приедет, окажется верным.

1 ноября, № 235.

65

Ноябрь.

Скоро грянут морозы и пуховый покров снега пышно оденет озябшую и оголенную землю.

Счастлив тот, кто имеет шубу!

Наступят длинные зимние вечера, ясные морозные ночи.

И вздорожают дрова.

Катанье на тройках, с ужином в ресторане, танцовальные вечера и еще много хорошего принесет с собой зима.

Мы будем отмораживать выдающиеся черты наших физиономий, оттирать их гусиным салом.

Будем играть в винт и сплетничать, впрочем, этим мы умеем усердно заниматься во все сезоны года.

С наступлением ноября и морозов у одной человеческой группы ежегодно начинается страдное время, расцветают надежды, растут большие ожидания; сердца этой группы людей бьются живее и головы работают лихорадочно бойко...

Люди этой категории осенью начинают сеять на ниву жизни и в сердца людей обещания.

Они обещают вам по цене от трех до четырнадцати рублей за год скрасить, заполнить и оживить вашу жизнь.

Развить ваш мозг, облагородить сердце, — все это они с полной

готовностью и верой в успех, берутся сделать за соответствующую подписную плату.

Я говорю о столичных издателях иллюстрированных, ежедневных и еженедельных изданий, с премиями, приложениями, с неожиданными сюрпризами и с прочими многоразличными обещаниями, имеющими целью опустошения карманов провинциальных жителей.

Очевидно, в их представлении провинциальный читатель рисуется не иначе, как дураком, который страшно любит красненькое, для чего они и обещают ему дать в течение года много раскрашенных картиночек, в виде премий к своим бесцветным журналам.

Они положительно не скупятся на обещания и ничем не дорожат для-ради уловления подписчика.

Читатель, не верь в премии!

Они хотя и играют роль куска сала в мышеловке, но человек к мышам относится добродушнее, чем издатель к подписчикам.

Мышам дают то, что мыши любят.

А я не могу верить в то, что провинциальный читатель любит грубо наляпанные олеографии, пестро раскрашенные и оскорбляющие мало-мальски изящный вкус.

2 ноября, № 236.

66

...Назад тому несколько дней, я прочитал в «Самарском Вестнике» объявление о том, что на такое-то число, в таком-то часу, назначено заседание членов Общества поощрения высшего образования.

Прочитал и решил пойти посмотреть, как люди пекутся о развитии высшего образования.

Пошел, пришел в дворянское собрание и вижу, что явился рано, еще никого нет.

Вышел и с полчаса погулял по улице.

Потом воротился, но тоже еще рано, — никого не было.

— А что, скоро соберутся? — осведомился я у швейцара.

— Это гг. члены?

— Ну, да!..

— Которые уже пришли и сели играть.

— То есть как играть?

— По-разному. Которые в безик, которые в винт. Сегодня много членов не будет.

— Г-м? Разве не все собираются?

— Где же всем! этого никогда не бывает.

— А как же высшее образование?

— Чего-с?

— Образование.

— Насчет карт?

— Каких карт?

— Известно каких.

Швейцар изобразил глубочайшее недоумение.

— Скажите, милый человек, при чем тут игра в карты? — спросил я.

— При том, что здесь клуб. Ровно вы этого не понимаете. Клуб, ну и карты поэтому.

— А как же высшее образование?

— Чего-с? Не понимаю-с! Здесь окромя карт разговору никакого нет.

— Но ведь на сегодня назначено...

— А-а! Вон вы про что! Это вы рано пришли. Я думал, вы про наших членов говорите. А вы насчет этих.

— Вот-вот! Насчет тех, которые хотели сегодня рассуждать об образовании.

— Это вы совсем даже напрасно беспокоились. Сегодня еще рано.

— Как рано?

— Сегодня первое объявление. А они ко второму собираются... Одно напечатают, никто не является. Тогда они другое. Ну, по другому, которые и придут. А сегодня они не соберутся — нет! У них такой порядок, чтобы два объявления. Первое — никто ни гу-гу! Второе...

— Это они зачем же так? — спросил я.

— Так уж... Привычка, значит, такая. Потому господа, и любят разную моду соблюдать.

Я ушел, насладившись разговором о высшем образовании и несколько удивленный «модой» ревнителей о нем.

Я не берусь объяснить, почему ревнители просвещения игнорируют свое первое объявление о собрании.

Это их тайна; говорят, что они всегда так делают.

Но мне, право, жалко тех денег, которые они платят за первое объявление, — это деньги, брошенные в печку.

И потому им следует просто с первого же разу напечатать второе объявление.

Недавно мне показывали афишу, гласящую о народных чтениях.

В ней между прочим обещано прочитать народу «сказку о рыбаке и рыбке» Крылова.

Я жалею, что видел эту афишу после того, как чтение уже состоялось.

Я с удовольствием послушал бы эту крыловскую сказку, ибо, как это мне ни совестно, но я должен сознаться, что еще не читал этой сказки.

И не только не читал, но и не знал, что в русской литературе есть, кроме сказки Пушкина «О рыбаке и рыбке», — сказка деда Крылова о том же самом.

Второй раз случается со мной такой прискорбный казус!

Лет пять тому назад в Царицыне в клубе, на литературном вечере, я имел удовольствие слышать стихотворение Розенгейма «Песнь о купце Калашникове».

Редкостная вещь! Рекомендую любителям изящной литературы.

Слово в слово лермонтовская вещь.

И я до этого вечера тоже ничего не знал о ней.

Боюсь, что поживу еще и мне придется ознакомиться с «Демоном» г. Фета и с «Рудиным» Ф. М. Достоевского, и еще со многими, всем известными произведениями, неизвестно почему сочиненными совсем не теми авторами, которыми они сочинены.

Боюсь, что это будет...

3 ноября, № 237.

67

В среду в театре мы видели не только «Власть тьмы», но тьму нелепостей.

Первая, самая длинная из них, а потому и последняя — это спектакль, продолжавшийся от половины девятого до половины третьего.

Между этими двумя половинами было пролито целое море скуки, и публика купалась в нем по бенефисным ценам.

Мертвую зыбь его пробовали оживить гг. Грубин и Зубов, да г-жа Прокофьева, но их усилий оказалось недостаточно.

Было скучно и пахло газом более, чем всегда.

Г-жа Лодина изображала сиротку Марину и была довольно милой одной из «Двух сироток».

Г. Гофман надел на себя посконную рубаху с очень короткими рукавами и, играя роль старика, выделывал такие выкрутасы с вывихлясами, что хоть опытному акробату и то впору.

Остальные артисты не только старались показать публике, что они играют, но без всякой тени застенчивости доказывали ей, что играют они плохо.

А г-жа Нинина-Петипа упорно щеголяла «отсебятиной».

Не берусь судить почему, потому ли, что не знала своей роли, или потому, что не доверяла художественному вкусу графа Льва Николаевича и думала, что ее слова лучше слов маститого автора.

Для полноты ансамбля в пьесе не хватало участия г. Стенина, который всегда так хорошо умеет показать публике свое неумение держаться на сцене.

Ах, как было скучно!

Из рук дремавшей публики то и дело валились коробки конфет, программы, бинокли и прочие вещи.

У кого-то в бельэтаже вывалилось и упало в партер даже стекло из часов.

Очевидно, часовые стрелки возмутились, показывая, что давно уже наступило время кончить спектакль, и возмущенные вытолкнули стекло вон из ободка.

Все кончается на этом свете к великому счастию людей.

И шестичасовой спектакль окончился, наконец.

Тогда возник вопрос: зачем дирекция театра взимает бенефисные цены за спектакли, замечательные только своей длиной?

Уж если необходимо пятиактную драму растягивать на шесть часов, то следует в интересах здоровья публики делить их на две

части: два с половиной акта дать в среду, а остальные два с половиной в четверг.

Но совсем не следует назначать высокие цены за длинные спектакли.

Говорили, что повышение цен вызвано расходами на декорации.

Это несколько странное объяснение.

Если хозяин промышленного предприятия сошьет себе новую тройку, должен ли такой его поступок отражаться на кармане потребителя его фабрикатов?

Не должен бы.

А равно и господин в райке не должен бы вести себя так, как он вел.

Помимо того, что он орал голосом человека, у которого вырвали три здоровых зуба, вместо одного больного, он еще надел себе на лапы рукавицы и во всю мочь хлопал ими.

Лицо у него от усердия было красно, как голенище сафьянового сапога у татарина.

Вообще раек настолько шумно оценивал искусство театральной труппы, что, право, такую оценку можно заподозрить в бескорыстии ее.

Я далек от всяких догадок.

Но я искренно желал бы, чтоб некоторые радетели из райка поражены были немотой на время театрального сезона.

Особенно тот или та из них, что после каждого акта звенела, как разбитая корчага:

— Петипу! Петипу-у-у!

Клуб канцеляристов все еще прозябает кое-как, поддерживая свое хилое бытие спиртуозными напитками и возбуждая нервы игрой в карты.

На днях один из членов этого почтеннейшего учреждения захотел ввести в него «гостя».

Бедный гость, очевидно, был обуреваем тоской, но не имел сил для того, чтобы сразу покончить с жизнью.

И вот пошел в клуб канцеляристов, где, надо думать, надеялся покончить с собой медленным измором.

Вот экзамен, который пришлось выдержать этому «гостю» перед тем, как попасть в гостеприимный клуб.

Встретил его дежурный старшина и спрашивает:

— Вы водку пьете?

— Пью.

— Это хорошо. А во хмелю как себя ведете?

— То есть?

— То есть покойно или нет. Это, знаете, для клуба очень важно знать. У нас есть люди со всячинкой. В случае чего мы бы за вами устроили этакий надзор, дабы во-время удержать вас от [нанесения] чему-либо, или кому-либо вреда.

— Предусмотрительно! — восхищается гость. — Но будьте покойны! Я во хмелю, как овечка, кроток.

— Это похвально. А вот я, знаете, того.

— Колобродите? — осведомляется гость.

— И-их как! — сообщает ему старшина не без удали.

И возникает длинный и интересный разговор о влиянии вина на характер человека.

Поучительно?!

4 ноября, № 238.

68

Поговорим о профессиях.

На них установились два радикально противоположных взгляда.

По одному, лучшая профессия — честная.

По другому, лучшая профессия — легкая.

А так как в наше время большинство человечества рассуждает: «на кой чорт честь, коли нечего есть», то по силе сего этического правила легкие профессии повсеместно предпочитаются честным профессиям.

Но, хотя это и труизм, людей больше, чем профессий, и по сей простой причине люди ревностно стараются создавать себе легкие профессии, требуемые духом времени и способностями людей.

Поговорим же о новых профессиях, создаваемых дошлыми людьми для своего прокормления.

Например: сей находит, что самое лучшее для него в жизни, — это получать жалованье и ничего не делать.

И вот он ухитряется так ловко устроиться, что пятнадцать лет взимает с земства жалованье и пятнадцать лет ничего за это не делает в пользу земства, но делает все, что по окладу его можно, в свою пользу.

Легко, и приятно, и ничуть не обременительно.

А то есть в Самаре некто г. Мартышкин, Уткин или Курицын, — забыл фамилию.

Это не важно,— дело не в фамилии, а в профессии.

Он избрал себе премилое занятие, не только дающее ему средства к существованию, но и создающее ему славу новатора и реформатора в деле изобретения легчайших профессий.

Приемы его самокормления суть следующие:

Он ходит по камерам городских судей и уловляет там разных лиц, не желающих видеть имя свое в печати по причине их крайней совестливости и скромности.

Кто сии лица? Объясняю с наслаждением.

Это вы, читатель.

Это вы, если вы находились в подпитии, учинили нарушение общественной тишины и спокойствия, с приложением руки вашей к не принадлежащей вам шее, щеке, голове или спине, без надлежащего на то разрешения со стороны хозяина сих вещей.

Или это человек, нечаянно смешавший представление о своей и не своей собственности, одним словом человек, согрешивший против устава о разных наказаниях, налагаемых гг. городскими судьями.

Сей человек из скромности, в его положении вполне естественной, совсем не желает, чтоб его имя было доведено до сведения потомства путем оглашения его поступка в печати.

Не всякая слава желательна, знаете.

И вот г. Кукушкин или Мартышкин уловляет такового субъекта и говорит ему:

— Дайте мне десять целковых, и я не напишу о вас в газетах!

— Не напишешь? — с вожделением осведомляется субъект.

— Ни словечка?

— Ой ли?

— Честное слово!

— Честное слово? Это что! Нет, ты мне не честное слово дай, а дай ты мне расписку в том, что от всяких претензий на меня отказываешься и преследовать меня ни за что не будешь.

— То есть как?

— А вот как. Деньги ты с меня за молчание обо мне возьмешь, а потом напишешь про меня. Что я с тебя возьму? А коли ты мне выдашь такую расписку, так я тогда на основании ее, могу тебе шею намылить, и бока намять, и рожу растворожить... все могу! Понял? Согласен?

— Идет! Давай красненькую!

Торг закончен.

Г. Чижов или Трясогузкин доволен.

Его клиент тоже доволен.

Он идет домой спокойный и думает про себя:

— А дошлые собаки, эти газетчики! Умеют пятачок уколупнуть из чужого кармана!

И случайные свидетели сделки думают так же.

А иногда и хуже думают.

И когда судьба сталкивает их со скромными газетными работниками, состоящими за грошовое вознаграждение на действительной и опасной службе у Правды и Справедливости, люди, знакомые с профессией г. Удодова или Пиголицына, ценят их по воспоминаниям об этом господине и о его легкой профессии.

— Все вы, газетчики, одинаковы с Мартышкиным, знаем мы вас! И вы всегда готовы так же, как и он, содрать за умолчание.

Скромные газетчики молчат.

Что они могут возразить о человеческих мерзопакостях?

Факт, г. Сычев берет взятки за умолчание.

Г. Сычев — газетчик.

Ergo:[1]

Все газетчики берут взятки за умолчание о человеческих мерзопакостях.

Такова обывательская логика.

Она всегда рисуется мне чем-то в виде ехидно-игривой блохи, скачет и туда и сюда, и всюду производит зуд, вызывающий грандиозное языкочесание.

И она очень редко в своих скачках от частного к общему не по-

[1] *Перевод:* Следовательно.

падает под ноготь здравого смысла, где ждет ее обязательная и позорная гибель.

Ах, уж эта обывательская логика.

5 ноября, № 239.

69

Господи! как трудно быть маленьким человечком!

Как ничтожна жизненная роль и как велика ответственность маленького человечка.

Кажется, все неприятные казусы жизни наметили себе его крохотную серую фигурку, наметили и изощряются над нею, заставляя маленького человечка в тоскливом недоумении метаться туда и сюда в страхе и трепете за свое «я», которому со всех сторон угрожают путы жизни.

Служит где-либо маленький человечек, — он непременно получает мало и с него обязательно требуют много.

Он «работает, как вол, а награда ему — кол», как гласит одна белорусская пословица.

Недавно начальник покарал маленьких людей за неаккуратность по службе.

Кара, положим, не важная — один виновный поплатился пятью рублями штрафа, другой — двумя, третий — одним, и, наконец, четвертому — сделан строгий выговор.

За что?

А вот за что:

В августе, во время самого сильного движения товаров по линии, когда в товарном отделе работы было так много, что беднягам, мелкой сошке, но главным рычагам, двигающим работу, некогда было пообедать и приходилось сидеть в конторе с одиннадцати часов утра до часу ночи, их неумышленно «подвел под обух» некий г. Богачев.

Это товароотправитель.

Он явился в контору и показал по фактуре, что вот он отправил столько-то мест груза, столько-то идут под весом.

Приняли и записали.

А он явился на следующий день и заявляет, что количество своего груза в пудах показал неверно — по ошибке, и что груза у него больше.

Выслушали, и так как товар не был отправлен, проверили показания, исправили число пудов и увеличили сумму фрахта сообразно всему этому.

Взяли с г. Богачева дополнительный сбор и отпустили его с богом домой.

Но время было горячее и таксировщик, исправив в накладной сумму сбора, забыл переправить количество веса.

И, таким образом, вышло, что товара привезено меньше, чем бы следовало по сумме, взятой за провоз.

Этакая крупная ошибка!

Если бы было наоборот, можно бы заподозрить в этом деле злой умысел.

Но злого умысла, как видите, не было.

Тем не менее и за отсутствие в ошибке злого умысла маленькие люди оштрафованы.

Получают они мало, — и этот штраф для них весьма чувствителен.

Еще более чувствительна эта несправедливая и никого ничему не поучающая строгость, карающая ошибку, как проступок.

Ведь ошибка-то была вызвана излишком работы, следовало бы это помнить!

В воскресенье на утреннем спектакле большинство публики представляли собой дети, и они остались довольны спектаклем.

В самом деле, лиллипуты Костецкие очаровательны и танцуют, как эльфы.

Нужно видеть польку-венгерку в их исполнении, чтоб поверить в ту грацию и красоту, с которой они ее танцовали.

Русская, исполненная Неонилой Костецкой, была тоже своего рода совершенством и возбуждала удивление той легкостью и красотой, с которой исполнила ее маленькая артистка.

Что-то сказочное представляли собою Костецкие, танцуя мазурку, и, право, глядя на них, — было жаль людей нормальных внешне, но тоже лиллипутов по чувству и уму, — они не так гармоничны, грациозны и живы, как лиллипуты Костецкие.

Волшебно хороши эти милые маленькие люди.

Разыгранная ими пьеска «Слабая струна», конечно, пустенькая вещица, но игра Марии и Михаила Костецких сделала бы честь и нашим местным г. Гофману и Стрешневой, у которых нет ни той богатой мимики, ни живости, ни уменья играть, которое проявили лиллипуты.

В водевиле «Ямщики» был очень умен и типичен г. Мирский, игравший станционного смотрителя. Г. Мирский вообще очень ценный артист, но почему-то он держится в тени.

Г. Старков играл очень реально и нимало не шаржируя старосту.

Дети остались довольны им, и тут есть чем ему похвастаться.

Г. Гофман и г-жи Стрешнева и Линская желали благоденствия России, но так как у всех их голосов нет, то вряд ли их желание пойдет впрок.

Дирекция театра наказала сама себя, напечатав в афишах «цена местам половинная» таким мелким и незаметным шрифтом.

Публика просмотрела это крупное обстоятельство, уменьшения цен, и, привыкшая к незаконным поборам дирекции, не пошла на спектакль.

Очень симпатичное впечатление оставил вечер, устроенный в пользу Общества поощрения высшего образования.

Всех исполнителей публика единодушно биссировала и щедро награждала дружными и горячими аплодисментами.

И, поистине, исполнители заслужили такой прием со стороны публики, ибо умели дать ей три славных часа, полных эстетического наслаждения...

Бывает иногда, что дилетанты искусства на несколько мгновений поднимаются не только выше ремесленников искусства, но и становятся рядом с признанными жрецами его.

Это зависит, должно быть, оттого, что дилетант всегда свежее жреца, измотавшего нервы на постоянной передаче чужих звуков, слов и мыслей и часто физически неспособного вдохнуть свой дух в чужую форму, между тем как дилетанту иногда удается это, и тогда он как бы перерождается в истинного артиста, глубоко понимающего смысл и красоту того, что он передает толпе.

Если сказанное есть похвала исполнителям, — они все в равной почти степени заслужили ее.

Очевидно, симпатичная цель, ради которой они устроили этот вечер, сильно вдохновляла их, и вот где причина того, что все они были так симпатичны и публика так горячо благодарила их.

В текущий сезон этот вечер — первый шаг по пути осмысленных и воспитывающих ум и чувство общественных развлечений.

Удачный, славный шаг!

7 ноября, № 240.

70

Вы помните приключение с носом лесоторговца, сломанным парикмахером?

Это было с месяц тому назад на Дворянской улице.

Лесоторговец мирно шел по тротуару, а парикмахер свирепо наскочил на него и раздробил ему камнем нос.

Зачем он это сделал и почему нос сломал, а не волосы вырвал,— это покрыто мраком неизвестности.

Это, так сказать, тайна самарских нравов.

На днях дело о носе разбиралось у городского судьи, но никакого света на него не пролито.

— Вы сломали нос? — спрашивали обвиняемого.

— Я.

— А зачем?

— Так.

— То есть как так?

— Так, просто...

И ничего не добившись от человека, разрушившего нос своего ближнего, посадили этого человека на семь дней под арест.

Я не был сам на суде, но слышал, что защитник обвиняемого сказал прекрасную речь.

— Г-н судья! — сказал он.

— Бесспорно, мой клиент испортил нос обвинителя. Но этого мало для осуждения человека, мало, г. судья.

— Мы должны вникнуть в психологию данного поступка, чтобы правильно оценить его, и чтобы не оставить справедливость с носом.

— Итак, нос изломан. Зачем? Никто, кроме моего клиента, не может объяснить это. Но и мой клиент этого не объясняет.

— Почему? Потому что он сам ничего не понимает.

— Но я, г. судья, вник в смысл события и сейчас, с вашего позволения, раскрою пред вами его тайну.

И дальше он говорил:

— Обратите внимание, г. судья, пред вами стоит молодой, здоровый человек с лицом, хотя и не особенно выразительным и не очень осмысленным, но тем не менее не лишенным человеческого подобия.

— Что же побудило его, это здоровое и сытое существо, избрать себе такую специальность, как ломка чужих носов? Этот вопрос есть ключ к тайне события.

— Почему мой клиент, Александров, сломал чужой нос? Потому, г. судья, что моему клиенту скучно жить и нечего делать.

— Где у нас, г. судья, развлечения, воспитывающие юношество, облагораживающие его, развивающие, способные захватить собой, заинтересовать молодую, жаждущую впечатлений бытия душу?

— Я прошу позволения кратко очертить одни сутки из жизни юноши, чтоб показать вам, г. судья, как возмутительно-скучна и животно-груба его жизнь.

— Утро. Он встает и умывается, если он не любит ходить чумазым, потом пьет чай и ест, сколько хочет. Во время всех этих процессов в его голове ничего не шевелится, ибо, хотя и говорят, что якобы природа не терпит пустоты, но извольте посмотреть!

Тут защитник постукал пальцем по черепу своего клиента и череп издал звук барабана.

— Вы видите, в голове этого молодого человека абсолютно ничего нет. Обвиним ли мы его за это? Поистине, нельзя обвинить. Трудно для юноши самому себе набивать голову чем-либо имеющим жизненную ценность, ибо разве знает юноша, что именно имеет эту ценность и что лишено ее?

— Он продолжает свой день, идет работать, если он работает где-либо. Работа для него печальная и утомительная обязанность, ибо он не умеет находить наслаждения в труде. Да потом такой труд, как стрижка и брижка... то есть извините! Я хотел сказать бритье и стритье, едва ли может дать наслаждение.

— Вот если бы женщины стриглись и брились, но они не бреются и не стреются.

— Мой клиент с утра до вечера все стриг и брил, то есть брил и стриг, а к вечеру, утомленный своим трудом, впадал в тоску.

— Чем жить? Где в жизни что-либо интересное, захватывающее душу?

— Он, конечно, не задавал себе этого вопроса, ясно, такие вопросы не родятся в пустых головах, но он всем существом чувствовал его.

— Все юноши чувствуют этот вопрос, да, я сам был юношей до занятия адвокатурой.

— И всем юношам скучно жить.

— Жить же в Самаре скучнее, чем где-либо на другом пункте земного шара.

— В Самаре ничего нет, никаких развлекающих развлечений, ничего интересного. Здесь даже пожары и то крайне редки, я уже ничего не говорю о наводнениях, их никогда не было в Самаре.

— Что же делать, что же делать юноше, который хочет жить, ищет впечатлений и нигде не находит их?

— Его гнетет тупая тоска, и злоба на себя рвет ему сердце.

Он, как муха осенью, ползает по улицам мертвенно-скучного города и бестолково с тупой злобой кусается.

— Он видит — идет дама, шлейф ее платья вьется за ней по панели и, ради развлечения своего, он не преминет плюнуть на шлейф дамы, или наступить на него ногой.

— Он подзывает к себе мальчика, продающего грошовые книжки, чтобы не просить милостыни, и дерет мальчика за уши, надеясь, что это, может быть, развлечет его, скучающего от безделья юношу.

— Он колотит тростью всех встречных собак без всякой вины с их стороны, и их болезненный визг сладко скребет его тоскующую душу.

— Он строит страшные рожи приказчикам магазинов сквозь стекла окон.

— И много еще безобразий делает он, много.

— Но — г. судья!

— Положа руку на сердце, обвиним ли мы его за это?

— Забудем ли мы о том, что ему скучно, тошно, что его жизнь сера, однообразна, пуста и пуста!

— Желая наполнить ее как-либо и чем-либо, желая оживить ее каким-либо подвигом, желая излить в жизнь избыток своей энергии,—вот для чего и вот почему мой клиент сломал нос торговца лесом.

— Я прошу оправдать его.

— Обвинитель ведь все-таки остался с носом.

Мне нравится эта речь, из нее брызжет правда, и в ней сверкают ясные искры понимания господином защитником жизни и человеческой души.

Мне положительно нравится эта речь.

10 ноября, № 243.

71

— Местная печать не соответствует своему назначению,— сказал недавно некто одному моему знакомому.

Мой знакомый пришел ко мне и тотчас же заявил:

— Местная печать не соответствует своему назначению.

— В чем дело? — спросил я.

В сущности я прекрасно знаю, что не соответствует, и знаю причины, в силу которых в русской жизни установилось и кои поддерживают несоответствие печати с ее назначением.

Дело, видите ли, в том, что, с точки зрения сведущих в деле жизни

людей, порядок гораздо нужнее для жизни, чем правда, справедливость и иные прочие вещи, без которых живем же ведь мы!

Печать имеет тенденцию проводить в жизнь правду, и за склонность к оной пребывает косноязычна и ратоборствует по линиям наименьшего сопротивления.

Положение не особенно «тае», но все-таки уже привычное положение.

Пишем помаленьку.

— В чем дело? — спросил я.

— А в том, что вы не ко всем одинаково беспристрастно относитесь.

— То есть?

— Про купцов пишете, про докторов пишете, про всех пишете, а про учителей — молчите!

— Г-м, да... Это действитель... то есть я хочу сказать, — это пожалуй что... или нет!

Я несколько смешался, но думал поправиться.

— Конечно, — сказал я, — это несколько «тае», но, в то же время, и не «тае». Видите ли, с одной стороны нельзя не согласиться, с другой следует признаться... но, тем не менее... хотя однако... очень может быть... по всей вероятности...

Нет, я окончательно запутался.

Потому запутался, что мне стало стыдно.

Очень стыдно.

Стыдно потому, что, ведь, нужно говорить об учителях, о людях, на обязанности которых лежит создание характера, развитие ума, воспитание духа детей, этих цветов человечества и будущих граждан своей родины.

О людях, работающих на таком важном поприще, творящих такое великое дело, как дело воспитания молодого поколения, нельзя говорить легкомысленно, посмеиваясь, и стыдно говорить дурно.

Ибо в каком же виде встанет пред публикой наше образование, если публика будет знать, что иногда она находится в руках людей не особенно «тае»?

Можно ли рассказывать о таких учителях публике?

Не дискредитируют ли эти факты реноме учителя в ее глазах?

На первый вопрос я свободно говорю—да, на второй также свободно — нет.

Да — потому, что публика должна знать все дурные стороны своего быта, чтобы тем упорнее искать среди них хорошие, а не найдя, создавать такие.

Нет — потому, что учителя, о которых я кое-что знаю, не типы, это просто «уроды в семье», в семье скромных и бескорыстных тружеников, тихо творящих великое дело воспитания будущего человека, — да превзойдет он в силе духа настоящего!

Человек настоящего времени настолько еще мало человек, что

его гораздо вернее было бы назвать исправляющим должность человека.

Вот по этой причине среди современного человека и возможен такой учитель, как учитель, развивающий в своих учениках национальный антагонизм.

И учителя «под хмельком», равно как учителя сквернословящие, дерущиеся.

Все это есть, увы!

Когда-нибудь настанет время, и всего этого не будет.

А когда оно настанет, — не могу сказать.

Увы, даже и я не все знаю!

Но я могу с уверенностью сказать, что оно никогда не настанет, никогда, если люди его не захотят.

И не захотят страстно.

11 ноября, № 244.

72

К вашему вниманию, mesdames![1]

Не ездите на конке, если дорожите собой, и не выходите вечером на улицу без провожатого, ибо в Самаре появился дикий купец, разъезжающий в вагонах конки в пьяном виде и оскорбляющий женщин без всякого повода с их стороны и без всяких последствий для своего купецкого мужества.

Он влезает в вагон, плюхается на скамейку против дамы и начинает с ней говорить такими словами, от которых дама впадает в истерику, а он в неистовый восторг.

Ему нравится такое развлечение.

И оно без всякой кары сходит ему с рук.

Его фамилия С. и он на хорошем счету у полиции.

Ибо, хотя он 9-го ноября, оскорбив в вагоне конки г-жу Э., оскорбил и полицейского, когда его высадили из вагона и когда, идя под конвоем по улице, он трехэтажными словами говорил нелестные комплименты своим конвоирам, сии последние тем не менее не арестовали его за дебош, за неистовство и за оскорбление их при отправлении служебных обязанностей.

Полицейский благодушно проводил дикого купца на расстоянии одного квартала, а сам возвратился на пост.

Предоставив этому весельчаку право снова залезать в вагон и снова доводить дам до истерики, безнаказанно оскорбляя их ради своего развлечения.

Итак, mesdames, не выходите на улицу без провожатых.

Не забывайте, что вы живете в Самаре, где даже и мужчине, выходя из дому, необходимо вооружаться палкой, кастетом, стилетом и даже маленькой пушкой.

Читали вы письмо «Обывателя» об артисте, на сцене благородном, а в жизни загадке?

Я прочитал и задумался.

[1] *Перевод:* Сударыни.

Удивительно, не правда ли?

Изображая изо дня в день героев, чистых сердцем, сей господин должен бы выработать себе привычку по-геройски вести себя и в домашнем обиходе,— я говорю о привычке, потому что не верю в существование врожденного благородства в сердце человека, способного на такой грубый поступок.

Но, очевидно, здесь произошел такой психический фокус.

Человеку надоело притворяться благородным и, уходя со сцены, он действует по своим врожденным и действительным свойствам.

Этим же «надоело» следует объяснить и то, что сей артист во всех своих ролях утомительно однообразен и так скучен.

Любителям кулачных боев рекомендую сегодня отправиться на Преображенскую улицу, где, как и в прошлое воскресенье, местными горчишниками будет дан скулоразрушительный и зубодробительный спектакль.

В качестве «гвоздя» увеселения в драке примет участие какой-то Гришка, обладающий пудовыми кулачищами и несомненным артистическим тактом в искусстве сокрушения костей ближнего.

Это обещает быть очень интересным, если этому развлечению не помешает полиция.

Я предложил бы для усиления интереса этого чисто-русского и специфически самарского зрелища следующее:

Попросить принять в нем участие большого артиста нашей театральной труппы г. Кольцова.

Это сильный человек, с несомненной склонностью к наношению увечий.

Мне ужасно понравилось, как он искалечил и поборол Бориса Годунова.

Вот бы ему сразиться с талантливым реброломом-горчишником Гришкой.

Это имело бы значение, крупное значение.

Если бы Гришка был побит, от этого выиграло благочиние и порядок.

А если бы, наоборот, Гришка победил, от этого выиграло бы драматическое искусство.

Кстати, о театре и о новостях его.

Говорят, что театральная комиссия официально поставила дирекции театра на вид следующие, мягко говоря, промахи и погрешности в постановке дела, которое следует дирекции поправить.

Нужно приобрести серьезного комика, ибо гг. Зубов и Старков несколько слишком веселы и часто смешат публику там, где по пьесе этого совсем не полагается, заставляя ее чуть не плакать от скуки в тех местах, которые написаны для оживления пьесы и развлечения публики.

На место г. Стенина, сего неподвижного хвата, пригласить настоящего фата, а г. Стенину рекомендовать искать себе место.

Поискать водевильных актеров, в виду того, что наша водевильная пара г. Гофман и г. Стрешнева далеко не соответствуют пред-

ставлению о водевильных актерах, будучи совершенно лишены знакомства с этим жанром и являясь по отношению к сценическому искусству вообще в таком отдаленном родстве, как «седьмая вода на киселе».

Не заставлять такую талантливую и ценную артистку труппы, как г-жу Прокофьеву, изображать и классических и драматических старух, ибо это ни для нее полезно, ни для публики приятно.

И наконец, не назначать ни к селу ни к городу бенефисных цен за простые спектакли, хотя пользу таких выходок для дирекции театральная комиссия и понимает, но сочувствовать ей не может, потому что и публике не нравятся бенефисные цены и театральная комиссия находит их излишними.

В заключение поставлено на вид и то обстоятельство, что длина спектаклей вылезает за пределы рамок контракта, обусловливающего их продолжительность, кажется, часом ночи и, кажется, дирекция приняла во внимание это последнее указание комиссии.

По крайней мере, «Борис Годунов» был так скомкан, сжат и урезан, что скончался к двенадцати часам ночи, хотя умирал он ужасно медленно, скучно и тяжело.

Очевидно, г. Кольцов предположил, что смерть Бориса последовала от завалов в желудке, именно на такую болезнь намекали его тон, мимика, позы и жесты.

Но едва ли это исторически верно, хотя и передано артистом очень реально.

12 ноября, № 245

73

Управа недавно обратилась к местным врачам с просьбой такого содержания:

— Не давайте, пожалуйста, гг. врачи, состоятельным людям рецептов в аптеку приемного покоя и будьте великодушны, не прописывайте бедным больным дорогих лекарств.

Эта просьба вызвана постановлением городской думы от 28 сентября, а постановление основано...

Но мудрость этого постановления до такой степени загадочна, что, право, трудно решить, на чем оно основано.

Припахивает от него желанием сэкономить грош, но в чью пользу — неизвестно.

В пользу ли бедных, которым трудно платить дорого за лекарство и для которых грош, действительно, сумма?

Или это сделано в видах сокращения расходов на содержание приемного покоя, то есть в пользу города, желающего законопатить грошиками щели своего бюджета?

Так или иначе?

Неизвестно.

Но лечение бедных от всех болезней непременно и только дешевыми лекарствами,—это премудрая штука и, надо думать, толкнет куда-нибудь престиж медицины в простом народе.

Я представляю это постановление введенным в жизнь и вижу:

Ревматизм лечат касторовым маслом.
Чахотку тоже касторовым маслом.
Водянку, опять-таки, — касторовым маслом.
Растяжение сухожилий — касторовым маслом.
Это дешевое лекарство.
Перелом костей будут склеивать свиным салом, при тифе — поить малиной и тому подобное.
Но самое дешевое — лечить бедных больных от всех болезней простой водой в разных порциях.
Это уж совсем почти ничего не стоит.

Еще и снова и опять о «Корневильском рынке».
В хронике 245-го номера «Самарской Газеты» рассказано об изгнании женщин, ищущих честного труда, из сквера за то, что они позволили себе сесть на одну из его многочисленных лавочек, на которых, к слову сказать, вполне свободно садятся и сколько им угодно сидят женщины, ищущие бесчестного труда.
Кандидаток на должности кухарок, нянек и горничных и так далее турнули в шею из сквера.
За что?
Это дико и несправедливо.
Управе следует дать понять сторожу сквера, что он чрезмерно усерден в исполнении своих обязанностей.
Он слуга управы и должен брать с нее пример поведения.
К чему особенно усердствовать по такому пустяковому поводу?
Сторож! Бери пример с почтеннейшей управы — действуй не торопясь, с прохладой и с развальцем.
И благо ти будет.
А замерзающие женщины от поведения твоего выиграют.
Увы, очевидно для них не выстроят никакого хлевушка или загончика и они всю зиму будут мерзнуть около дома Бахаревой, не имея права даже и на солнышке погреться.
Экие жестокие нравы у нас в богоспасаемой Самаре!

14 ноября, № 246.

74

Говорят, что в близком будущем состоится что-то вроде съезда инженеров и техников самаро-златоустовской железной дороги. В цели съезда между прочим входит установка нормы топлива и смазки паровозов.
Каждый раз, когда гг. инженеры и техники съезжаются, они непременно устанавливают нормы смазки и топлива.
Установят, разъедутся, потом снова съезжаются и снова начинают устанавливать, установят и опять разъедутся.
Это бывает чуть ли не каждый год и вызывается стремлением к экономии.
Все хотят установить такой minimum топлива и смазочного материала для каждого паровоза, который совершенно лишил бы паровозную прислугу премии за сбережение топлива и смазки.

Находят, что для паровозной прислуги эта премия является совершенно излишней и что она, прислуга, за свою каторжную работу достаточно вознаграждена одним жалованьем без всяких поблажек, в виде премии.

Как видите, предполагаемый съезд преследует цель, вполне почтенную и заслуживающую внимания, как средство экономии.

Несомненно, что этот съезд и на сей раз найдет возможным сузить озабочивающую его норму.

У съезда идеальные стремления, — он полагает, что в конце концов ему удастся двигать паровозы совсем без топлива и смазки, исключительно энергией паровозной бригады.

Это возможно, знаете.

Ныне поршни двигает пар, но если с боков паровоза приделать скамеечки, посадить на одной из них машиниста, на другой кочегара и заставить их двигать поршни ногами или руками, то, пожалуй, колеса паровоза станут вращаться, и, может быть, поезд пойдет.

Не особенно быстро пойдет, но о быстроте движения на самарозлатоустовской дороге и не заботятся.

Очевидно, памятуя пословицу «поспешишь — людей насмешишь» и изречение императора Фридриха «поспешай медленно», самарозлатоустовская дорога весьма усердно заботится о медленности передвижения.

Из вновь составленного зимнего расписания движения товарных поездов видно, что сии поезда идут от главного депо до оборотного на расстоянии 115 верст 13 часов 50 минут.

К сему — плюс опоздания, вследствие заносов и других причин, разумом начальства не устраненных.

Представьте же себе поездную прислугу, в продолжение 15—16 часов вымораживающую из себя жизненные соки и здоровье на открытых всем ветрам площадках тендера и тормозов.

Противу жадности сей самой прислуги и восстает съезд, именно ее-то заработок он и ест.

Было как-то в газетах известие, что смазчики и машинисты имеют тенденцию, в видах большого накопления премии за экономию по смазке, смазывать паровозы одними нефтяными остатками.

Этот слух расследовали и оказалось, что в нем есть крупная доза правды.

Смазчики и машинисты были виновны в пристрастии к нефтяным остаткам в ущерб салу и маслу.

Но это, видите ли, потому, что если смазывать только салом и маслом, то на долю каждого паровоза приходится перерасход выше нормы на 5 р. в месяц.

Очень узка эта норма!

А перерасход сносится на счет жалованья прислуги, и 5 р. совсем уж не такая маленькая сумма, от которой мог бы без сожаления отказаться в пользу дороги человек, получающий 40—60 р. в месяц.

Но и на расход нефти существует норма.

Посему следует ожидать, что паровозная прислуга, желая сохранить гроши, со временем станет смазывать паровоз снегом или другим материалом, потребление коего при всей мудрости человеческой трудно будет нормировать.

Есть на самаро-златоустовской железной дороге машинисты, которым приходилось платить дороге по 25 р. в месяц за перерасход топлива.

Это, видите ли, потому, что им дана такая тяга, которую давно бы следовало сдать в лом или подвергнуть «большому ремонту».

В довершение всех сих печалей — при раздаче наград машинистов обходят, как людей, получающих премию за сбережение топлива и смазки.

В прошедшем, не так давнем, они не лишались наград, хотя их заработки и были лучше, ибо рамки всевозможных норм тогда были шире.

В довершение же всего — раньше машинистам выдавалась наравне с другими службами теплая одежда на зиму, а ныне им выдают только некие подобия шапок и фуражек, да и то не всем, а кажется, только тем, которые облик имеют благообразный, поведения благочестивого, женаты и супружеские обязанности исполняют правильно и усердно.

Да-с, так вот каково награждение поездной прислуги на самаро-златоустовской железной дороге.

И предполагаемое инженерно-техническое совещание имеет целью еще несколько утеснить машинистов, сузив рамки норм топлива и смазки.

Нормальны ли эти нормы?

Вот вопрос, который следовало бы пощупать съезду.

Нужно бы установить норму и для норм.

16 ноября, № 247.

75

«Забава Путятишна» — забава пустяшная и кого хотела позабавить ею дирекция нашего театра, это осталось ее, дирекции, тайной.

От усердия гг. исполнителей веселая пьеса Буренина превратилась в балаганную интермедию с воем, но без музыки, хотя г. Гофман в последнем акте и пытался сыграть соло пальцем на пуговицах своего кафтана. Г. Гофман жестикулирует, очевидно, со специальной целью напомнить публике о ветряных мельницах.

Зная, что публике такая жестикуляция не может нравиться, г. Мирский — князь по пьесе — в первом же акте отправил г. Гофмана в тюрьму и продержал его там до конца шестого, чем публика была очень довольна.

Надеялись, что тюрьма исправит г. Гофмана, но ошиблись, — он неисправим.

Он как только вышел из тюрьмы, так сейчас же в эпическое время

пред лицом киевского князя и своих товарищей богатырей начал плясать «Паулину».

У него врожденная ненависть к здравому смыслу.

Эпически нелеп был г. Стенин в роли Соловья Будимировича и в костюме венецианца, к которому, как нельзя более, шли старые болотные сапоги, ярко вычищенные ваксой.

В эпоху Ильи Муромца и Добрыни, в стольном городе Киеве, пред лицом князя «Красного Солнышка» — г. Стенин нашел возможным петь какой-то опереточный мотив для того, чтобы выманить из терема княжну Забаву.

Это было воистину забавно!

Но, г. Стенин, — папаша оперетки, Жан Офенбах, родился уже после эпических времен и Русь приняла оперетку, предварительно окрестившись в Днепре.

Хотя киевского князя и звали «Красным Солнышком», но он все-таки не имеет ничего общего с «Красным Солнышком» веселого француза.

Можно любить оперетку, но не следует приписывать ей столь древнее происхождение, — это совершенно излишне для ее славы.

И еще одно маленькое замечание.

Если г. Стенин и в жизни так же вяло и скучно ревнует, как на сцене, увы! он не заслуживает любви женщин.

Г-жа Нинина-Петипа изображала мудрую жену эпоса — Василису Микулишну.

Для этого она надела на себя костюм Марины Мнишек, — взяла в руки дешевенький, но новый верх-исетский поднос и с гордым видом юноши, только что вчера получившего чин штык-юнкера, расхаживала по сцене.

Г-жа Каменская в роли мамки княжны Забавы для чего-то обрядилась в костюм грузинки и еще раз доказала публике, что она не комическая, а смешная старуха.

Г. Старков изображал Добрыню Никитича с оселедцем из пакли и в костюме запорожца времен уничтожения Сечи.

Г. Кольцов в роли Ильи Муромца был на своем месте — маленькие роли очень идут к его большой фигуре.

Г-жа Лодина была хороша, но сладка до приторности.

Щеголя и фата Чурилу изображал г. Шувалов и поверг публику в недоумение.

Эпос рисует Чурилу красавцем, а г. Шувалов явился чем-то вроде черемисина в праздничный день.

Алешу Поповича изломал г. Ломакин.

И наконец — три посла из орды царя Калина.

Какие-то три чучелы, лишенные образа и подобия человеческого, выскочили на сцену и стали кричать козьими голосами.

Были они безобразны и глупы и таковыми их сделали, должно быть, из патриотизма.

Они, как инородцы, очевидно должны были по мысли режиссера

служить доказательством превосходства русских пред другими дикарями.

Поучительно.

Очень возвышает русский дух.

Смотрит человек и радуется:

— Я еще что! Э, вона какие уроды на свете есть. А я еще совсем ничего!

Буду справедлив.

«Забава» имела свою хорошую сторону.

Она кончилась рано, в двенадцатом часу.

Это было всего лучше.

А сегодня идет «Гамлет».

Мне грустно.

Несчастный принц!

Бедный Шекспир!

17 ноября, № 248.

76

Не чувствуя над собой никакого контроля, обеспеченное в свободе своих действий своими связями, почтеннейшее «Российское Телеграфное Агентство» *разъярилось* за что-то на русскую грамоту и ныне усердно истязует ее в своих реляциях.

То, что помещают у себя провинциальные газеты под рубрикой «телеграмм», представляет из себя, — как, наверное, давно уже заметил провинциальный читатель, ни более, ни менее, как выжимки и ососки из телеграмм газет столицы, а хозяева этих газет есть в то же время пайщики агентства.

Агентство преследует ряд целей; из них первая— рекламирование пайщиками своих газет и предприятий вроде театра литературно-артистического кружка и печатни «Гуттенберг», а последняя — доставление в провинциальные издания за солидную сумму — 400 р. в год — кратких и неясных сведений о делах мира сего.

Последнее время краткость и неясность осложнена еще и безграмотностью.

Так, например, в одной телеграмме из Лондона лорд Салюсбери говорит:

«Что бы ни произошло, должно произойти с общего согласия».

Точка и — больше ничего!

Рассмотрим телеграмму агентства и постараемся найти в ней смысл.

Из слов «что бы ни произошло — должно произойти» по-моему явствует, что Российское агентство верит в несокрушимость силы рока.

Но это не ново.

Философы востока тоже все почти были фаталистами, много фатализма есть в учении стариков, немножко фаталист был Ренан и очень много Шопенгауэр.

В фатализме хорошего мало и сообщать фаталистические афоризмы телеграммами едва ли стоит.

Кому это нужно?

Засим конец телеграммы «с общего согласия».

С чьего общего согласия — европейских держав или пайщиков общества.

Сие остается тайной для провинциального читателя.

В телеграмме из Лондона же от 8-го ноября агентство сообщает из Бангкока:

«Девять *разъярившихся* матросов французской канонерки Vipére отколотили констебля английской миссии».

Почему матросы *разъярились*? Неведомо.

Почему именно разъярились, а не рассвирепели, не раздражились и т. д.

Неизвестно.

В телеграмме за 14 ноября речь идет о созыве европейской конференции «для улажения» турецких дел.

Это «улажение» не совсем ладно, ибо оно далеко не в ладу с русской грамотой.

Конечно, с точки зрения столицы и ее газетных людей провинция страна дикая, и, что ей ни дай, все съест, но ведь такой взгляд, может быть, и неверен.

Провинция кое-что смекает и кое-что читает. «Улажения» и «разъярившиеся матросы» дерут ей уши и приводят в ярость.

И хотя, говоря стилем агентства, «все что произойдет — должно произойти с общего согласия», однако, на то, что происходит с грамотой в телеграммах агентства, сообщающих неясные сведения о престарелых новостях, на все это провинция не давала агентству своего согласия.

И не может дать.

Ибо ей хотелось бы платить деньги за новости, действительно новые, а не за те, которые дает агентство и которые в провинциальных газетах являются чуть ли не через три дня после того, как их сообщают газеты столиц.

Их провинциальные газеты могут бесплатно вырезать из столичных изданий, которые приносят новости одновременно с телеграммами.

18 ноября, № 249.

77

Узнав о мотивах, на которых сорок девять канцеляристов основали свой отказ людям, просившим их допустить в помещении клуба устройство народных спектаклей, — я изумился.

Меня поставило втупик отношение гг. канцеляристов к такому важному делу, как народный театр, и совершенно поразило их представление о публике народного театра.

Нашли, что эта публика непременно испортит стены, мебель и занавески помещения, в котором гг. канцеляристы играют в винт,

сплетничают, ругаются, иногда танцуют и за всем этим всегда смотрят на свой клуб, как на загон, в котором можно публично напиться до положения риз, до «белого слона», до «зеленого змия» и до всех прочих степеней опьянения.

Но как же публика народного театра испортит стены и занавески клуба?

Не представляют ли себе канцеляристы эту публику в виде мух, которые, рассаживаясь по стенам, занавескам, зеркалам, действительно портят все это, оставляя на месте своего сидения точки и двоеточия?

Если это так, — гг. канцеляристы ошибаются.

Публика народного театра, как и все прочие люди, не умеет садиться на стенах и занавесях.

Следует говорить о мебели.

Но как же и чем эта публика могла бы испортить мебель?

Не понимаю.

Нет, соображения сорока девяти канцелярских умов недоступны уму моему.

А все, таки — извольте представить себе такую картинку.

Пред вами весы — все равно какие, просто большущие или маленькие весы.

На одной чашке их лежит сознание необходимости дать простому народу развлечение, поучающее и воспитывающее ум, на другой — положена боязнь за свежесть занавесок, чистоту стен и крепость мебели.

Стрелка весов неподвижна, из чего явствует, что взвешиваемые вещи сами по себе как бы равновесны и одноценны.

Но — вот собираются гг. канцеляристы и начинают подкладывать на весы свои мнения и взгляды на степень важности для жизни занавесок, стен и мебели с одной стороны, и на моральное усовершенствование людей — с другой.

Из сорока девяти канцелярских мозгов вылезают мнения, предпочитающие всему на свете — занавески и чистоту их.

Сорок семь мозгов полагают, что народный театр, пожалуй, более важен, чем занавески и прочее такое.

Два мозга перевешивают — это очень тяжелые мозги.

Занавески предпочтены народному театру.

Прения окончены.

Часто, глядя на людей, я с прискорбием замечаю, что и в их головах есть мозги.

И с прискорбием еще бóльшим я думаю про себя:

— О, природа! Зачем ты дала этим людям мозги? Без них они были бы безвреднее. С ними же они совершенно бесполезны для всего хорошего, но служат прекрасной почвой для произрастания всяческого бурьяна и репейника, заглушающего собою рост и развитие скромных цветиков, которые со временем могли бы дать жизни питательные ягодки.

Да, природа или не экономична, или слишком равнодушна к делам людей.

Ей следовало бы не только создавать человека, но и следить за его поведением, — ибо очевидно, что люди относятся к своему поведению еще более равнодушно, чем природа к ним.

Взяв на себя полицейскую роль наблюдать за порядком в людских мозгах, природа могла бы оказать весьма важные услуги человечеству, а так как она всемогуща, — то для нее ничего не стоило бы лишить человека употребления мозгов.

Видит она, например, что мозги данных субъектов действуют в направлении вредном и дело жизни тормозящем, и принимает противу них свои меры.

Напускает на них какого-либо червя, и оный червь освобождает их черепа от присутствия под ними дурнодействующих мозгов.

Или творит эдакий ядовитый ветерок, и он иссушает темные мозги.

Никто бы от этого ничего не потерял, а многие даже и выиграли бы.

Безмозглые люди существовали бы столь же свободно и спокойно, как существуют и по сей момент, но лишенные возможности «мудрствовать лукаво», они бы не мешали жить тем людям, мозги которых работают на пользу жизни, а не во вред ее.

19 ноября, № 250.

78

Однако, чорт возьми, довольно трудно быть головой города?

До сей поры я неверно представлял себе, в чем тут дело.

Я очень много видел городских голов, и все это были весьма почтенные головы.

Обыкновенно я видел их в такой обстановке: возвышается голова над столом, покрытым зеленым сукном, по оба бока головы два члена, один — правая рука, другой — левая и, уверяю вас, что на моих глазах никогда рука руку не мыла, хотя говорят так, я отнюдь не хочу сказать, что обе руки были грязные, — отнюдь нет!

Ниже головы — шея, на шее цепь.

На лице головы — уста, из которых исходят разные вопросы, произносимые большей частью в утвердительном тоне.

Я, например, всякий раз, как г. голова спрашивал гласных:

— Согласны?

почему-то думал, что это г. голова говорит:

— Молчать!

Или:

— Не прекословить!

И все это я представлял себе, как оказывается, неверно.

С моей точки зрения выходит, что быть головой совсем не головоломное дело.

Просто сидит человек за столом в цепи и говорит все то, что считает нужным сказать, а те, что его слушают, — его слушаются, и в этом все дело головы.

Но 16-го ноября г. Михайлов доказал мне мою ошибку.

Он целый час почти упорно и настоятельно, смело и ясно доказывал голове и думе, что голове города необходимо иметь в себе логику.

Представьте!

Я был поражен, я никогда еще не видал столь смелого человека, который публично требовал бы присутствия логики в голове города.

А г. Михайлов шел дальше.

Он говорил, что городу дается голова для того, чтобы думать в думе об интересах города, а не для того, чтоб игнорировать эти интересы и ставить весь состав думы в положение малых детей, выслушивающих внушения и увещевания со стороны администрации.

Голова слушал все это и в изумлении качал головой.

Он ничего подобного не ожидал, очевидно.

Он, как и я, полагал, должно быть, что раз он голова, не ему слушать такие верные, меткие и смелые речи, и что он всем городским делам голова и полная хозяйка.

И вдруг г. Михайлов с большим гражданским одушевлением доказывает противное.

Серьезность его речей и их глубокое значение бросились голове в голову.

Но вызвали на лице головы не краску стыда за неясное представление своих задач и сознание ошибок, а краску гнева на г. Михайлова и иже с ним за их смелость и за то, что они указывают голове его надлежащее место и его задачи.

Ах, много поучительного вынес я из думского заседания!

Теперь, по милости г. Михайлова, я знаю, что место головы не на шее города, а во главе его интересов.

Но я хотел бы знать, позаботится ли он в будущем о том, чтобы не ставить думу пред лицом администрации в положение провинившейся и достойной выговора?

Подумает об этом голова?

21 ноября, № 251.

79

Некто прислал мне из Уфы прежалобное письмо.

— Обличите нас! — просит он.

— Обличите, ибо мы отчаянно и свирепо деремся, бьем друг друга кулаками без всякой пощады, дробим зубы, сокрушаем ребра и скулы и дошли в этом деле до того, что даже самим стыдно стало.

Письмо написано в очень плачевном тоне, и хотя не особенно грамотно, но очень искренно.

Кулачная расправа, на которую жалуется автор, особенно сильно процветает в мастерских железной дороги.

Но дерутся, по словам автора, не пьяненькие мастеровые, а интеллигентные, и дерутся они не потому, что выпивши на службу приходят, а «просто так», или «для пущей важности».

Признаться, я не верю в правдивость письма и не верю главным

образом потому, что оно направлено противу какой-то «интеллигенции».

Интеллигенция и — дерется!

Невероятно!

Судите сами, — ведь для того, чтобы периодически драться, нужно помимо моральной дикости обладать еще недюжинным запасом мускульной энергии.

А энергии, как мускульной, так равно и всякой другой в данное время у нашей интеллигенции нет, что она изо дня в день и доказывает своей тусклой, скучной, будничной жизненкой.

На основании вышеизложенного и принимая во внимание то обстоятельство, что автор письма, красноречиво изображая картины зубодробительства и скулоразрушения, плохо разработал и очертил детали картин и дал мало фактов и имен для того, чтоб можно было беспристрастно и основательно сделать вывод из его длинного сообщения о драках в уфимских мастерских, — я оставляю его сообщение под сомнением, до представления им более солидных данных в подтверждение его взгляда на дело реброломательства.

Вот резолюция.

В то время как в Уфе дерутся интеллигенты, в Самаре извозчики конкурируют с конкой, пустые вагоны которой с жалобным визгом катаются взад и вперед по городу, вызывая у извозчиков торжествующий смех.

Вот иллюстрация.

Место действия — станция конки у земской больницы.

Около станции, как коршуны, разместились извозчики.

Со двора больницы выходит человек, очевидно желающий ехать, ибо он направляется к вагону.

— Ваше степенство! — подлетает к нему извозчик, — поедемте со мной! Куда угодно, за гривенник. Скорее конки и покойнее!

— За гривенник? — недоверчиво спрашивает пассажир.

— Только за один гривенник!

— А ежели я на Хлебную? — осведомляется пассажир.

— Да хоть в Рождествено!

— Н-ну!? Едем.

Едут.

— Чего же это, братец ты мой, дешево так ты возишь? — спрашивает пассажир.

— А потому, ваше степенство, мы так задарма и ездим, что хотим эту самую конку доехать.

— Н-ну?

— Больше никаких! Потому — что́ она? Одно, можно сказать, приспособление, а не конка! Дребезг один! Катают по городу пустые вагоны драными лошадьми и думают, что они и в самом деле конка. Какая же она конка, ежели у них заместо лошадей, вроде как бы старые крысы работают? Хлещи ее, как хошь, — рази она пойдет? Она стопудовый-то вагон возила, возила летом по жаре, — ну и лишилась сил. Ей теперь и пустую-то посудину тяжело таскать. Ее лупят кучера, а она только хвостом машет да про себя думает:

«Как не дуйте меня, молоду,
Все равно я с места не сойду».

— Поворот налево!

— Па-ажалуйте! Приехали!

Пассажир достает гривенник и вручает его вознице.

Возница делает изумленную рожу.

— Десять копеек? Рази это возможно, господин, за такой путь? Ведь я не конка.

— Да ты сам же сказал.

— Так ведь я это для вашего завлечения. Рази бы вы иначе-то сели на меня? Никак бы вы на мне не поехали, ежели бы я с вас дороже запросил.

— Это верно.

— Ну вот! вы человек умный... прибавьте еще хошь гривенничек! Тоже я с вами разговаривал дорогой-то. За это как мне не накинуть!

— Ах ты... — ухмыляется пассажир и накидывает.

Торжествующий возница исчезает, объехавши и конку, и пассажира, и очень довольный своей сметкой.

22 ноября, № 252.

80

Это было недавно, на днях.

Возвращаясь однажды вечером из редакции домой, я был остановлен робким возгласом.

— Послушайте!

Обернулся и вижу, — стоит сзади меня молодая девица и, смущенно перебирая пальцами концы шали, исподлобья смотрит на меня и что-то хочет сказать.

— Вы что?

— Можно мне пойти немножко с вами?

— Пойдемте.

Пошли.

Сначала она все вздыхала, поводила плечами и перекидывала муфточку из руки в руку, — и все это продолжалось столько времени, что мне уже стало скучно.

— Я вас хочу спросить — куда мне жаловаться на мать?—медленно выговорила она и вопросительно подняла на меня глаза.

Глаза у нее были робкие, бледные какие-то, бесцветные, лицо бескровное и худое, но миловидное, темные пятна под глазами придавали ему выражение печальное и убитое, а тонкие губы так сжаты, точно она собиралась расплакаться. Одета она была по-мещански просто — в старенькую, потертую шубенку и шаль.

— Что вам сделала мать?

— Бьет все... очень больно. Да это бы ничего еще...

— А разве есть еще что? — спросил я.

— Да-а. Она, видите ли, продает меня одному господину. Потому она и бьет, что хочет вот продать, а я не согласна...—вполголоса объяснила девушка, и губы у нее вздрагивали.

— То есть, как же это она вас?

— А он, видите, дает ей сто двадцать рублей за меня, и чтобы я жила с ним, вроде как бы жена, столько времени, сколько он захочет.

Как видите, дело шло о чем-то вроде новой формы брака, о браке на срок, о временном пользовании женщиной, как таковой, за известную арендную плату...

По всей вероятности, мать, сдающая в аренду свое дитя, при этом даст арендатору гарантирующую его права расписку, такого приблизительно содержания:

«Накануне XX-го столетия, в конце века гуманизма, всяческого просвещения и блестящего развития наук, в 1895-м высококультурном и просвещенном году, я, нижеподписавшаяся самарская мещанка такая-то, сдала дочь свою Олимпиаду в аренду г. N за сумму в сто двадцать рублей серебром и на срок, какой ему г. N самому будет угодно пользоваться дочерью моей. Причем я, мещанка такая-то, за уплаченные мне г. N деньги лишаюсь всех моих кровных прав на арендуемую у меня статью и никаких претензий за порчу г. N тела и души моей дочери обязуюсь не предъявлять, считая себя вполне удовлетворенной полученною мной с него арендной платой... Мещанка такая-то»...

Просто и основательно.

Было время, когда на рынках Рима глашатаи кричали:

— Sardi venales! Alnis alio negnior!

Что по-русски значит:

— Сардинцы продажные! Один хуже другого!

Сардинцы считались плохими рабами и шли по дешевой цене.

А было это в 179 г. до р[ождества] х[ристова].

Что, как настанет время, когда на наших рынках тоже будут кричать:

— Мещанские девушки продажные! Одна другой лучше! Недорого! Кому угодно?

Подумайте-ка, ведь, право же, это вполне возможно накануне XX-го столетия по р[ождестве] х[ристове].

Нечто в этом духе уже существует, и кто хочет в этом убедиться, пусть погуляет по Дворянской улице вечером от семи до десяти.

Там очень много продается рабынь; вся разница между торговлей Рима и Самары в том, что у самарских рабынь нет глашатая...

...Я много говорил с этой девушкой и немало говорил с другими людьми.

Из разговоров с ней я выяснил, что она не хочет итти в аренду потому, что арендатор рыжий и что у него всегда мокрые усы, которые при поцелуях мажут ей щеки, отчего ее тошнит.

Затем она показывала мне три кровавые рубца на своей шее, — это любящая рука ее матери положила на шею дочки яркие знаки своих забот по адресу «плоти от плоти своей».

А из разговоров с другими людьми выяснилось, что помочь чем-либо девушке очень трудно.

Чем можно доказать, что мать продает ее?

Девочка уже совершеннолетняя — ей шестнадцать лет и четыре месяца.

Я рекомендовал ей обратиться к прокурору, предлагал написать прошение, много говорил ей о возмутительности того положения, в которое она встает.

Но — увы! Возмутительность эта с ее точки зрения сводилась, главным образом, к рыжему цвету волос и мокрым усам арендатора, а моральный смысл факта был недоступен ее пониманию.

Однажды она даже сказала:

— Это-то ничего бы! Все равно, ведь, как-нибудь да нужно же выходить замуж! Иной еще с тебя приданое возьмет.

Как видите, у нее не особенно лестное представление о браке, но... может быть, она права.

С ней трудно было говорить, ее возмущало только то одно, что «он» — «рыжий чорт» и что он — «сопливый».

Pardon![1] Но она именно так выражалась.

Итак, поговорив с нею раза четыре, мы пришли, наконец, к одному соглашению, по поводу которого она решила «подумать».

Прощаясь с ней, я уже чувствовал, что потерпел фиаско в моих намерениях, — не умея думать, нельзя обещать «подумать» и нельзя что-либо выдумать.

— Он не здешний, этот рыжий-то: из-под Уфы откуда-то... А мать уезжает в Балаково, коли это дело сойдется... — нашла нужным сказать мне эта девочка.

И вот теперь я узнаю, что «это дело» — сошлось.

Рыжий, должно быть, покрасился и вытер себе усы.

Человек временно продан за сто двадцать рубликов.

Дорого это или дешево — как по-вашему?

В хорошей книге г. Далина «Не сказки» среди разных фактов, рисующих бесправие женщины, есть вот какой факт.

На Харьковском вокзале сидят одиннадцать красивых и свежих девушек в возрасте до 17-ти лет, а около них увивается «восточный чэлавэк» и на вопрос, что́ это за девочки, — откровенно, и даже торжествуя, объясняет:

— Дэвочки? Очэнь хороши! На Одэсс вэзу...

Словом, перед публикой был налицо так называемый «живой товар» — партия живого товара, еще не бывшего в обращении.

Днем, при ярком свете солнца и на глазах сотен людей, одиннадцать живых душ отправляются на гибель: всем известно, что их втопчут в грязь, погубят, отравят, уничтожат.

Никто не в праве помешать этому, никто.

Нужно доказать, что эти одиннадцать «продаются» без разрешения и согласия родителей,—тогда можно бороться с восточным человеком.

Но если девушку, помимо ее согласия, «продают» родители — тут нечем и не с кем бороться.

Тут нечем помочь девушке.

Особенно, если она сама — без души.

---

[1] *Перевод*: Извините.

«Паны дерутся, а у хлопов чубы трещат».

Эта малорусская народная пословица как нельзя более точно и верно устанавливает действительное отношение хлопских чубов к панским дракам, и каждый день жизни, кажется, только для того и создается, чтобы подтвердить истинность юмористического афоризма, констатирующего печальное положение ни в чем не повинных чубов.

Сему пример.

Не так давно в «Самарской Газете» было помещено несколько заметок о доставке почтовой корреспонденции в Солдатскую слободку.

В одной заметке говорилось о том, что хотя эта слободка и не включена почему-то в черту города, но все-таки не мешало бы ее куда-нибудь включить, ибо это исключение лишает обитателей возможности пользоваться услугами цивилизации.

Им не доставляется местной почтово-телеграфной конторой корреспонденция и это обстоятельство, как бы выталкивая их за пределы культурного мира, — может нанести им разные ущербы и убытки.

— Это верно! — подтвердил бедный хлопец, почтальон Степанов. — Это совершенно правильно! Мне один тамошний житель говорил уже, что он сам восемьсот рублей потерял оттого, что письмо, адресованное ему, не было своевременно доставлено.

Затем почтово-телеграфная контора распорядилась доставлять письма в слободку.

Этим бы вся история и должна закончиться.

Но увы!

Бедный хлопец не может и истину подтвердить, не поплатившись за это своим чубом.

До сведения начальника почтово-телеграфной конторы дошел слух о том, что почтальон Степанов согласен с мнением газеты по вопросу об исключении Солдатской слободки из лона культуры...

Начальник нашел, что это — возмутительно!

Почтальон, мелкая сошка, ничтожнейшее существо, живущее на 18 р. в месяц, — и туда же говорит «это верно», «действительно», «убытки» и т. д.

Имеет ли он на это право?

Никакого!

Его назначение и обязанность ходить и разносить.

А обязанность начальства — следить и разносить.

И начальство решило разнести разносчика почты.

Разнесло.

Но не удовлетворилось.

Поехало к начальнику округа и доложило:

Почтальон Степанов вместе с корреспонденцией разносит по городу разные слухи, инкриминирующие честь нашего учреждения и подтверждающие злобные и лишенные всякого основания выходки

«Самарской Газеты» — органа, для которого, как известно, нет на свете ничего святого!

— Проверить слухи, распространяемые Степановым, — сказал начальник округа.

И вот начальник конторы сел, взял с собой несколько чиновников и поехал в Солдатскую слободку проверять хлопца Степанова, у которого от предчувствия чего-то недоброго чуб давно уже начал потрескивать.

Когда почтовые чиновники, люди в мундирах со светлыми пуговицами, подъехали к источнику слухов, — источник, в лице мещанина Межина, опешил:

— Господи! Иисусе! Полиция!

— Это вы понесли убытки?

— Убытки? Я... я самый. Мне, значит, было письмо, а его не доставили как надо, оттого и убытки. Это верно, убытки я понес, а больше — вот вам Христос — ни в чем не виноват! Хучь шкуру с меня живого содерите!

— Нам ваша шкура не нужна.

— Очень прекрасно! Покорно благодарю. А что убытки это верно. Мы все здесь по причине задержки писем несем убытки. Приходит на станцию товар и лежит там, а извещение о том, что он пришел, лежит на почте, а мы, значит, дома лежим. Потом с нас железная дорога за полежание-то и взыскивает.

— Позвольте! Это к делу не относится.

— Я — ничего ведь. Только вредно это нам — полежание-то.

— Вы сколько убытка понесли — 800 р.?

— Я? Нет, меньше. Я — меньше понес. Я понес...

— Меньше значит?

— Меньше! Надо говорить правду.

— Так меньше?

— Ей-богу, господа честные, меньше!

— Ага! Больше ничего!

Бедный хлопец Степанов!

Он оказался не прав — убытки хотя и были понесены, но не в размере 800 р., — а меньше.

Несчастный хлопец!

Береги свой чуб.

Возвратясь с расследования, начальство донесло о возмутительном поступке Степанова по начальству и — вот результат этой истории.

Предо мной копия заявления Степанова на имя начальника почтово-телеграфной конторы.

В ней Степанов говорит:

«Вследствие предписания г. начальника самарского почтово-телеграфного округа от 12-го ноября я переведен тем же званием в Балаковскую контору, на низший оклад, но за болезнью жены, неимением средств и теплой одежды для семьи, а также, не чувствуя за собой никакой вины, я вынужден оставить службу и вследствие

вышеизложенного покорнейше прошу ваше высокоблагородие о высылке документов моих».

Следует адрес, куда выслать документы.

Оклад получал Степанов — что-то 18 р., а смещен на 12 или на 14 с полтиной.

Пять с полтиной или три с полтиной убавлено из жалованья Степанова — в наказание за то, что он подтвердил истинный факт, — не знаю.

Вот она историйка с треском хлопского чуба!

«Самарская Газета» сказала нечто, — начальство почты рассердилось на нее, а так как с ней лично, с газетой, возиться было бы долго, то начальство и сорвало гнев на хлопце Степанове, хотя он тут решительно ни при чем.

Грустно.

Сколько бедных хлопцев теряют свои чубы из-за того,что паны гневаются и дерутся!

В 1509 году Дезидерий Эразм Роттердамский — один из первых и самый крупный литератор гуманист написал книгу, которую назвал «Похвала глупости». Она есть в русском переводе и стоит всего только три двугривенных.

Я почтительнейше рекомендую эту книжку, написанную в 1509 году, некоторым современникам, как литературную новинку, с которой им необходимо познакомиться, если они и в 1895 году не умеют быть справедливыми и гуманными.

26 ноября, № 255

82

«С наступлением зимы в общественной жизни нашего города замечается оживление»...

Я произношу совершенно серьезно эту сакраментальную фразу, которой обыкновенно начинаются корреспонденции из разных медвежьих углов.

Я знаю, что мне никто не поверит, — мы совсем не так настроены, чтобы верить в возможность какого-либо оживления.

Но... я вчера ночью беседовал с ночным сторожем, и он удостоверяет, что «замечается оживление».

Это очень почтенный и до того обремененный своим гардеробом человек, что он совершенно лишен способности к движению.

Он ведет существование созерцательное и весьма удобное для наблюдений над жизнью.

В восемь часов вечера он возлагает на себя всю одежду, какая у него есть дома, выносит ее на улицу и под бременем ее падает у первых ворот, — падает и пребывает неподвижен и подавлен тяжестью своего костюма вплоть до утра.

Если бы ему пришлось догонять воров, прежде чем побежать за ними, он должен раздеться, — это требует около часа времени.

По сей причине, — зная, что в час времени воры даже и шагом

сделают minimum пять верст, он никогда, никого не догонит и ни за кем не гонится.

Он просто сидит и если не спит, то соображает — оживляется жизнь или нет?

И вот он нашел, что оживляется.

— Зимой это завсегда! Скучно — вечера длинные. Люди ходят друг к другу в гости. Ну, конечно, как соберутся — первое дело чай пить, потом — водку лущат. Подопьют — ругаться. Поругаются — драться почнут... Сейчас крик—караул! Полиция приходит. Я иду. Мирить их... Глядишь—за примирение двоегривенный тебе и капнет в карман... Как можно! Зимой всегда живее... Потому зимой — тоска на всех, а от тоски скандал заводят. Зимой нашему брату очень даже тепло. И пьяных больше. Пьяный — он беспокойный человек, — но выгодный. Около его очень даже приятно потереться, особенно, ежели он добрый... Да... Зимой—куда те! Зимой всегда живо!

Вот каково живется зимой с точки зрения ночного сторожа.

Но есть другая точка зрения, с которой всевозможные криминальные происшествия не принято считать оживляющими жизнь.

Или Самара понимает «оживление жизни» с точки зрения ночного сторожа?

Никак не могу разобраться в этих вопросах.

Вижу скандалы, вижу стремление к творчеству таковых, но не вижу желания разумных и веселых развлечений и не замечаю никакой любви к общению в местном обществе.

«Веселой крови в жилах нет,
«Иль сердце к жизни охладело?» —

хочется спросить у людей стихами покойника Жемчужникова.

28 ноября, № 256.

83

Стоимость интеллигентного труда с точки зрения самарского коммерсанта на днях точно установлена одним из последних, г. Т[ищет].

Ему потребовалось подготовить своего десятилетнего сына для поступления в учебное заведение, и вот он ищет человека, способного «образовать сынишку, штобы ён в емназию впёрся».

Такой человек найден и готов служить.

— Ты мне, миляга, — устанавливает г. Т[ищет] количество труда, — обучи его всему, что там требовается по порядку. Еграфия — и еграфии, — рихметика — и ее напхай ему в голову, одно слово, приведи мне малого в нужную ролю — и больше никаких! Можешь?

— Могу... — говорит человек.

— Так. А денег тебе сколько за это?

— Три часа занятий?

— Мне хоть пять. Мне чтобы обучить мальчишку. А сколько часов тебе работы — это твое дело. Хоть десять.

— За три часа ежедневных занятий я с вас возьму десять рублей... — говорит учитель.

Купец разевает рот и делает круглые глаза.

Он долго молча смотрит в лицо учителя и, наконец, хохочет во всю мочь и силу.

Учитель в недоумении.

— Уморил! — покатывается со смеху купчина.

Учитель просит его успокоиться и объясниться.

— Изволь — объясню. Чудак ты, вот что! Да ты понимаешь ли, что я за десять рублей в месяц имею кухарку и горничную, десять рублей плачу кучеру, семь целковых дворнику и все эти люди за свое жалованье целый день у меня работой заняты, понял? Целый день! А ты за три часа в сутки хочешь с меня эту сумму слупить. Эх ты, ученый! Видно, по учености своей бога-то ты уж и не боишься совсем.

— Но — позвольте! Какое же вы мне вознаграждение предложите? — спросил ошеломленный учитель.

— Какое? Я, брат, по чистой совести, могу тебе дать 1 р. 50 к. в месяц!

— Полтора рубля?!

— Серебром! Получай и с богом принимайся.

Учитель рассчитал, что полтора рубля в месяц это будет maximum по семишнику за час работы.

Семишник за час умственного труда — унизительно дешево и предложение этого семишника — варварски глупо.

— Ну нет, мы не сойдемся, — сказал учитель.

Купец удивился.

— Чего ты пыжишься, скажи на милость? Вашего брата, ученых, уйма без делов шляется. Я, брат, найду и такого, который с меня полтину в месяц возьмет... Так-то... Больно ты чобуньковат. Фря какая! Полутора рублей ему мало... Десять целковых дай... Ишь! Я за десять-то рублей в месяц верхом на человеке кататься буду.

— Прощайте!

— Прощай — не стращай... Горд ты, брат. Видно, еще у воды без хлеба не сиживал? Постой, погоди! Хошь прибавлю? Кажинный день два стакана чаю буду давать, — хошь? Полтора, значит, целковых и стаканов сорок, а то полсотни чаю в месяц. Идет?

Не сошлись...

Да, вот он каков этот купец Т[ищет].

Оценивая так дешево просвещение и интеллигентный труд, он плохо понимает, что творит.

Нельзя не порадоваться тому, что он так плохо понимает это.

Ибо существует мнение, что чумазый скоро захватит жизнь в свои руки, захватит, исковеркает и испачкает ее.

Ну, это не скоро будет, если чумазый сохранит в себе первобытность отношения к людям и взглядов на просвещение.

При таком плохом понимании жизни и запросов современности,

как у купца Т[ищет], — трудно купцу Т[ищет] доминировать над жизнью и верховодить людьми.

Зелен...

Не созрел...

29 ноября, № 257.

84

Кто он?

Вот вопрос, который наверное сильно интересует нашу думу.

Кто бы он ни был — автор «Памятки», помещенной в № 256 «Самарской Газеты», — но во всяком случае он человек памятливый.

Извольте-ка наизусть знать названия всех существующих в Самаре комиссий!

Их так много, в них так много членов и от них так мало толка.

Он все-таки несколько промахнулся...

Бесспорно его «Памятка» производит на читателя очень внушительное впечатление своим содержимым.

Но если б он не забыл сообщить публике годы учреждения перечисленных им комиссий, сила впечатления по меньшей мере удвоилась бы.

По словам одного сведущего человека, в числе этих трех десятков комиссий есть уже и такие, коих со дня на день может постичь смерть от старческой дряхлости.

Многие стоят на границе этого периода существования.

И если б обрисовать точно года их жизни и количество их деяний,— картина получилась бы зело внушительная.

Было бы всем и каждому — до малых ребят включительно — ясно видно, сколь управа деятельна и сколь она рьяно печется о нуждах города.

«Он» этого не показал публике, к сожалению.

Жаль...

Но, перечисляя состав каждой комиссии и показав, что во всех их членами состоят одни и те же лица, он до некоторой степени гарантирует три наших комиссии от нареканий и упреков в бездеятельности.

Комиссий больше, чем рабочих дней в месяце, — вот и причина, почему гг. члены, может быть, несколько равнодушны к возложенным на них думой обязанностям.

В сущности, нельзя их винить за то, что управа столь плодотворна... в смысле разрождения на самарской земле комиссий.

Равно как нельзя их совершенно оправдать и в том, что с возложенными на них поручениями они поспешают слишком медленно.

А вот управа...

К характеристике нашей гражданственности...

24-го ноября я думал:

— А ну-ка чем г. Самара ознаменует завтрашний день?

25-го ноября я искал:

— А где же то, что знаменовало бы собою великое значение сегодняшнего дня?

Искал в физиономиях самарских граждан и не нашел ничего.

В речах уважаемых обывателей искал и тоже ничего не нашел.

Тогда, по свойственному мне добродушию, я предположил:

— Ага, они тайно празднуют сей день! Они ликуют сердцем... и больше ничего!

Но червь сомнения стал грызть меня, и тогда я осведомился у одного из интеллигентнейших представителей самарского общества:

— А что, как вы относитесь к тому, что 25 лет назад было милостиво дано Самаре...

— Я, батенька мой, всего восьмой год здесь живу и ничего не знаю о том, что тут было двадцать пять лет назад, — ответил он.

— Ага! — сказал я. — Это уважительно...

Обратился к другому.

— Что вы скажете насчет вчерашнего дня?

— Скверный день! ноябрь месяц и такая сырость!

— Я не насчет погоды, а...

— А насчет всего другого скучно!

— Скучно?!

— Ну да... Конечно, скучно... А вы чему удивляетесь?

— Я... видите ли... насчет четверть-векового юбилея нового суда...

— А-а! Да, да, да... Ну, конечно... это событие! Это даже весьма... событие! Как же?

А когда я спросил у третьего о том, как он отнесся ко дню двадцатипятилетнего юбилея нового суда, — сей муж, подумав, сказал мне:

— Ничего, это хорошо. Но я, знаете, за все это время сам ни разу не был под судом! Подумайте!

Я подумал.

Но никак не мог решить, куда мне следует отнести тот факт, что мой собеседник за всю четверть века ни разу не судился?

К сумме достоинств или недостатков нового суда?

Так «скромно» почтили в Самаре юбилей суда те, что не соприкасаются непосредственно с этим учреждением, но по «умственности» своей и по месту в жизни должны были бы как-либо подчеркнуть юбилей одной из «великих реформ» века.

30 ноября, № 258.

85

В каждом русском городе есть непременно место, как бы специально предназначенное быть показателем степени нашего невежества, грубости и прочих милых качеств.

Обыкновенно роль такого места играет какой-нибудь торговый пункт: в Москве — «Ножовая линия» и «Сухаревка», в Нижнем —

«Почаинский овраг», в Казани — «Толчок», в Самаре — «Троицкий рынок».

Как известно, насчет «добрых нравов» и просвещения мы и вообще очень недалеко ушли, но такие пункты городской жизни, каковы вышеперечисленные, хранят в себе коренные устои нашей неумытости, группируя вокруг себя все самое чумазое, нелепое и откровенно нахальное.

Торгуют там «на свой манер», развлекаются тоже «на свой манер» и если производят какой-либо продукт, то тоже непременно на свой манер.

Как на Троицком базаре торгуют, об этом слишком часто говорится и пишется.

Лавки там темные и дела в них творятся темные по преимуществу.

Не говоря уже о том, что покупателю подсовывают гнилой товар, бывает — и не редко, — что с ним обращаются «гораздо проще».

Даст он торговцу свой рубль за купленный товар, торговец требует другой.

— Да, ведь, я тебе отдал деньги? — удивляется какой-нибудь робкий мужичок.

— Когда? — хладнокровно спрашивает торговец.

— Да сейчас! чай, вот люди стоят, — они видели!

— А я не видал, давай деньги!

Люди, действительно, видели, что деньги за товар однажды уже были уплачены.

Но это нимало не смущает бойкого торгаша, и если серый покупатель не догадается позвать на помощь себе полицию, торгаш получает с него двойные деньги.

Это один из приемов торговли Троицкого рынка.

Троицкие развлечения.

Вскоре после отъезда из Самары цирка Боровского рынок устроил себе свой собственный цирк.

Роли лошадей играли свиньи, роли наездников — лавочные мальчики.

Представления начинались по желанию публики во всякое время дня.

— Иван Митрич! — кричит один торговец другому. — Представление скоро?

— Мишку услал, погодите! Придет и начнем. Сегодня бенефисное с горячей золой и с участием Кольки.

Является Мишка, свиней не нужно ждать, — их на Троицком базаре гуляют целые стада.

Мишка и Колька — бенефицианты, молодчики лет по пятнадцати, — ловят двух недрессированных свиней, садятся на них верхом и скачут мимо лавок.

Свиньи визжат и хрюкают, наездники кричат во всю мочь. Почтенные троицкие купцы хохочут и тоже орут во все горло, поощряя ездоков.

Но вот один из исполняющих высшую школу верховой езды высыпает что-то на спину животного.

Это «что-то» — горячая зола.

Оседланной хавронье больно, она делает отчаянный прыжок, и наездник летит кверху ногами на землю с ее хребта.

С отчаянным визгом свинья исчезает из глаз публики, помирающей со смеху.

Довольный одобрением публики, наездник улыбается, хотя он довольно сильно ушибся о землю.

Это сравнительно еще невинное развлечение.

Троицкие приемы и условия производства.

Некоторые бакалейщики, имеющие дело преимущественно с деревней, имеют свои «сладкие заведения».

Не стану говорить, как горько живется рабочим в этих сладких заведениях, производящих конфеты и пряники.

Сколько они работают?

Я спрашивал одного из них об этом.

— Не сосчитать! — ответил он, подумав.

А сколько получают?

Ничего. Они почти все — ученики.

Грязь тех помещений, в которых они работают и спят, является верхом совершенства.

Грязнее ничего нельзя себе представить.

Одно заведение особенно отличается оригинальностью своего быта.

Кадка, в которой месят тесто для пряников, служит в одно время и ушатом, над которым умываются рабочие.

Умоются над этой кадкой, выльют из нее помои и в ней же «заводят тесто».

Рабочие грязны, рубахи на них пропитаны патокой и гремят, как картонные.

Спят на тех же ларях и столах, на которых работаются конфеты, пряники и другие сладости для деревенского потребления.

Рассказывают еще о паразитах, которые заводятся «от сладости» и пожирают рабочих.

Рассказывают о многом, и самое малое из всего этого вполне достойно внимания санитарного надзора.

1 декабря, № 259.

86

...Когда в зале театра замерли звуки тысяча восьмисотого стиха, я вздохнул облегченно и с удовольствием убедился, что действительно это не может повторяться часто.

Двенадцать лет автор писал свое «скерцо», — ясно, что это трудолюбивый человек, трудолюбие же есть добродетель; в наше время добродетели редки, — и не ясно ли, что г. Дохтуров заслуживает медали «за трудолюбие и искусство» — искусство рифмировать такие слова, как «дело» и «не дело», «кабы» и «столбы», «конверт» и «четверг», «жена» и «вот те на!»

Двенадцать лет труда и в результате — 1800 стихов.
Ежегодно г. Дохтуров писал по 150 стихов.
Ежемесячно — по $12^1/_2$
Еженедельно — по $3^1/_8$.
Ежедневно...

Не знаю, какая частица стиха падала на день, но очень рад за г. Дохтурова, — он принимал свои стихи в таких скрупулезных дозах!

В пьесе есть содержание, как сказал мне некто из публики.

Содержание это фантастическое, насколько я понял.

Автор изобразил очень скверную привычку некоторых людей — меняться друг с другом женами по взаимному соглашению, без всяких печальных перипетий, в здравом уме, твердой памяти и в совершенно трезвом виде.

И хотя в данном случае жены были вполне довольны этой перестановкой их... но все-таки нехорошо!

В театре были барышни, — а, как известно, они зачастую превращаются в жен.

Вдруг они усвоят взгляд автора на легкость расторжения брачных уз?

Потом — автор слишком реалист, несмотря на свои классические стихи.

Он, например, позволил г. Грубину ругаться нехорошими словами.

Все шло хорошо, то есть, все шло так, как того хотел автор, и вдруг г. Грубин, испуганно глядя на публику, закричал:

— Ах, вы жулики!

Это совсем не то, что называется сценическим эффектом.

А в сцене объяснения в любви герой вдруг сам себя ругает — подлецом...

Это, должно быть, делается после объяснения, если только это делается.

Нехорошо, когда человек говорит любимой женщине:

— Счастье мое! Я подлец... и потому я люблю тебя. Я тряпка, я идиот... ибо я без ума от тебя!

Это не поэтично...

Тут нет ничего возвышенного. А у г. Дохтурова объяснения построены именно на таких мотивах.

Так что можно подумать, что герой потому только и влюбился в героиню, что он дрянной человек.

За всем тем в пьесе много наивности, то есть оптимизма, хотел я сказать.

Все-таки веселая пьеса, в конце концов.

Надо и то помнить, что другой человек в течение двенадцати-то лет, чорт знает, сколько глупостей и даже вредных глупостей мог наделать.

И мне очень приятно видеть, что за столь продолжительный срок

г. Дохтуров ограничился только тем, что написал пьесу в четырех актах и в стихах, хотя и не везде хороших.

Разве это не хорошо?!

Считаю моей приятной обязанностью отметить приличную и умную игру г. Мирского, как в стихотворном «скерцо», так и в «Волшебном вальсе».

Этот артист — одна из хороших сил труппы, но, к сожалению, он почему-то держится в тени.

А бесспорно, что в амплуа фата он был бы гораздо более на месте, чем г. Стенин.

У него есть игра и есть чувство меры.

А чувство меры — это та умная особенность хорошего артиста, которой в значительной степени лишен г. Зубов и которая вполне развита у симпатичного г. Грубина и не менее симпатичной г-жи Прокофьевой.

2 декабря, № 260.

87

Прошлый раз я говорил о том, как в уфимских железнодорожных мастерских дерутся.

Говорил я на основании письма, присланного мне некиим уфимским человеком, но рассказать все, что было сообщено мне в письме,— не мог.

Тем не менее и то, что я рассказал, возымело действие, как снова сообщает мне мой уфимский корреспондент.

Толкуйте там, что пресса не имеет влияния на жизнь!

Вот вам доказательство противного.

Когда номер «Самарской Газеты» с намеками на железнодорожные порядки попал в руки начальства, оно сейчас же нашло среди рабочих одного из невинно битых людей, к своему несчастию еще и грамотного, и предъявило ему номер.

— Это что?

— ?!

— Нет-с, это твоего ума дело. Мы тебе советуем поостеречься... да-с. Позаботься, чтоб на предбудущий раз такие писания были невозможны. Сор из избы не выноси. А то...!

Ни в чем не повинный малый сократился.

— Да это писал не я! Какие у вас доказательства, что это именно я?

— Ты грамотный?

— Да!

— Ага! Ну и достаточно! Так ты и помалкивай. Понял?

Малый ничего не понял, но, конечно, замолчал.

Кто-то, что-то, о чем-то написал, а он, ничего не ведая, оказался во всем этом виновен.

Ясно — пресса влияет на жизнь.

Вот факт из области уфимского скулодробления.

Обвиненный в писательстве человек, по словам моего корреспондента, имел суждение о каком-то служебном деле с мастером токарного цеха Т.

Мастер — это тоже начальство — горячился и говорил лаконично и красноречиво:

— Ну? — Да! — Э! — Х-хе! — Болван! — О? — Дурак! — Н-но? Х-ха!

А когда увидал, что все это недостаточно убеждает его собеседника, то употребил самый веский аргумент и дал собеседнику в зубы...

Тот пожаловался начальству.

Начальство выслушало жалобу и положило такую резолюцию:

— А не надо было выводить человека из терпения.

Зачем выводить его из терпения? Конечно, если и меня вывести из терпения и я буду бить.

И еще как вздую! Идите, и не выводите человека из терпения.

Жалобщик ушел сконфуженный.

Встречается с ним мастер Т.

— Ну что, пожаловался?

— Отстань...

— Пожаловался, ха-ха-ха!

— Скажи, чего ты надо мной издеваешься?

— Я? Я и еще тебе в зубы дам!

И мастер дал жалобщику еще в зубы.

— На, жалуйся!

Но тот уже не пошел жаловаться.

Какой в этом смысл?

Он решил проглотить пару зуботычин, в чаянии, что третья последует еще не скоро.

Но...увы! Он не обрел в смирении покоя.

Кто-то написал о происшествии мне, я тоже написал, а начальство прочитало и прописало жалобщику выговор, повергший его в трепет.

Увы, еще раз! Не буду больше писать о битых, — их и за это бьют.

3 декабря, № 261.

88

... Думаю поступить на службу самаро-златоустовской железной дороги.

Там очень заботливое начальство, — оно простирает свои попечения о служащих даже за пределы земной жизни.

Так, например, недавно издан циркуляр, разрешающий умершим служащим бесплатный проезд по самаро-златоустовской дороге.

Великолепное и очень гуманное дело.

Умер — и поезжай, куда следует, без всякой платы.

При жизни на вас за плату едут, а по смерти вас бесплатно возят.

Таким образом труды ваши награждены, и когда вы умрете, то

уже не можете сказать, что начальство не заботилось о вас и не обращало на вас внимания.

Не правда ли?

Но все-таки право на бесплатный проезд мертвецов дается им еще при жизни, а если при жизни этим правом человек не пользовался,— по смерти он тоже не получает его и должен ехать на кладбище за плату по пассажирскому тарифу, или итти пешком, — это уж его воля.

Если же при жизни служащий имел право бесплатного проезда, то и по смерти он может кататься по железной дороге, сколько ему угодно.

5 декабря, № 262.

89

— Напишите же хоть что-нибудь о них!

— Напишите! Это же возмутительно!

— Они совершенно невозможны!

И так далее.

Меня давно уже просят написать о них, и вот я, внимая гласу публики, пишу.

Да, они невозможны.

Они — это спички г. Зелихмана.

Удивительные спички: раньше, чем одна из них вспыхнет, — можно вывихнуть себе руку, зажигая их.

Я сам не раз имел с ними дело и личным опытом свидетельствую,— это ужасно упрямые и хладнокровные спички.

Они потрескивают от трения о коробку, ломаются и загорятся не ранее, чем вы испортите штук тридцать из них и сами с ног до головы будете объяты пламенем гнева.

Но от такого пламени ни папиросу не закуришь, ни лампу не зажжешь, а потому вам все-таки приходится, пылая, ждать, когда соблаговолит вспыхнуть Зелихмановская спичка.

Очевидно, что г. Зелихман делает их исключительно для продажи, а никак не для горения.

Ему следовало бы предупредить об этом публику, которая скоро будет смотреть на Зелихмановскую спичку, как на нечто фокусническое.

И на коробках с такими спичками следует печатать:

«Шведские спички, не загорающиеся сразу и требующие сильной воли от человека, покупающего их. Рекомендуются, как прекрасное педагогическое средство для воспитания характера».

Тогда, по крайней мере, будет ясно, с чем имеем дело.

А то дают тебе коробку лучиночек, выпачканных с одного конца чем-то грязным, и говорят, что это спички.

Вы верите и, пытаясь их зажечь, портите себе кровь и вывихиваете руки.

Разве это хорошо?

Это очень даже нехорошо!

От невоспламеняющихся спичек перехожу к одной самовозгорающейся даме-педагогичке.

В некотором местном учебном заведении в роли преподавательницы существует и лукаво мудрствует над ученицами одна вполне почтенная женщина с некоторым пристрастием к воспитательным приемам Игнатия Лойолы и иже с ним.

Сия дама однажды заметила, что в классном журнале надорван лист.

И вот она начинает розыск.

— Это кто сделал?

Среди нескольких десятков подведомственных ей девочек виновницы проступка не оказывается.

Дама впадает в свирепость.

— Кто? — лютым тигром рыкает она на младенцев.

Младенцы трепещут от ужаса, но не сознаются.

— А, хорошо! Весь класс — без обеда!

Это ее не удовлетворяет все-таки.

Проступок так велик, что даже и парты, и стены класса вопиют к педагогической справедливости о возмездии.

И вот дама ходит по классу и шепотком ищет преступницу.

— Скажи, милочка, кто это сделал?.. — донимает она поочередно девочек.

— Ну, скажи! А не скажешь, господь поразит тебя немотой. Если же скажешь, я тебе...

Как видите, эта дама очень своеобразна в понимании теологической этики.

По сей последней, добродетельные поступки, одним из которых в данном случае является наушничество и фискальство,— должны быть награждены на небе, пороки же могут быть наказуемы и на земле.

С точки зрения сей дамы — дело стоит совсем «шиворот-навыворот».

Она сама желает наградить за добродетели, предоставляя небесам карать пороки.

Впрочем, я плохо понимаю взгляд этой дамы на пороки и добродетели, и, может быть, ошибаюсь.

Она так и не дозналась, кто преступница.

Тогда она решила действовать по наитию.

Присмотрелась к личикам своих учениц и нашла, что одно из них несомненно принадлежит той, которая совершила страшный подрыв страницы классного журнала.

И вот она взялась за нее.

— Это ты сделала, — сознайся.

Девочка не сознается.

— Не скрывай от меня мрачных пятен твоей преступной души, я вижу их сквозь тленную оболочку плоти. Верь мне, я вижу их и хочу только твоего сознания, жалея тебя. Ты еще ребенок, держи душу твою в чистоте, а иначе, когда ты умрешь, она вознесется в небеса черной от копоти грехов, совершенных тобой, и, черная,—

она будет свергнута оттуда! Неужели ты уже так испорчена, что не боишься кары свыше? Знай, небу известно все, и твой проступок отмечен им. Я знаю, что, когда я умру, ты придешь на мою могилу и покаешься мне, но я еще при жизни хотела бы насладиться твоим раскаянием и облегчить душу твою от пятна лжи, положенного тобою на нее.

Она чуть не неделю кряду пилила такими и подобными речами бедную девчурочку и добилась, наконец, результата.

Девочка дошла от этой пилки до того, что по ночам стала вскакивать с своей кроватки и кричать испуганно и нервно:

— Папа, это — не я! Мама! — я не виновата! Я не рвала ничего! Я не виновата!

Папа послушал это раз, два, а в третий не вытерпел и пошел объясняться с умной воспитательницей глупых детишек.

Не знаю, как они объяснялись и что у них выяснилось, но для меня ясно, что в голове учащей дамы «не все дома».

Ей самой, пожалуй что — прежде, чем продолжать учить, следует кое-чему поучиться, кое-чему разучиться.

6 декабря, № 263.

90

«Немножко философии», — как говорит г. Нотович, издатель «Новостей», он же Маркиз О'Квич — человек, у которого философии действительно немножко, но зато много уменья наживать деньги.

Я хочу говорить о справедливости — понятии, как учит нас жизнь, абстрактном, скучном и ничего общего с нашим жизненным обиходом не имеющем.

Разговор на эту тему одно из существенных неудобств газетной профессии, ибо в то время, как обыватель затрогивает вопросы справедливости, когда ему угодно, и всегда только от скуки да за недостатком других, более приятных вопросов, газетчику необходимо толковать о сей абстракции всегда, чуть ли не ежедневно.

Хочешь, не хочешь, — а толкуй, таково твое назначение.

Можешь не иметь ни малейшей веры в то, что из твоего разговора выйдет толк, но все-таки пиши и будь справедлив.

Хоть тресни, а будь строго справедлив и объективен, как солнце.

Ошибешься, такого тебе феферу обыватель задаст, а известно, что обыватель не только красноречиво ругается, но порой и убедительно дерется.

По всем сим и многим другим причинам, газетчик должен всегда держать «ухо востро» и быть справедливым.

В то же время он должен быть занимателен и читателю приятен, должен писать легко и весело.

И вот мне нужно весело и приятно говорить о справедливости— о штуке, хотя никому близко и не знакомой, однако, по всеобщему мнению обывателей, тяжелой и скучной.

Ежели же я не буду весел и приятен, писание мое читатель не прочтет, ибо сему и без морали живется скучно.

Ах, какое неприятное положение!

Но все-таки...

Будем говорить.

Мы, газета, уже рассказывали, что в ночь с 16-го на 17-е ноября некий буйный товарный поезд пролетел мимо ст. Кряж, влетел на ст. Самара и разбил три платформы и один вагон.

Это беспорядок — не так ли? и даже порядочный беспорядок.

— Кто сотворил его? — спросила сама себя железнодорожная администрация и произвела розыск.

Ничего нет легче, как найти людей виноватых.

Можно с уверенностью сказать, что если врасплох крикнуть в лицо каждому из нас:

— Ты виноват!

Каждый из нас непременно вздрогнет и побледнеет, ибо кто он и где он, — человек, который был бы не виноват в чем-либо?

Итак, железнодорожное начальство стало искать виновных.

И, конечно, сейчас же нашло и уличило их путем свидетельских показаний.

Было доказано, что машинист этого поезда спал на паровозе,— и спал «*стоя*».

Разве это можно?

Кто же из порядочных людей спит стоя?

И машиниста оштрафовали на 5 р.

Это разве не справедливо?

Допустим ли, при отправлении служебных обязанностей, сон стоя, когда всем человечеством принято спать сидя или лежа?

Что это за вульгарные привычки у машиниста.

Едешь на паровозе по степям своей родины и вместо того, чтобы наслаждаться красой природы, — он спит стоя.

Да неужели он не мог лечь? Или сесть?

И, наконец, как же это он, имея потребность во сне, решается служить машинистом на железной дороге?

Возмутительно, не правда ли?

Засим главный кондуктор этого поезда...

Это преступник, достойный ссылки на Сахалин, ибо он уже знаком с каторжной работой — не первый год служит на железной дороге.

Показаниями всей поездной прислуги, стрелочников и посторонних лиц было установлено, что кондуктор принял все меры и употреблял все усилия для того, чтоб остановить поезд.

Как вам это нравится?

За это его представили к увольнению.

Справедливо? Конечно!

Помощника машиниста просто оштрафовали на 3 р.

Это за что? Не знаю.

Он, очевидно, спал тоже *стоя*.

Ведь, вот какая дурная привычка!

И чего это они спят стоя.

И неудобно это, и ведет к наказанию, и портит железнодорожный инвентарь.

Право, мне кажется, что этих господ следовало бы радикально перевоспитать.

Мне кажется, это можно сделать очень легко.

Следует строжайше приказать поездной прислуге перед назначением ее на ночные дежурства высыпаться лежа.

Пусть часов восемь кряду дрыхнут, это отобьет у них дурную привычку спать стоя во время дежурства.

И это будет тоже справедливо.

С моей стороны, по справедливости, не лишним будет вопрос— зачем во всей этой катавасии фигурируют свидетельские показания?

Для справедливости они, конечно, нужны.

Но для наказания увольнением со службы и штрафом, они совершенно излишни, на мой взгляд.

Можно бы так же справедливо оштрафовать и без свидетелей.

А то они явились и доказали, что «по справедливости ежели» хотя и виновны, но заслуживают полного снисхождения, тем не менее их не послушали.

Зачем же их мнение спрашивали?

Премудро!

Вот как много самой справедливой справедливости в этом маленьком деле.

8 декабря, № 264

91

Недавно в Самаре был такой анекдотический случай.

В одном учреждении заметили, что некто из служащих не приходит работать.

Заметив это, начальство решило:

— Оштрафовать его!

Оштрафовали.

Но и это не подействовало на строптивого служащего, — он все не являлся работать.

— Гм! Странно! — думало начальство.

И вдруг оказалось, что этот служащий не ходит работать потому, что он умер.

Тогда начальство еще подумало и пришло к убеждению, что смерть — причина, вполне уважительная для того, чтоб не являться на службу.

Сложило ли оно с покойника штраф, не знаю.

Думаю, что сложило потому, что с покойников крайне трудно взыскать что-либо, за невозможностью определить место их жительства.

История не вся, в ней нет средины.

Дело, видите ли, в том, что этот служащий, прежде чем умереть, заболел, как это очень часто и совершенно «ни к чему» делают люди.

Заболев, он сейчас же лишился средств к существованию.

Отсюда следует вытащить мораль:

Бедняки! не хворайте, ибо сие для вас есть роскошь, роскошь же безнравственна.

Не хворайте, о бедняки, ибо это лишает вас средств к существованию и посему невыгодно.

Бедняки, служащие где-либо!

Вы тем более не должны хворать, что за вышеперечисленными неудобствами болезнь ваша имеет и еще одно, — она беспокоит ваше начальство.

Ибо, заболевая, вы имеете дурную привычку обращаться к нему за пособиями.

Так-то!

Вот как много морали я вытащил из этой маленькой истории.

В данном случае так же было.

Герой моей правдивой повести, захворав, обратился к начальству с просьбой о пособии.

— Гм! — сказало про себя начальство.

Пособие? Человек хворает и просит пособия.

Следует ли пособлять человеку, который занимается тем, что хворает? Морально ли такое занятие и заслуживает ли оно поощрения? Какая польза может быть извлечена обществом из человека, который лежит, обремененный недугами на скудном одре своем, лежит и стонет? Итак, следует ли помогать ему в этом занятии, раз оно бесполезно?

Ясно, — не следует.

По сей причине больному служащему пособия не дали.

Тогда он умер.

Он, наверное, умер бы и с «пособием».

Да, впрочем, он с «пособием» и умер, ибо, не давая ему сего «пособия», ему тем самым и помогли умереть.

И вот, когда он умер, то решили:

— Выдать ему награду в 50 р.!

Повторяю для вящего эффекта:

— Наградить его 50-ю рублями!

Ну скажите же, разве это не гуманно?

Не хорошо?

Не вызывает слез умиления на ваши глаза?

Нет?

Так это потому, сударь мой, что у вас черствое сердце и вы не умеете ценить гуманизма вашего начальства.

Но один вопрос, если вы позволите.

За что выдана награда этому бедняге?

За своевременное удаление к праотцам?

Почему тогда ему для поощрения «в путь-дорогу» не дано пособия?

Мудрые Эдипы города Самары!

Решите сей вопрос.

Доставивший лучшее и яснейшее решение заслужит мою вечную благодарность и на веки нерушимую преданность.

Мне так хочется проникнуть в смысл сего аллегорического, — надо полагать, — события.

9 декабря, № 265.

92

В свой бенефис г-жа Лодина — эта ясная звездочка нашей труппы — блестела ярче, чем всегда, и шумные овации публики были вполне заслужены симпатичной артисткой.

Ей подарили кое-что, но она несравненно щедрее одарила зрителей своей горячей, продуманной и нервной игрой.

Вечер ее бенефиса был хорошим вечером, таких вечеров наша труппа дает, к сожалению, мало.

В изображении талантливой художницы фигура Лены, несчастной жертвы золотого тельца, — вышла вполне живой, всем понятной и возбуждавшей к себе горячее сочувствие.

На сцене билось в путах условий молодое, честное существо, жаждущее жизни и роковым образом принужденное погибнуть; оно страдало, и трепет его нервов сообщался публике.

Артистка плакала настоящими человеческими слезами, а не слезами ремесленницы и это было понято, отмечено и произвело свое действие. Впечатление от ее игры получилось цельное и глубокое. От души желаю г-же Лодиной всегда производить такое же, — оно с избытком вознаградит ее за трату нервов и ей немного нужно для этого. Искра божия — талант есть у г-жи Лодиной. Желаю ей внимательнее относиться к себе и, больше работая над самой собой,— меньше работать на сцене пред лицом публики, дабы не переутомиться и не забить преждевременно своих хороших, тонких способностей истинной артистки.

Ее собратья по искусству были тоже так хороши, как редко бывают.

Сильно и нервно провела свою роль г-жа Нинина-Петипа.

Несколько шаржируя, но очень умно играла г-жа Прокофьева.

Г. Сарматов утрировал моральную разнузданность Жоржа и оставил в тени его хорошие стороны, но и он был в ударе.

На своем месте и очень типичен был г. Кольцов, но игру этого артиста положительно портит его манера говорить, глотая слова, и слишком злоупотреблять грудными нотами.

Хороший фат и умный комик г. Мирский был несколько не на месте в драматической роли Осипова, — но он искупил свои недостатки умным исполнением роли старого генерала в водевиле.

Заслуженно вызвали г-жу Линскую за сцену с Жоржем, а г. Грубин был хорош, как всегда.

Г. Шувалов сильно шаржировал, — и искренность своеобразной любви Сергея Хлопонина совершенно пропала в его изображении.

Вообще же спектакль прошел с ансамблем, далеко не частым на нашей сцене.

Следует ли думать, что наша труппа «разыгрывается» или же это временный подъем ее сил?

Играют много, артистов мало, тщательная работа над ролями невозможна, — это приходится принять к сведению.

От артистов театра перейду к «артистам» просто, хотя, несомненно, тоже «по призванию».

Разные бывают призвания — того призывает к себе искусство, а этого казенная водка, некоторых скандал, иных шантаж.

А «сотрудника местных газет» г. М[инаева] (о нем смотрите хронику) зовет к себе с неотразимой силой — кутузка. Нечто роковое есть... в жизни этого человека, и ясно видно, что бытие в кутузке ему на роду написано.

Не будь это так, он, конечно, не смешал бы полицейской части с гостиницей и не пришел бы в часть просить себе «номер».

Очевидно, что здесь мы имеем дело с fatalité[1] и дело совершенно ясно...

Но отнюдь не ясно, зачем г. М[инаеву] потребовалось назвать себя «сотрудником местных газет».

Хотел ли он этим поднять свое реноме в глазах полиции?

Увы! Уже одно его намерение громко говорит за то, что г. М[инаев] не только не сотрудник газет, но даже не был оным.

И — не будет им во веки.

Ибо о сотрудничестве в газетах предпочтено человеками замалчивать, — зане на сие звание в публике установился взгляд, как на нечто зазорное.

Я, конечно, далек от мысли винить в этом публику, — ах, боже мой! она и без того во многом виновата.

Но я безусловно обвиняю г. М[инаева] в присвоении им звания, ему не принадлежащего, и я напоминаю ему одну народную поговорку, полную мудрости великой.

Она гласит о «суконном рыле» и о «калашном ряде».

Зачем же г. М[инаеву] лезть в калашный ряд, раз уже сама судьба направляет его в «каталажку»?

Бесполезно г. М[инаев] в этом разе спорит с судьбой.

И присвоение чужого звания ничему тут не поможет...

Все искания человека, отмеченного роком, непременно приведут его в кутузку, где бы и чего бы он ни искал и чем бы себя ни называл.

Назови себя хоть Шекспиром, но, «ежели судьба», все равно попадешь в участок.

Непременно попадешь.

го декабря, № 266.

---

[1] *Перевод:* Судьба.

Пробило 8 часов. Г. Лавров открыл заседание и...

Грянул бой, с управой бой!

Храбрый и неустрашимый защитник интересов Самары, ее старый рыцарь г. Кожевников, — открыл кампанию единолично.

— Под суд управу!

Дума задумалась.

Управа равнодушно поглядывала вокруг себя, прекрасно понимая, что речь г. Кожевникова — «слова, слова, слова!»

Она была уверена, что хотя его предложение и выслушают, но не поддержат.

Под суд?

За что? За бездеятельность?

Управа знает, что ей, при ее свойствах, бездеятельность — самое подходящее дело, и что, кроме награды и благодарности за свое поведение, она ничего не заслуживает.

Нужно сказать ей спасибо за то, что она ничего не делает, ибо то ли еще может быть!

Бывает ведь, что люди такое делают, что просто волком взвоешь.

А управа — совершенно пассивна, и это вполне гарантирует Самару от «громких дел», вызывая только крупные скандалы.

Что из того, если четыре десятка обывателей не платят городу 34400 р.?

Ведь это все-таки думе известно, и со временем, может быть, будет городом получено?

Другое дело, если бы...

Но ничего подобного нет?

Зачем же горячиться особенно?

Г. Лавров говорит, что ему стыдно слушать все то, что говорится в управе.

Чего тут стыдиться?

Говорят о том же самом, о чем и всегда во время думских заседаний говорится, — о бездеятельности управы и о самоуправстве управы.

Говорят горячо и возмущенно...

Но, право же, это всегда так бывает.

И ничего особенно постыдного тут нет.

Хотя есть нечто странное.

С одной стороны управа бездействует, с другой стороны — самоуправствует.

Что для города вреднее?

По-моему — самоуправство.

Значит, — да бездействует управа в интересах города!

Послушайте, как она отражает нападения на нее.

Еле-еле, чуть-чуть, кое-как, нехотя.

Она убеждена, что все это пустые разговоры и что совсем не к чему и некуда торопиться с городскими делами.

Тот, кто ничего не делает, — не делает ни ошибок, ни фальши.

И никто не в состоянии сделать управе какую-нибудь неприятность.

Она чувствует себя в положении экономки, пользующейся особым расположением барина за свои особые пред ним заслуги, и посему она не хочет обращать никакого внимания на остальных приближенных к нему слуг.

Зачем бы она стала проявлять какую-нибудь этакую энергию и совершать полезные городу поступки?

Из-за какой корысти?

А то, может быть, ради славы?

Солидным и увесистым купцам, состоящим ее гласными, и без славы хорошо живется.

Все их знают, и многие даже уважают.

О них говорят.

Идет член управы по улице, публика шепчется:

— Член идет! Четырехлетие дослуживает и ничего не сделал! А? Совсем ничего!

— Н-ну? А, может, что-нибудь и того...

— Чай бы, было известно...

— А, может, хорошо умеет концы в воду прятать?

— Эка! А впрочем...

Разве это не лестно, разве это не слава?

Чего же еще можно желать хорошему купцу?

Если у людей, имеющих возможность быть ревностными слугами общества, нет сознания своей задачи и нет никакого представления о полезном и вредном для других, — нельзя спрашивать с таких людей полезной деятельности, и опять скажу — спасибо им за их пассивность.

Вы представьте-ка себе, что вдруг уличные тумбы и телефонные столбы чем-то воодушевились и пришли в движение, — какой отсюда получится результат? Самый ералашный и ерундовый.

Ну, и будьте довольны тем обстоятельством, что в Самаре существуют твердые и неподвижные люди, на них зиждется принцип самоуправления, зиждется он покойно, и если станет анахронизмом, а служба городу в роли члена управы — синекурой, то, значит, такова воля судьбы.

К таковому положению дел мы очень близки, чему ярким подтверждением служит недавнее событие в симферопольской думе, — в дела которой принуждена была вмешаться администрация.

Вчера администрация взяла под свою опеку самоуправление Симферополя, завтра возьмет самоуправление Симбирска, со временем и Самару, быть может, постигнет та же участь.

Великий законодатель, считавший нас граждански взрослыми людьми, дал нам свободу решения наших домашних дел.

Мы поиграли с новинкой и, потеряв к ней всякий интерес, — заснули.

Вышла ошибочка, так сказать.

Предполагалось, что «мы созрели» и что нашему сознанию до-

ступны не только личные дела, но и понимание общих интересов и принципов.

Увы! любой отчет о думском заседании разительно ярко свидетельствует о нашей косности и отсутствии в нас понимания общественного блага и людских нужд.

Впрочем, быть может, не столько в «нас», сколько в тесном кругу участников городского самоуправления, в отношении к которому мы, большинство городских жителей, являемся лишь в роли зрителей... Но это другой вопрос, и его мы оставим в стороне.

Среди всеобщего отупения, среди толстосумов «отцов города», которым нет никакого дела до города и которые руководствуются в своих действиях только честолюбием, — да и то грубо и дурно понятым, — среди людей мелькают порой два-три огонька, две-три светлые головы, но их значение в чумазой массе, подавляющей их огромным большинством, — мизерно, и речи их звучат, как речи Ламанчского рыцаря.

12 декабря, № 267.

94

Миллионеры — недоимщики!

Громко звучит — не правда ли?

Трудно поверить, что человек, имеющий миллионное состояние, при ежегодном окладе в 80 р. умеет накопить за собою долга городу 2396 р.!

Заметьте, чем крупнее состояние недоимщика, тем солиднее сумма его недоимки.

Как будто бы чем богаче человек, тем халатнее его отношения к обществу и к нуждам города.

Один почтенный гражданин не платит городу денег сорок лет. Своего рода подвиг!

«Совершенно обычное дело» — не платить ни копейки городских сборов в течение двадцати лет.

Какая высокая гражданственность!

Полумиллионное состояние не позволяет человеку своевременно внести деньги по окладным сметам, и он накапливает за собой 1869 р.!

Это уже прямо-таки самодурство!

Ни в какой другой стране невозможно такое халатное отношение к делам города, столь дерзкое игнорирование его интересов и такая уверенность в том, что меня никто не смеет тронуть, потому что у меня есть миллион!

Я миллионер, не препятствуйте моему нраву!

А наш господин лорд-мэр по родству с господами толстосумами им мирволит.

К нему обращаются с вопросом:

— Толстосумов-Тугоумов не платит городских сборов с 1812 года. Прикажете послать ему окладной лист в этом году?

— Не приказываю! — кратко режет лорд-мэр.

Ну, еще бы приказать!

Можно ли пойти противу родного человечка?

И родной человечек, и лорд-мэр — одному богу молятся, богу, имя коего — рубль.

И это радение об интересах города со стороны представителя самоуправления!

Вот люди, которые твердо убеждены в том, что своя рука — владыка!

И в то время, как гг. миллионеры считают себя в праве игнорировать законные требования думы и управы, последняя, халатничая и мирволя их степенствам, «дером дерет» недоимки с мелких владельцев.

Среди разных богом обиженных мещан, жителей окраин города, недоимщиков почти нет, хотя доходы этих людей исчисляются всего десятками рублей.

Они живут на немощеных улицах, тонут во тьме кромешной и в грязи непролазной и, не пользуясь никакими культурностями, платят налоги аккуратно.

Еще бы! Из них можно недоимку выбить кулаками, на них можно кричать, их имущество можно продать.

Ничего такого не сделаешь с миллионщиком.

Г. Михайлов говорит о своем соседе, что сей почтенный барин воду в свою квартиру провел, а о водопроводном займе и знать ничего не хочет.

Кто может его познакомить с его обязанностями?

Никто. Некому.

Постыдные вещи слушали гг. гласные нашей думы в последнем заседании.

— Требовалось предъявить иск к одному из местных «степенств», так ведь адвоката не нашли, — бросает г. Буслаев бомбу.

— Неужели? Не поверю? — восклицает г. Лавров.

— Это — факт! — возражает ему г. Буслаев.

И это утверждение сходит ему с рук, несмотря на то, что среди гласных думы есть несколько человек адвокатов.

Г. Подбельский, присяжный поверенный, просит указать ему этот «факт».

Г. Кожевников, городской судья, говорит:

— Вы оскорбляете присяжных поверенных!

Эти последние были немы, несмотря на то, что честь их корпорации была задета представителем «чумазого царства».

Вот она, современная самооценка интеллигентными людьми своего значения в жизни!

Молчат!

Выясняется еще такой милый порядок.

Многие из недоимщиков получают в управе деньги, и с них управа не делает никаких вычетов.

Один из членов управы — тоже недоимщик.

Чем же объясняется такое послабление, как не родством да кумовством управы с недоимщиками?

Очень жаль, что к предложению г. Кожевникова отдать управу

под суд не присоединились другие двое членов ревизионной комиссии.

Г. Михайлов всегда ревностно защищает интересы города и смело ставит на вид управе ее бесчисленные грехи, — непонятно его несогласие с г. Кожевниковым по данному вопросу.

Разве не преступно со стороны управы это продолжительное бездействие власти, столь ярко выясненное работой ревизионной комиссии, и разве можно чем-либо иным, кроме угрозы, действовать на людей, считающих себя недосягаемыми господами положения и творящих все так, как им хочется, а не так, как нужно в интересах города и принципа самоуправления?

Понимают ли они, с чем имеют дело?

Ведь им дана частица того самоуправления, за которую люди других стран лили кровь, добиваясь его!

А они своими неумытыми руками портят этот великий дар, не умея правильно понять и оценить его.

Грянет ли над ними какой-либо гром и перестанут ли они изображать из себя самоуправцев?

И перестанут ли они дурачить гласных такими наивными объяснениями, похожими на глумления, каковы объяснения гг. Арычкина и Степнова?

Особенно хорош последний со своими «кажется», «должно быть» и прочими столь же определенными словами. Недурен и г. Арычкин, находящий, что уж раз недоимки накоплены издавна, — почему это непременно он должен их взыскивать!

Итак, вот каковы наши городские дела.

У города нет денег, и город имеет в долгу за миллионерами 34400 р.!

Солидная сумма все-таки!

Ей можно бы найти место в хозяйстве города.

Быть может, дума изберет депутацию и поручит ей «почтительно просить у их степенств» возврата городу его тысяч, на которые они совершают свои обороты?

Наверное, процент этих оборотов превышает сумму пени, начисляемой за неплатеж.

13 декабря, № 268.

95

Должно быть, суждено, чтобы эта неделя была неделею «о купцах».

Некоторые из них, обратив на меня свое степенное внимание, рассердились, прогневались, говорят, что я их незаслуженно обидел и что меня нужно за это избить.

Желаю успеха, но сомневаюсь в нем.

Был в Нове-городе в старинное вечевое время удал-добрый молодец В[аська] Б[услаев] и, по словам былин, он очень любил и умел драться.

Наберет себе приятелей, ходит с ними по улицам, всякого встречного в ус да в рыло, недругов своих до смерти забивал — и так верховодил делами Нова-города, пока не был укрощен каликой перехожим.

Но все это было давным-давно и какое нам дело до В[аськи] Б[услаева] «со товарищи»? Я бы и не вспомнил об этом добром молодце, кабы у него в Самаре не было тезки и однофамильца, желающего подражать своему прототипу вечевых времен.

На мой взгляд — это нехорошо.

В 1895 году самарским купцам не следует подражать новгородским ушкуйникам.

Купцу по нынешним временам надлежит быть солидным и культурным.

Ныне купец силой событий вынужден играть в жизни едва ли не первенствующую роль.

В его руках — деньги — один из сильнейших рычагов жизни.

Он является крупной общественной силой, силой первостепенного значения, ибо интеллигенции мало и важнейшая пружина жизни страны в руках купца.

Он — фабрикант, он — экспортер, он стоит у кормила самоуправления, у него в зависимости многое и много он мог бы сделать для страны.

Но он не понимает своего жизненного значения, в набивании кармана он видит цель жизни, забывая о том, что человеку, сколько бы миллионов он ни имел, в конце концов все-таки понадобится три аршина земли на кладбище и больше ничего.

— — —

Будучи типичным русским человеком, добродушным и грубым, способным в один час этому нищему дать в ухо, а этому подать тысячу рублей милостыни, — как это делал Г[ордей] Ч[ернов], пребывая, несмотря на все обличения, самодуром, — он совершенно не умеет быть гражданином своей страны и очень плохой христианин.

Сидя на сундуке со своими тысячами, он никогда не помнит о других тысячах, — о тысячах людей голодных, холодных и бесприютных, о которых он, — если бы верил словам Христа, — должен был бы позаботиться.

А кто из самарских богачей уделил что-либо от своих тысяч в пользу дома трудолюбия, учреждения несомненно глубоко христианского?

И кто из местных тысячников и миллионеров откликнулся на наш призыв помочь людям, ищущим мест прислуги, тем несчастным, что толпятся на Алексеевской площади у дома Бахаревой, толпятся с утра до ночи на морозе?

Для них нужно только выстроить загородку и стоит она много-много 100 рублей.

Какие дела, полезные городу, совершил данный состав думы и управы?

Что вообще хорошее и важное для города сделало наше богатое купечество, что оно делает и что предполагает сделать?

Я знаю за ним одно дело — это ненависть к местной прессе и преследование ее разными путями.

А между тем чем виновата перед купечеством пресса?

И зачем нужно на зеркало пенять, коли...
Кому много дано, с того много и спрашивают...

Один купец побил своего «мальчика» за то, что этот мальчик принес сыну купца бутылку пива.

Разве это не дико?

За что бить мальчика, раз он стоит в такой же зависимости от сына хозяина, как и от «самого»?

Это, однако, в нравах почтенного класса, в данное время чуть ли не доминирующего над жизнью и, кажется, все более расширяющего район своего влияния в ней.

Хорош же этот класс, намеренный играть в своей стране историческую роль и забывший умыться!

Две тысячи лет тому назад у язычников — римлян представление о гражданине и о его роли в государстве было таково, что православным — миллионерам-христианам нынешних времен — со стыда сгореть следует пред язычниками-то!

Так уж пусть они, купцы, не обижаются, если в прессе их дикая жизнь отражается, как в зеркале.

Нужно быть почтенным для того, чтоб вызвать к себе почтение.

Нужно уважать других для того, чтоб иметь право на уважение к себе.

Нужно, наконец, быть грамотным, то есть умственно зрячим, для того, чтоб уметь судить о людях, и о себе, и о прессе справедливо и предъявлять к ней разные претензии.

Нужно на себя оглянуться, гг. купцы, да, взвесив свое жизненное значение, проверить, насколько ваша жизнь в ее действии соответствует вашему значению в стране.

А кто сердится, тот доказывает, что он виноват...

14 декабря, № 269.

96

Вот картинка, превосходно иллюстрирующая наш русский провинциализм.

Некто из обывателей страдает собакобоязнью, и эта его мания, оскорбляя собаку, лучшего друга человека, как говорят, — в свою очередь вызывает у нее полную нетерпимость в отношениях к данному обывателю.

Все самарские собаки не выносят этого господина и пред всеми ими он в страхе и трепете.

И вот однажды ему нужно было посетить знакомого.

Идет он к нему на двор, вдруг навстречу — собака.

Боязливый обыватель — бежит, собака вслед ему саркастически лает.

Тем не менее к знакомому надо зайти необходимо.

И вот герой мой догадывается, он нанимает извозчика и едет на двор.

Потом не знаю, что было.

Только вдруг знакомый моего героя получает от городского судьи

повестку о назначении к слушанию дела по иску с него, Z., г. Y.— *пятиалтынного!*

В полном недоумении Z. является в камеру и узнает, что г. Y. ищет с него пятиалтынный, уплаченный им, Y., извозчику во избежание встречи с собакой г-на Z.

— Г-н судья! — говорит Z., — да ведь собака-то у меня в наморднике.

— Когда я с г. Y. въезжал на двор г. Z., на дворе никакой собаки и не было вовсе, — говорит свидетель-извозчик.

— Чем вы подтверждаете ваш иск? — обращается судья к истцу.

— Моей боязнью собак! — говорит истец.

В нем ему отказывают, возлагая на него судебные издержки и взыскав с него 2 р. в вознаграждение свидетелей, отвлеченных им от занятий.

Остается жалеть, что ответчик не нанял себе поверенного, — тогда с г. Y. взыскали бы еще 25 р. за ведение дела.

Он этого заслуживает.

Не правда ли, ведь характерная картина?

Нечем человеку заполнить пустоту своей жизни, и вот он пытается заполнить ее глупейшим кляузничеством.

Ему нимало не важно то, что учреждение, в которое он обращается со своим смехотворным иском в сумме трех пятаков, создано совсем не для потехи и развлечения умирающих от скуки или пораженных язвой кляузничества обывателей, а для удовлетворения их действительных нужд и — главным образом для торжества справедливости.

Он оценивает это учреждение со своей точки зрения, — и выходит, что оно создано для удовлетворения его ябеднических наклонностей.

Ему нимало не важно то, что на рассмотрение его иска потребно время и что оно отнято у более серьезных дел и отнимается у судьи, и без того утомленного деятельностью.

Он знает одно — данное учреждение создано для него, и он считает себя в праве лезть в него со всяким выдуманным пустяком, лезть прямо в халате, и под видом желания оградить свои права он вносит в камеру судьи что-то этакое специфически провинциальное, пошловатое, пустое и выдуманное...

Это очень распространенный тип в провинции.

Погляди на него, — он обижен и жалуется, не взгляни, — он оскорблен и тоже жалуется.

Он всегда жалуется, вся жизнь его — сплошное писание кляуз и ябед.

Все судьи ему знакомы, — всем он надоел, как осенняя муха.

В то же время сам он первый всякого обидит, и пальца в рот ему не кладите.

Почва, на которой произрастает такой ядовитый гриб, та же, что производит и все другие плоды этого рода, — отсутствие осмысленной жизни и разумной, возвышающей душу деятельности.

Наша скука, наша косность, — наш преждевременный и поэтому необъяснимый старческий маразм.

15 декабря, № 270.

97

Пою скорбь местных трактирщиков.

Ах, как с ними сурово поступили, — не разрешают торговать яствами и питиями, дондеже они не будут удобоваримы и доколе грязь и вонь трактирная не будет устранена.

Они, трактирщики, просили думу:

— Да вы, господа гласные, осмотрите наши заведения, ведь не у каждого из нас в трактире грязи-то больше, чем допускается, и потом не все же мы душегубы, есть которые и совсем ничего себе люди.

Дума решила исследовать и проверить это.

И вот — нежданно-негаданно для трактирщиков 11 декабря к ним является депутация из гласных, чинов полиции и акциза.

Трактирщики не приготовились к приему, и то, что депутация видела 11-го декабря, — не поддается описанию.

Совсем в ином виде пред ней явились трактиры 12-го декабря.

Почистились, помылись и смотрят совсем уже угнетенными невинностями.

Дескать, вот мы какие чистенькие, а вы хотите нас жизни решить.

Депутация в недоумении.

Где правда?

Когда именно трактиры отвечали будничной действительности— 11-го, когда они были невероятно грязны, или 12-го, когда их помыли?

Сколько времени они хотят просуществовать в подчищенном виде?

Будут ли чиститься и мыться, если надзор за их санитарным состоянием не сделать постоянным?

Наконец, разрешать или не разрешать торговлю?

А трактирщики скорбят и ноют...

Праздники близко, и вдруг такой пассаж!

На днях в одном из присутственных мест Самары разыгралась такая сцена.

Предъявляют г. Т. женщину и говорят ему:

— Можете выдать ей отдельный вид на жительство?

— Я? Коли хотите, выдам. А кто она такая?

— Как так, кто такая? Ваша жена!

— Жена-а? Моя жена?.. Скажите... да, да, да! Так вот что... гм! Но... позвольте, почему же вы полагаете, что это именно моя жена?

— Да она сама говорит!.. И потом—документы!

— Так-с... весьма возможно, что она и моя жена. Но утверждать этого я не решусь.

— То есть как?

— Не могу-с! Вижу — женщина, допускаю — жена, но сказать — моя жена, — по совести говорю вам, мне трудно!

— Да что вы — шутите?

— Ничуть!

— Но вы были на ней женаты, да?

— Был женат, да. В молодости, по недостатку опыта, не только женятся, но даже и еще хуже поступают.

— Это к делу не относится! Говорите просто. Были ли вы женаты на этой женщине?

— Был женат на женщине — это факт. Но на этой или на какой другой, — не помню. Я развелся с моей женой сорок лет тому назад, — она это или нет — не знаю.

Так и не добились от мужа признания личности жены, и, чтобы установить факт их супружества, приходится прибегнуть к производству полицейского дознания.

Как это вам нравится?

Очевидно, эта жена была доброй, хорошей женой, — в противном случае ее нельзя было бы забыть в течение сорока лет.

Только доброе и хорошее забывается скоро, злому и дурному нет забвения.

16 декабря, № 271.

98

... Дума постановила ходатайствовать об издании «Листка Объявлений».

Вот что хорошо, так хорошо!

Несомненно, что этот «Листок» превратится в газету.

А думе давно нужна газета.

Хорошая газета, своя собственная газета.

Прежде всего, газета политическая, с разной тонкой политикой.

Я представляю себе такую газету, и она совсем не такова, как те, что уже есть.

В теперешних газетах одни «нарекания» пишут, — в управской всамделишной газете первое место будет отведено истине и справедливости.

Справедливость всем нужна, — в газетах ужасно много пишут про управу.

Теперь про нее пишут — летом:

«Благодаря халатности нашей управы, мы задыхаемся в пыли и утопаем в грязи».

Зимой:

«Спасибо управе! По нашим тротуарам нельзя ходить без риска разбить голову, а улицы представляют миниатюры горных хребтов».

В своей газете и в интересах истины будут писать так — летом:

«Благодаря энергичной деятельности управы, мы задыхаемся в аромате цветов, посеянных ею в городских скверах, и скверная публика приветствует рукоплесканиями членов управы, когда сии последние в часы отдыха от своей разнообразной деятельности заходят в созданные ими скверы».

Зимой:

«Спасибо, сердечное спасибо управе! Весь город, благодаря ее мудрому вниманию, — превратился в каток. Сколько смешных падений на тротуарах и как красивы изрытые ухабами улицы».

Это будет весьма приятная газета и думе следует скорее думать об ее издании.

Например такая статья:

«Прогресс в сфере недоимок. Новый взгляд на этот застарелый вопрос».

«С легкой руки разных газетных щелкоперов, в общественном мнении установился взгляд, что недоимки якобы дурно влияют на городской бюджет, замедляя круговращение городского капитала.

«Незнакомство с арифметикой — вот источник этого грустного заблуждения. Конечно, мы знаем, что газетчики никогда ничего не знают и говорят обо всем, так сказать, — с ветра, но...»

И так далее.

Управе нечего делать, — и у нее будет довольно времени, чтобы поставить свой орган на ноги.

Теперь, когда дума вотировала ей свое доверие и решила никогда больше не разговаривать с нею о городских делах, ей можно, нисколько не стесняясь, заняться изданием газеты или формированием опереточной труппы или каким другим культурным делом.

Желаю успеха!

С нетерпением жду самоуправской газеты — органа самих управцев.

17 декабря, № 272.

99

Действительно, цифры скучны.

Даже больше, — они на меня тоску нагнали.

Посмотрел я список наград, выданных думой разным вдовам и сиротам, чьи мужья и отцы умерли на службе городу, увечным и больным, потерявшим свои силы и здоровье опять-таки на службе городу, — и мне стало тошно.

Цифры хладнокровно и равнодушно свидетельствовали прежде всего о том, что у города денег мало, и затем уже о том, что хотя город заслуги ценит, но оценивает их дешевенько.

Некоей Настасье Молгачевой с шестью детьми за 19 лет службы ее мужа выдано в награду 30 р.

По 1 р. 45 к. за год!

Такой же вдове Василисе Самарцевой с двумя детьми за 18 лет службы ее мужа — 20 р.

Только по 1 р. 11 к. за год.

Во всех случаях награды составляли менее копейки за день службы.

Немножечко маловато, — но и на том спасибо!

Хорошо хоть то, что не забыли о сиротах.

А вот прения по вопросу о бабушке учительницы Никольской производят впечатление не из приятных.

Напрасно потревожили старушку перед праздником.

Совсем она тут ни к селу, ни к городу.

Если у города нет денег, а у человека, за свою деятельность заслуживающего награды со стороны города, есть богатая бабушка,— едва ли эта бабушка может освободить город от его обязанности.

Хотя роль бабушки в делах нашего самоуправления и очень солидна, ибо часто бабушка кое-кому ворожит, но этой ворожбой и должно быть ограничено вмешательство бабушки в городские дела.

Вообще же бабушку надо устранять.

И на мой взгляд думский дедушка — г. Буслаев — совсем зря потревожил бабушку, вызвав ее к участию в решении вопроса о выдаче награды учительнице Никольской.

И чего это г. Буслаев так привержен к разным архаическим выходкам?

То он местных адвокатов без всякой видимой причины заденет, то старушек беспокоит, то проповедует бой против местных газетчиков.

Сильное стремление к деятельности общественной замечается в этом почтенном человеке!

Право!

21 декабря, № 275.

100

Сегодняшний день — великий день и день великих терзаний для человека культурного общества.

Визиты!

Премилая культурная обрядность!

С 11 ч. утра вы застегиваете себя в парадный костюм и едете.

Здесь вы пьете тминную водку, там горькую водку, тут просто водку.

Ветчина, поросенок, осетрина, кильки, гуси и прочая вареная и копченая живность — через час после первого визита превращают ваш желудок во что-то вроде маленького зоологического музея.

Вы чувствуете, что в праздник не легко... жить на свете.

И чуть не в каждом доме вы говорите:

— Благодарю вас! Я уже ел поросенка.

— Ну, отведайте утки...

— И утку ел...

— Ну, пожалуйста сыру...

— И сыр...

— Ну, хоть кусочек чего-нибудь...

Вы глотаете еще кусочек чего-нибудь (это «что-нибудь» опять-таки ветчина, поросенок, гусь), предпослав ему еще рюмку какой-нибудь водки.

Вам тяжело.

В голове — туманно, в желудке — тесно, в глазах начинают танцовать мальчики и девочки и — девочки и мальчики.

Вам осталось сделать еще только 24 визита. Вы впадаете в «отчаянность чувств» и уже не протестуете против необходимости.

Вам говорят:

— Кусочек поросенка?

— Давайте поросенка.

Вы чуть-чуть не скрежещете зубами и находитесь в таком милом настроении, что готовы живыми съесть всех животных, птиц и рыб, населяющих землю.

Время идет медленно, и еще медленнее сокращается количество домов, которые вы еще не успели «объехать».

Вы впадаете в грустное лирическое настроение.

Вам плакать хочется, — вы чувствуете себя расслабленным, и вам трудно пошевелиться.

И вы говорите извозчику:

— Извозчик! Милый! Увези ты
Меня пожалуйста туда,
Где эти скучные визиты,
Не нужно делать никогда!
Пусть в той стране живут шакалы,
И крокодилы, и слоны,
Пусть вся она — песок, да скалы,
Но не хочу я ветчины!
Пускай песок ее гиены
Моею кровью оросят,
Пусть я умру — все люди тленны! —
Но не хочу я поросят.
Здесь поросята отовсюду
Мне лезут в рот, в глаза глядят,
Но больше я их есть не буду,
Хоть пусть они меня съедят.
О, гуси, утки, кильки, шпроты,
От вас бежать хочу я вдаль.
И в арестантские мне роты
И то на праздник сесть не жаль!
О, вы, наливки, водки, вина!
Скажите, — в чем моя вина?
Я стал тяжел, — как ты, свинина,
И красен я, как ветчина!
— Извозчик! Но, вези меня...

Но в это время вы подъехали к знакомому дому, из окон которого а вас приветливо смотрят поросята под хреном и в сметане...

— Я не хочу ветчины! — говорите вы хозяевам дома, вместо того, чтобы поздороваться с ними.

Вас привозят домой в состоянии почти полной потери чувств, в виде мешка, набитого всевозможной жирной провизией.

— Назюзился! — восклицает ваша супруга, если она дама, достаточно воспитанная для того, чтоб не сказать вам чего-нибудь хуже.

Вы возражаете ей:

— Благодарю! Не хочу... ничего. Все ел...

— Эх, ты, визитер! — огорчается супруга, деятельно выполняя около вас роль опоры вашей жизни.

— Совершенно сыт! Наелся до концов волос! Но р-рюмку водки и...изопью!

Вас укладывают спать.

Сон ваш тяжел и мрачен.

В рот вам плывут стаи килек, сардин и иных рыб под разными соусами, вокруг вас летают жареные и копченые гуси, и утки, и иные птицы, и все они покорнейше просят вас съесть их, на вас лезут стада поросят в сметане и с хреном и почтительно предлагают вам отведать, какие у них вкусные ножки.

Вы мычите, брыкаетесь.

В довершение всего, проснувшись, вы узнаете, что кто-то подменил ваши новые калоши, и вы потеряли любимую палку.

Голова у вас болит, вы опухли, и вам тяжело, тяжело, тяжело.

Ах, эти визиты!

25 декабря, № 277.

101

Святки.

Время, когда принято рядиться, придавать себе неподобающий вид и в оном являться перед публикой.

Хороший обычай, к сожалению отживающий.

К сожалению потому, что всякому приятно, хотя на время и в шутку, сменить свою обыденную шкуру на нечто новое, несколько изменить свою физиономию и прожить два-три часа в «не своем виде».

Надоедает он — свой-то вид. Не правда ли?

На святках я решил перерядиться в костюм романиста.

Почему бы мне временно не быть романистом?

Грамоту я приблизительно знаю.

А по нынешним временам критика, кроме этого, иных условий роману не ставит, а публика своего суждения не имеет.

Очень удобное время для того, чтоб залезть на Парнас, никем не заселенный и не оберегаемый от нашествий разных монстров.

И вот — я лезу.

Славы мне не требуется.

Построчной платы я не получаю.

Серьезного намерения утвердиться на Парнасе не имею.

Нет, я так себе временно, на святки и шутки ради, преображаюсь в романиста совершенно бескорыстно.

И я уверен, без всяких дурных последствий для себя и публики.

И я буду писать с моралью и с желанием написать не скучную вещь.

Тему я беру старую, избитую, — семью.

Ныне семьей начинают снова горячо интересоваться.

С той поры, как человечество додумалось до этой формы быта, оно решительно не знает покоя от семьи, хотя именно в ней ищет покоя.

По общепринятому и особенно в наше милое время распространенному мнению, — семья совершенно никуда не годится.

Я, право, не знаю, когда именно она годилась куда-нибудь, когда мужья были довольны женами и наоборот, — родители детьми и дети родителями.

Но ныне особенно громко раздаются вопли о тягости и неудобствах семейной жизни.

Они начинаются обыкновенно недели через две после того, как пылающий страстью «он» обвенчается с горячо любимой «ей», и — продолжается вплоть до той поры, пока та или другая половина не отыдет в горние.

Иногда эти жалобы занимают ужасно много времени, если оба — и «он» и «она» — народ живучий.

Кажется, это именно я призван судьбой притти на помощь человечеству и указать ему не новый, но верный путь к продлению того маленького кусочка времени, которое наступает вслед за венцом и зовется «медовым месяцем».

Я думаю, что этот медовый месяц можно растянуть на год и даже больше.

Для сего у меня есть одно соображение, рецепт, совет, как хотите зовите.

Очень простая штука.

Я предлагаю человекам устраивать особого сорта браки, которые я назову «моментальными браками».

Таково же и название моего будущего романа. Не подумайте, что я решусь проповедывать что-либо безнравственное, противузаконное и т. д.

Я? Что вы!

Решусь ли на это?

Я? Я весь начинен моралью, самой строгой и суровой.

Вот вы увидите, впрочем.

Считаю нужным предупредить, что иного брака, кроме церковного, я не признаю.

Засим кончаю предисловие.

Завтра начну печатать свой роман и сам первый буду читать его с удовольствием.

29 декабря, № 278.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

(МЕЛОЧИ, НАБРОСКИ И Т. П.)

1896 год

102

С новым годом, читатель!

«Что новый год, то новых дум,
Желаний и надежд
Исполнен легковерный ум»...

Это сказал Некрасов двадцать лет тому назад, но он едва ли сказал бы так в наше время, когда нет желаний и нет надежд и новых дум тоже нет, а есть только серенькая бледная жизнь людей, утомленных жизнью и заплутавшихся в ее противоречиях, людей сухих и черствых, с отсохшими сердцами, с темным умом, без интереса к жизни как к общему явлению, всецело поглощенных собой, верующих только в себя (да и то слабо!), живущих исключительно для себя, считающих центром жизни себя, — нет ничего нового и нет стремления к новости в людях, нищих духом!

С новым годом, читатель!

С новым годом, старые мехи, в которые не следует вливать новое вино, но все-таки да возродятся надежды и запылают желания, хотя бы все мы и сгорели в огне их.

С новым годом!

Но не будет ничего нового, если мы не захотим его, а трудно ожидать, чтобы мы захотели, ибо, кажется, нам нечем хотеть, у нас чувств нет!

И нет в жизни священного огня, творившего ту жизнь, которая не была такой фатальной и механической, как наша, а была жива, оригинальна и горела разноцветными огнями желаний, среди которых особенно ярко блистало пламя желания «общего блага», желание добра для всех.

Для «всех»! Это было могуче ясно!

Но вот наступило новое время, желания погасли, жизнь стала тусклой и бледной впечатлениями, «все» — куда-то исчезли, и остались одни «мы», но и «мы» не долго существовали, — нас сменило «я», и вот ныне оно главенствует над жизнью напыщенное, но пустое, самолюбивое и бессильное.

Чего оно хочет, каждое из этих «я»?

Кто его бог?

В чем цель его жизни?

Все это вопросы и каждый из них кроет в себе целую трагедию.

Оторванное от общей почвы, каждое из этих «я» так бессильно, так жалко, так нищенски бедно надеждами, желаниями, думами.

Как же оно может создать новый год?

— Тик-так! — звучит маятник часов; потом часы бьют двенадцать ударов и мы полагаем, что наступил новый год.

Но если без пяти минут двенадцать мы не успели вырвать из нашей души ни одной из тех соринок, которые затемняют ее и заглушают в ней все святое и чистое, — как может наступить для нас новый год?

Человек делает время, а потом уже время воспитывает его.

С новым годом, читатель!

Ах, как грустно, что мы не умеем больше верить и разучились надеяться и нечем нам любить, ибо сердце потеряли мы!

Как тени мелькаем мы в жизни, как тени мы исчезаем, не оставляя по себе никаких воспоминаний; как тени мы бежим от солнца, — и скоро нам не о чем будет говорить друг с другом, ничто не интересует нас и тогда мы будем немы как тени.

А наступил новый год...

С новым годом, старые люди!

На новый год принято делать пожелания, хотя доброе пожелание одинаково уместно во все дни года.

Но очевидно и на это, как на все доброе, люди тоже стали скупы и желают добра друг другу только один раз в год; именно, при его встрече.

И право, чудится что-то недоброе в этом официальном желании добра, что-то предостерегающее.

Но — по службе фельетониста — я тоже обязан сделать пожелания читателям.

Пожелаю!

Прежде всего желаю читателям найти в «Самарской Газете» все то, чего они в ней ищут, и получить от нее все, что хотят. И не сердиться на нее — все люди, все человеки.

Засим искренно желаю их детям не походить на своих родителей.

Женам желаю увидеть их мужей хорошими семьянинами и внимательными мужьями. О любви мужей я, конечно, не буду говорить, боясь быть наивным.

Пожелав этого одной из враждующих сторон, я, чтобы не обидеть другую, и ей того же желаю.

И та и другая партия непримиримых одинаково нуждается в более ясном понимании внутреннего смысла таких явлений, как семья, жена и дети.

Людям, ничем не довольным, желаю пробыть таковыми до гроба.

А тем, кто доволен собой и окружающим его, — искренно желаю утратить это довольство и принять человеческий образ и подобие.

Барышням желаю — веселиться, пока они еще барышни... и хорошенько подумать перед тем, как превращаться в дам.

Желал бы видеть молодых людей именно молодыми людьми, но,

кажется, это совершенно невозможно теперь, когда люди в 25 лет отроду ухитряются впадать во что-то вроде старческого маразма.

Самаре желаю процветать, но не думаю, что это ей удастся в виду ее неуклюжести и сонной тишины излюбленной ею жизни.

Городской управе — от души желаю управляться с ее делами, а думе — хорошенько думать и не так много говорить.

Горчишникам — увеличения штата полиции, а также учреждения специально для них какого-нибудь скулодробительного конкурса, победителей на котором, в виде награды, сажали бы в ванну со льдом часа на три.

Местным купцам — я желал бы умыться, — нехорошо быть очень уж чумазыми людьми.

Остается еще много людей, которым тоже есть чего пожелать, но мне некогда, а всем им воздастся по заслугам, так что желаю я им добра или нет — все равно, роковым образом все они получат свое возмездие за поступки, требующие такового, и надежды на награду — за все, что заслуживает награды.

Итак — с новым годом!

С новым счастьем!

Со счастьем жить, которое мы так мало ценим, устраивая из нашей жизни что-то бесцветное, скучное или наполняя ее плохими драмами и трагикомедиями собственного творчества.

Или заваливая ее смысл хламом будничных забот, в котором задыхаются наши живые души.

Да будет же ново для нас счастье жить!

1 января, № 1.

103—106

Моментальный брак

Святочный роман, написанный исключительно из любви к человечеству

ГЛАВА 1-я

Герой мой был человек красивый, как и следует быть герою, а подробно описывать его костюм и физиономию у меня нет ни времени, ни охоты. Кто хочет, сам может нарисовать его портрет.

Мне же очень трудно дать портрет красивого человека: в жизни образцов я не вижу.

Мне неизвестно, красивы ли мои современники, даже больше: я не знаю, уроды мои современники или нет.

Может быть, все они — колченогие и носят такие неестественно широкие — pardon, mesdames! — брюки именно для того, чтоб скрыть этот недостаток.

Весьма также возможно, что все мои современницы, — mille pardon, mesdames![1] — кривоплечи и ради прикрытия сего неудобства выдумали себе эти пузыреобразные рукава.

---

[1] *Перевод:* Тысяча извинений, сударыни!

Во всяком случае формы ног мужчин и плеч женщин настолько тщательно обесформлены костюмом, что пройдет еще немножко времени и я буду в праве предположить, что женщины совершенно не имеют плеч, а у всех мужчин — гуттаперчевые ноги.

Вообще, следует согласиться с тем, что все мы ничто не искажаем с такой охотой, с какой искажаем наше подобие богу.

Но хорошо. Как я уже сказал, герой мой был человек красивый, еще молодой, хорошо знакомый с жизнью и настроенный модно.

То есть он был скептиком и считал себя в праве относиться с кондачка как ко всему тому, что он понимал, так равно, и даже в большей степени, к тому, в чем ничего не смыслил.

Относиться скептически к явлениям, которых не понимаешь, весьма не трудно и очень приятно: это дает в обществе право на звание «неглупого малого» и даже «умного человека».

Так как он был человек интеллигентный, — жилось ему скучно, и самым приятным развлечением для него служили именно жалобы на скуку жизни.

Материально он был обеспечен, был холост и страдал бракобоязнью, но отнюдь не следует думать, что он, боясь жениться, игнорировал существование чужих жен.

Напротив, — как всякий порядочный человек, — он твердо держался правила калифа Иссахара: «рожденный женщиной — живи для женщины, умри за женщину», хотя, быть может, он и не знал о калифе Иссахаре и его правиле.

Последнее тем более вероятно, что калифа Иссахара не было, а было только правило, изложенное в одной из милых песенок средневековых трубадуров.

Не менее вероятно, что и самое-то правило буквально было не таково. Разве все упомнишь?

Но все равно, это к делу не относится.

Итак, герой мой страдал бракобоязнью, но женщин любил.

И мало сказать любил, — он злоупотреблял любовью к женщинам, каковое злоупотребление привело его к тому, что в момент, с которого начинается мой роман, герой романа является уже человеком пресыщенным, украшенным лысиной, желтоватым, вялым, хотя отроду ему не более тридцати двух лет.

Признаки приближающейся подагры и общая слабость тела уже начинали сильно смущать его свободный холостой дух, и прелести холостой жизни особенно много теряли в то время, когда герой мой одиноко переживал приступы ревматизма.

Ему в это время часто грезилась миленькая блондинка, непременно блондинка, ибо брюнетки обыкновенно обладают пылким темпераментом, а для современного молодого человека всякая пылкость, страстность и сила грозит конфузом.

Грезилась, я говорю, пухленькая блондинка, коя, со слезами умиления и жестокой любви в своих голубеньких глазках, нежно и прилежно массажирует ревматические опухоли моего героя и голосом кроткого ангела спрашивает его:

— Тебе не больно, душка?

Такие и иные в этом духе и роде поэтические картины семейного

счастия последнее время все сильнее волновали воображение моего благородного героя и мысль его все упорнее сосредоточивалась на браке.

— Ах, одиночество! — вздыхал он в минуты лиризма, всегда являвшегося у него следствием ревматизма.

— Ох, одиночество-о! —взывал он, когда его терпение истощалось, а хлороформ с беленным маслом не уменьшал боли ноющих костей.

И ему казалось, что ласка, горячая ласка женщины, которая его бы любила, — помогла бы ему скорее всех аптечных средств.

Итак, от ревматизма впадая в лиризм, а из лиризма переходя к оптимизму во взглядах на семью и женщину, — он постепенно излечился от бракобоязни.

Одна болезнь победила другую, и верность правила «клин клином вышибай» была подтверждена самой природой.

Он решил:

— Женюсь!

Пора уже было.

Он был совсем готов для того, чтоб возложить на себя бремя семейной жизни: сердце у него пошаливало, левая нога подрыгивала, в боку покалывало, в висках постукивало, зубов оставалось всего одиннадцать, а лысина придавала ему вид весьма почтенный и солидный.

Оставалось найти невесту и повести ее к алтарю.

Но это настолько серьезный шаг, над которым нужно подумать по крайней мере, неделю.

Он подумает над ним в следующей главе.

[ГЛАВА 2-я]

— Жениться? — думал мой герой. — Гм!

— Невеста? — соображал он. — Д-да!

Подумав так, — он решил:

— Буду осторожен!

И решив, стал присматриваться, не переставая думать:

— Все барышни, которых я знаю, — более или менее не подходящи мне. Хотя... кто знает? Ведь вот, чорт возьми, какое неудобное положение, выбирая ботинки, мы имеем с собой мерку, для перчаток и шляпы тоже, а по какой мерке выбирать себе жену — никто из нас не знает. Отсюда масса ошибок и несчастий. У людей прошлых поколений выбором жены руководила любовь, но мы не веруем в любовь, а иного шаблона пока нет.

Все барышни изменяются, становясь дамами, и по характеру барышни нельзя определить свойств жены.

Прочность семейного счастья ныне уже относится к области мифологии и на брак принято смотреть, как на более или менее длинную и скучную историю взаимного непонимания людьми друг друга.

У — ах, как все это печально!

Так думал мой герой в течение трех дней, но скептицизм его дум не влиял на его желание вступить в брак.

— Главное, что плохо, так это то, что сначала брачная жизнь обыкновенно очень интересна и к этому привыкаешь.

А потом вдруг все принимает серый будничный оттенок, и человек начинает чувствовать себя ограбленным и обманутым, так, по крайней мере, говорят забракованные люди.

Как бы мне этого избежать?

И внутренний голос говорил моему герою:

— Никак невозможно этого избежать!

Тогда герой мой вешал нос на квинту.

И вот, однажды, во тьме его дум, сверкнул луч... Мне бы надо сказать светозарный луч, но я тороплюсь,— сверкнул луч некоей мысли.

Это иногда бывает с героями романов: несут, несут они бессмыслицу и вдруг озаряются мыслью:

— Ба-а! Идея!

И он пощупал руками свою голову, как бы желая убедиться, она ли именно родила эту идею.

Раньше он обыкновенно не замечал присутствия в своей голове идеи...

— Та-та-та! Я, кажется, выдумал нечто весьма выгодное для человечества.

Последнее, конечно, неправда, — это я выдумал, а не он.

Он не мог ничего выдумать, ибо он никогда и совершенно ничего не думал по той простой причине, что он вовсе не существовал.

Вы, может быть, думаете, что я героем моего романа взял одного из ваших знакомых?

Пожалуйста, не думайте этого.

Во-первых, я не люблю приема современных мне романистов и совсем не хочу в моем романе сочинять разные сплетни на живых людей, как, например, делает господин Гнедич в своих «Китайских тенях».

Во-вторых, — кто из ваших знакомых может уподобиться моему герою в оригинальности?

Вот видите!

Но продолжаю.

Итак, мой герой думал про себя:

— Да это, ей-богу, ново! и я не буду забыт потомством!

— Именно, так я и женюсь. Моментально женюсь и — ...ха-ха-ха!

Он самодовольно расхохотался.

Ему ужасно понравилась эта идея. Моя идея, которую он считал своей идеей.

Все книжные герои обыкновенно живут на средства своих папаш, авторов книг.

В этом отношении мой герой был не лучше других.

Он стал одеваться в полной уверенности, что моментальные браки выдумал сам он, а не я.

Он надел свой лучший костюм и тщательно посмотрел на себя в зеркало, — посмотрел и весьма себе понравился.

Ах, это хорошо для человека — уметь нравиться себе самому!

Но это гораздо труднее, чем уметь нравиться другим. Другим

всегда можно и очень легко солгать, можно прикрасить себя, а солгать себе — вы знаете, как это трудно!

Есть одна краска для всех нас, — краска, способная окрасить нас из действительного серого цвета в воображаемо-яркий,— это самоуверенность. Но горе тому, у кого ее нет и кто не умеет по желанию являться пред самим собой в произвольно прикрашенном виде!

Впрочем, все это, — как и всякая другая философия, — совершенно излишне.

Человек действует не по философии, а по... Не знаю, впрочем, почему он действует так, как действует...

Потому ли, что он есть все-таки «жив — человек», или потому, что он человек бессовестный?

Не решаюсь решить этот мудрый вопрос. Я продолжаю роман.

— Пойду теперь искать невесту! — сказал мой герой.

И пошел.

Завтра он найдет ее, — я вам за это ручаюсь.

[ГЛАВА 3-я]

И вот, герой мой идет по Дворянской улице, направляясь к Струковскому саду.

Дело было в мае, и погода была самая самарская.

Легкий ветер вздымал густые клубы пыли, и она летела в нос моего героя в таком же обилии, как и в носа всех остальных смертных.

Он шел и пристально всматривался в физиономии и фигуры встречных особ женского пола, уделяя барышням внимания более, чем дамам.

Он шел медленно, но соображал быстро.

И вот из-за угла Москательной улицы навстречу ему вышла «она».

Почему именно «она»?

Потому что она ему понравилась.

— М-lle![1] — сняв перед нею шляпу и заступая ей дорогу, сказал мой герой. — М-lle! Не удивляйтесь тому, что вы сейчас услышите. Прошу вас пройтись со мной до сада!

Она гневно взглянула на него, но выражение глубокой почтительности, изображенной моим героем на своей физиономии, обезоружило ее.

— Что вам угодно? — сухо спросила она.

— Предлагаю вам руку и сердце! — твердо, решительно и солидно брякнул мой герой.

— Что? Вы? Да вы...

— Я живу на Вознесенской улице, а не в Томашевом Колке, как вы, кажется, готовы предположить!

— Так перемените же квартиру... И скорее! а теперь — пропустите меня! — усмехаясь и возмущенная сказала она.

Но мой герой был храбр, и это его не обескуражило.

— Послушайте! Даю вам честное слово, что вы имеете дело с по-

[1] Сокращенное слово mademoiselle — барышня.

рядочным человеком. Я знаю, — мое предложение странно. Больше того, — оно...

— Бессмысленно и... и... и...

«Она» не нашла надлежаще сильного выражения.

— Пусть так! Бейте, но выслушайте! Посмотрите на меня, разве я не кажусь вам настолько порядочным, чтобы гарантировать вас от каких-либо оскорблений с моей стороны.

Она посмотрела на него.

Он показался ей ничего себе, симпатичным.

Тогда уж более мягко она спросила его:

— Что вам от меня угодно?

— Прежде всего — полчаса времени! Прогуляемтесь.

— Извольте... пожалуй. Но все-таки вы ненормальны.

— Ах, все нормальное — так банально! — вздохнул мой герой.

— Хорошо! Но что же вы мне хотите сказать? — с любопытством уже спросила она.

— Я, — как уже имел честь один раз сделать это, — вновь предлагаю вам руку и сердце.

— Сумасшествие! — качнула она головой.

— Нимало! Расчет. Верный расчет. Такое предложение для нас обоих равномерно выгодно! — убежденно произнес он.

— Ничего не понимаю! Но я же не знаю вас и вы меня тоже?!

— Да, мы встречаемся первый раз. Именно в этом-то соль события и заключена.

— То есть как же это? Объяснитесь, наконец.

— Извольте!

И он начал объяснять.

— М-lle! Вы, конечно, знаете, что все, что за последнее время творит бог Гименей, отличается крайней непрочностью.

Вам, наверное, известно, что с течением времени медовый месяц супружества становится все короче, и, пожалуй, он уже отошел в область мифологии.

Мы будем ближе к истине, если будем говорить о медовой неделе, и быть может скоро наступит время, когда останется один только медовый день.

М-lle! Мы живем в такое время, когда совсем неуместно говорить «соль супружества» и «узы Гименея», а следует сказать «горчица супружества» и «цепи брака».

Почему это, как вы полагаете?

Потому, m-lle, что все мы — вы, женщины, и мы, мужчины, стали страшно мелки и быстро исчерпаемы.

Мы интересны друг для друга, пока не знаем друг друга; а как только мы познакомимся, так сейчас же теряем всякую привлекательность.

Это вполне естественно, ибо мы по существу нашему ужасно пустой народ, что-то вроде труб, через которые глаголят Ерунда, Чепуха, Галиматья и все иные нелепые чудовища.

Мы только тогда и хороши, пока еще не знакомы.

И в наших интересах, как можно медленнее узнавать друг друга.

И вот по сим причинам я нашел, что мне вредно знакомиться с моей супругой до брака, равно как и ей со мной.

Я рассчитал, что, знакомясь друг с другом после свадьбы, мы превращаем все время добрачного знакомства в медовый месяц.

Мы женимся — и начнем знакомиться.

Оригинально и выгодно.

Мы рискуем встретить друг в друге воплощенных дьяволов, но когда мы гарантированы от этого?

Я знаю, это не ново, но я вижу, что это не плохо.

Попробуемте поступить так?

Рискнем?

— Н-не знаю! — задумчиво сказала она.

— Все равно — так или иначе, но...

— Пожалуй, я согласна! — тихо сказала она. — Я понимаю вас.

— Благодарю вас. Мы обвенчаемся завтра!

[ГЛАВА 4-я]

...И вот они пошли в церковь, обвенчались и воротились домой — в квартиру моего героя.

— Если не ошибаюсь, — вас зовут Нонна? — спросил новобрачный у моей героини.

— Да. А вас — Пуплий?

— К вашим услугам! Имя, как видите, не особенно благозвучное, но выразительное и краткое. Я люблю все краткое и ясное.

— Я тоже.

Так они начали знакомиться друг с другом.

Согласитесь, что двум людям, почти совершенно не знающим друг друга и в то же время стоящим в супружеских отношениях друг к другу, — согласитесь, что таким людям необходимо быть вежливыми и сдержанными.

Фамильярность, позволяющая супругу являться пред лицо своей супруги дезабилье, ругаться при ней разными ядовитыми, но неблагозвучными словами, всяческая распущенность, практикуемая между супругами, хорошо знакомыми друг с другом, — все это было невозможно для моих героев.

Им приходилось быть осторожными, сдерживаться в проявлении тех чувств и дум, которые проявляются супругами «вообще» — без всякого друг пред другом стеснения.

Они были незнакомы, и каждый из них боялся, — как встретит другой то или это действие и слово, и как оно на нем отзовется.

И эта сдержанность обусловливала ровность и порядочность их отношений и не позволяла исчезнуть взаимному вниманию моего героя к героине, и наоборот.

В то же время они понемногу знакомились друг с другом.

Он старался верно угадать ее вкусы и привычки и согласовать со своими во избежание распри и разных капризов. Нужно вам сказать, что ни один муж сознательно не хочет распрь в своей семье, и ни одна жена не желает этого: эти распри — явление бессознательное и родятся в семьях от недостатка у людей вдумчивости и ясного понимания своих поступков.

Она его тоже несколько стеснялась, — и это тоже было хорошо.
Ибо зело вредоносно, когда в семье царит тон sans gêne.
Люди всегда должны несколько стесняться друг друга.
Конечно, следует быть искренними и откровенными людьми, но это допустимо в том только случае, если от этого никому не больно.
А время шло, и герои мои узнавали друг друга все ближе.
Но время шло медленно, и прошло не менее трех лет, прежде чем они в первый раз поссорились.
Три года мирного и благополучного семейного бытия!
Кто может похвалиться этим?
И когда после ссоры они мирились, он сказал ей:
— Вот, видишь, моя дорогая, видишь выгоду моментального брака? Женись мы с тобой по общепринятому шаблону, — и в течение трех лет мы поругались бы тридцать раз. А так вот наш семейный мир держался три года и наш медовый месяц был сказочно длинен!
— Да, — сказала она, — ты прав!
Да здравствуют моментальные браки!
Имеющий уши слышать, да слышит!

И вот я кончил мой нравственный, мой краткий и мой глубокомысленный роман.
Публика им, конечно, недовольна, но меня это мало беспокоит: публика всегда и всем недовольна.
Но все-таки пусть публика серьезно подумает над моим романом,— он этого заслуживает уже по одному тому, что касается такого серьезного вопроса, как вопрос о мире в семье.
Я сделаю краткое резюме морали моего романа для более ясного ее усвоения.
Люди нашего времени — очень мелки и легко исчерпываемы. Это раз.
По силе этого факта им нужно остерегаться близкого знакомства друг с другом, ибо они рискуют быстро надоесть друг другу и даже до отвращения надоесть.
А в виду этого риска людям, кои желают устроить семью, следует елико возможно дольше скрывать друг от друга свою внутреннюю пустоту и долее оставаться таинственными незнакомцами.
Этого требует их выгода, и этому очень способствуют моментальные браки, браки до ознакомления людей друг с другом.
Dixi![1]

1895, 30 декабря, № 279;
1896, 3 января, № 2, 4 января, № 3, 6 января, № 5.

106а

Превращаясь из романиста вновь в фельетониста, спешу выразить мое удовольствие.
Мое высокое и глубокое удовольствие.

---

[1] *Перевод:* Я сказал, я кончил (в смысле: сказал все, что считал нужным).

И даже неописуемое удовольствие.

Я был на концерте в пользу студентов.

Я не буду, однако, говорить об исполнителях программы концерта,— они выше похвал.

Но я не могу не сказать, что гг. студенты пьют с бóльшим знанием дела, чем поют.

Именно о них-то я и хочу говорить, — о студентах.

Я всегда любил студентов, — надежду и опору России, будущих граждан и руководителей жизни страны.

Мне особенно нравятся теперешние студенты.

Они все такие чистенькие, гладенькие, скромненькие, очень миленькие и меленькие.

Курточки у них коротенькие, головки маленькие, глазки светленькие, ножки тоненькие и на боках у них болтаются этакие сабельки...

Хорошо!

Очевидно, этими самыми сабельками они и станут изгонять из жизни зло и расковыривать ее тьму и неправду.

Они уже и теперь смотрят такими исполнительными чиновниками, что, наверное, выполнят свою миссию с таким же блеском, как блеск пуговок на их курточках.

Успеха им!

Успеха им, будущим новаторам и реформаторам застоявшейся и бедной событиями русской жизни!

Дорогу им!

Раньше они были не таковы.

Я прекрасно помню, что даже десять лет тому назад они не вооружались сабельками, а считали нужным вооружаться знаниями из искренней и бескорыстной любви к этого рода оружию.

Но они были такие хмурые, серые, сухие и серьезные, — ах, совсем не то, что теперешние.

И хотя они лучше теперешних пели Gaudeamus, но куда как плохо одевались и совсем уж не умели танцовать с такими выкрутасами и вывихлясами, как теперешние.

Ах, прежние куда были серее теперешних!

И хотя они и производили впечатление корпорации духовно слившихся людей, но шика-то, шика этого культурного не было у них!

А теперешние!

6 января, № 5.

107

Прошли святки, — и вновь на сцену выползают разные маленькие злобы дня.

Одна из них — собрание Общества гг. самарских врачей, состоявшееся под председательством г. Догадкина. Непреоборимого г. Догадкина, непроницаемого г. Догадкина.

Публике, конечно, известен инцидент гг. Догадкина, М-на, Ярошевского.

Вкратце этот инцидент заключается в том, что, как ходили слухи, г. Догадкин относится презрительно к больным «жиденятам», не считая их людьми, и делит больных на категории.

Есть больные «какие-то» и «какие-нибудь»...

Это больные, совершенно не заслуживающие внимания гг. врачей, — больные так себе, простенькие и дрянненькие, больные, только нарушающие покой душ гг. врачей.

У доктора Ярошевского другой взгляд на дело; он полагает, что все больные одинаково заслуживают сострадания и внимания гг. врачей.

Он думает, что врачи существуют для больных, а не больные для врачей и для подания им, врачам, средств к жизни.

Посему он пишет г. Догадкину открытое письмо, которое можно резюмировать так:

— Стыдно, г. Догадкин!

Но г. Догадкину не стыдно и он товарищу не внимает.

Тогда в «Биржевых Ведомостях» выступает г. Далин и тоже говорит:

— Стыдно, г. Догадкин!

Но г. Догадкину даже ни крошечки не стыдно.

Он олимпийски спокоен.

И вот трое врачей во главе с г. Ярошевским пишут г. Догадкину открытое письмо, предлагая сему собрать всех врачей г. Самары и вкупе обсудить инцидент.

На 7 января назначено это удивительное собрание.

Назначено и открыто.

Встает г. Догадкин, председатель Общества.

Встает и говорит:

— Господа! Быть или не быть нашему Обществу?

Все поражены.

Общество врачей собралось совсем не для решения таких гамлетовских вопросов.

Общество было уверено, что оно имеет обсудить инцидент, прискорбный инцидент.

Доктор Ярошевский тоже встает и говорит:

— Председатель! Мы собрались говорить совсем не об этом...

— Садитесь! — строго говорит г. Догадкин.

— Но позвольте!

— Молчите!

Во избежание дальнейших повышений голоса председателя строптивый врач встал и ушел домой.

«Отошел ото зла и сотворил благо».

А его товарищи остались и молчали.

Так молчат маленькие мальчики — пред лицом классного надзирателя, прикрикнувшего на них.

О, почтенная корпорация!

Теперь уже и вам должно быть стыдно, а не только г. Догадкину.

Ах, как это все нехорошо.

9 января, № 6

Хотя святки уже и прошли, но последствия их еще очевидны. По крайней мере для меня.

Я чувствую, что будничная действительность вдруг почему-то стала выше моего понимания.

Какие-то загадки будто бы совершаются вокруг меня.

Вот, например, село Выселки ходатайствует о продовольствии, потому что село Выселки постиг неурожай.

До сей поры я понимаю явление: село Выселки хочет кушать, — вот узел явления.

Дальше я начинаю затрудняться в усвоении хода события.

У села Выселок, которое хочет кушать, есть хлеб, и даже очень много — 9734 пуда хлеба.

И вот оно просит разрешения у ставропольской земской управы есть этот хлеб.

После праздников мне такая канитель кажется нелепой.

У меня есть хлеб, и я буду его есть без всякого разрешения.

Но у села Выселок какая-то странная логика.

И оно находит нужным просить разрешения на еду своего собственного хлеба.

Поймите-ка это сейчас же после праздников!

Итак, село ходатайствует пред ставропольской земской управой о разрешении кушать.

Ставропольская управа находит нужным предварительно посмотреть, что именно хочет село.

Смотрит и видит.

Село хочет есть пшеницу.

Скажите!

Белый хлеб, значит!

Но, присмотревшись к пшенице, управа находит ее «недоброкачественной, с сильной примесью головни и негодной для продажи».

Предмет потребления, негодный для продажи, годен лишь для потребления?

Управа решает этот вопрос так:

— Для потребления порядочных людей — нет, не годен, для потребления мужицкого — да, годен!

И в этом смысле она отписывает губернской управе:

— Можно удовлетворить просьбу села Выселок. Пускай его, село, ест недоброкачественную пшеницу, если хочет, но все-таки пусть заплатит за каждый пуд этой негодной для продажи пшеницы пудом хорошей ржи.

Губернская управа согласилась со всем этим.

И все это, должно быть, очень человеколюбиво, замечательно гуманно и, несомненно, очень выгодно.

Хотя я лично ничего в этой истории не понимаю.

После праздников с большим трудом постигаются такие махинации.

В них столько такта административного и еще чего-то столь же непонятного, что голова идет кругом, как подумаешь.

Существует в Самарской губернии земское санитарное бюро, о котором очень много говорят и пишут гг. врачи, и о котором публика все-таки ничего не знает.

Я тоже ничего не знаю.

А мне очень хотелось бы знать, как взглянет санитарное бюро на это дело, — на поедание крестьянами недоброкачественной пшеницы с головней и с прочими неудобь-съедаемыми штучками.

Коли есть санитария, должна быть где-нибудь поблизости от нее и гигиена.

А задача последней... впрочем, я не знаю задач земской гигиены и земской санитарии.

И вообще я не говорю, что нехорошо кормить крестьян недоброкачественной пшеницей, с какой-то головней, может быть, и с углями и даже с золой...

Весьма возможно, что им это очень полезно, — мы так плохо знаем наш народ и его свойства.

Но меня несколько смущает «пуд за пуд».

За пуд недоброкачественной пшеницы — пуд хорошей ржи, — это дорого.

Право же дорого!

Один из наших репортеров, человек редкой души, но очень наивный, сказал вчера нечто об одном из двухсот купцов, подписавшем заявление о прекращении торговли в праздничные дни и заставившем своих приказчиков торговать в день святого крещения:

— Он несправедлив. Или он ошибается.

Я справедлив и справедливости ради считаю нужным отметить, что торговал в день крещения не один г. Савельев, а и многие другие из двухсот.

Он, репортер, видит в этом факте противоречие.

Я не вижу.

Одно дело — подписать бумагу, другое дело — торговать противно смыслу ее.

Бумага подписана и лежит, а подписавшиеся люди торгуют, и в их карманы денежка бежит.

Из этого следует, что они свое дело знают.

А что они жадные, это точно.

И что они плохие христиане, это тоже верно.

Но все это для них трын-трава.

«Жизнью пользуйся, живущий!»

Для них жизнь — купля-продажа, бог их — целковый и ему они — верные дети.

И никакой добродетельной моралью их ранее кануна их смерти не прошибешь.

А все-таки иногда не лишне пощекотать им селезенку, — пусть позеленеют немного.

10 января, № 7

Чем мне особенно не хотелось бы быть, — так это пожарным на службе у города Самары.

Ужасно неудобная профессия.

Обязанный иметь дело с огнем, пожарный оказывается принужден жить в сырости.

Очевидно, это нужно для того, чтобы, впитав в себя елико возможно больше влаги, пожарный сам не воспламенялся при тушении огня.

И вот он должен, в виду сего риска, жить в помещении, в котором свободно произрастают грибы.

Гм!.. А ведь и на самом деле «нет худа без добра».

Сырость, конечно, для человека очень вредна, но, с другой стороны, — грибы, жареные в сметане, — весьма вкусная вещь.

И самарские пожарные имеют их бесплатно и без труда далеко ходить за ними.

Разве это не хорошо?

Это очень даже хорошо!

Вы представьте себя в такой квартире, в которой растут грибы.

На подоконниках — опенки, на потолке — рыжики, под кроватью — маслята, а по стенкам — целые букеты груздей.

Премило!

Во-первых, должно быть, это чертовски красиво, — вся комната покрыта разнообразными видами разноцветной плесени, точно убрана восточными коврами.

От этого в ней, конечно, и душно, и сыро, но зато как это должно радовать ваш глаз!

Хорошая обстановка родит хорошее настроение.

И я думаю, что пожарные города Самары — прекрасно настроенный народ и что хотя они отсырели, как губки, но зато веселы, как огонь.

Огонь — их стихия, ради него они мокнут, он же их и высушит...

Если только они не заплеснеют до первого пожара в такой степени, что не только лишатся способности бороться с огнем, но и сами угаснут от ревматизмов и иных прекрасных атрибутов таких жилых помещений, в которых произрастают грибы.

Видите, — и у сырых казарм есть свои достоинства.

Во-вторых:

Просыпается пожарный поутру — с потолка ему на нос шлеп рыжик.

— Жена! — говорит он, сладко позевывая. — Жена! А пожарька ты мне сегодня рыжиков в сметане!

— Милый мой супруг! — отвечает жена. — Изволь, я пожарю тебе рыжиков! Да не хочешь ли ты еще и опят? За ночь на окошке их целое лукошко выросло...

— Нет, — отвечает пожарный, поеживаясь от сладких ощущений ревматической ломоты во всех костях, — нет, я не хочу опят. Но если бы ты заглянула под кровать, нет ли там масленников? Хорошо бы сочинить к обеду похлебку из этих жирных грибков!

— О! — восклицает жена пожарного, залезая под кровать, — здесь ужасно много грибов.

— Ну, и прекрасно! Собери-ка их все, моя милая. Некоторые из них мы съедим сегодня, а другие останутся и на грядущем же пожаре я их высушу в запас.

— Кстати, нужно сегодня заставить ребятишек собрать со стен грузди, эк, их сколько наросло!

Видите, как все это хорошо и как буколична жизнь самарского пожарного под сенью грибов?

Можно ли сказать, что город относится к судьбе своих слуг сухо, — раз он держит их в такой сырости?

А что в казармах для пожарных так быстро и сильно болеют дети, — это, конечно, нехорошо.

Но отчего они болеют?

От сырости, смрада, тесноты и вообще от условий казарменной жизни и обстановки, или оттого, что, может быть, эти дети — капризные дети?

Это надо рассмотреть, и я, например, уверен, что городская управа этим займется, пошлет в казармы врача и санитара и попросит их определить, сколько времени может выжить ребенок в сырой казарме, не приобретая себе ревматизма и других болезней?

Врачи пойдут, посмотрят и все это управе сообщат.

Может быть, окажется, что ребятишки пожарных болеют вовсе и не от сырости, а по собственному своему желанию, от скуки, от недостатка развлечений, или из капризов.

Эти маленькие дети иногда большие притворщики и, может быть, они даже и не хворают, а просто так себе — умирают от невозможности жить в рассаднике грибов, в грязи, в шуме, в сырости и в иных необходимых соусах существования несчастных детей бедных родителей.

Я сказал — «соуса существования», — я знаю, что это рискованное выражение, но стою за него.

Все мы, читатель, существуем под каким-нибудь соусом, — жизнь иначе не пожирает нас, как с приправой.

Меня она кушает под соусом из фельетонной болтовни, а вас под соусом à la[1] винт и сплетня, а вашу супругу под соусом à la флирт и сплетня; всех нас не просто ест, а с чем-нибудь.

Самарских же пожарных с их детками она пожирает под грибным соусом.

Со временем она скушает и всех членов городской управы, — вы думаете под соусом угрызения совести за их невнимание к своим обязанностям?

О, нет, едва ли, не думаю...

А впрочем?

Все мы люди и, как таковые, — все под богом ходим.

Возможно, что и на самом деле в каждом из нас где-нибудь да сидит же совесть, как это утверждают идеалисты.

И может быть, следует предположить, что и у членов городской

---

[1] *Перевод*: На манер, вроде.

управы — я далек от того, чтобы заподозрить их в противном! — тоже где-нибудь, в глубине их «нутра», есть сострадание и всякие иные гуманные чувства.

И если она, управа, никаких чувств до сей поры не проявляет, то, может быть, следует это объяснить тем, что ей, управе, «недосуг».

То есть — некогда.

Потому что она, как это городу известно, страшно занята.

Я всегда с радостью готов сказать о своих ближних все хорошее, что знаю про них, все, что может оправдать их.

Люблю ближних и чем они от меня дальше, тем больше я люблю их.

11 января, № 8.

110

Студентам-специалистам, очевидно, судьба не благоволит так щедро, как она благоволит просто студентам.

Публики на вечере специалистов было мало, хотя программа вечера была разнообразна и интересна ничуть не менее, чем программа вечера просто студентов.

Из исполнителей, принимавших участие в концерте 3 января, не участвовала только г-жа Соловьева-Страхова с ее симпатичным хором и отсутствие ее, всегда чуткой и отзывчивой к всевозможным филантропическим целям, — было несколько странно.

Вечер, тем не менее, был и интересен, и содержателен.

Как всегда мастерски прочитал несколько вещей К. К. Позерн и особенно сильно и красиво было прочитано им стихотворение «Прежде всего», вызвавшее такие громкие и единодушные аплодисменты публики, что, право, можно было думать, что публика не только поняла смысл стихотворения, но и верит в святые истины, возглашаемые им:

«Разум — прежде всего!»

«Честь — прежде всего!»

«Человек человеку брат — прежде всего!»

А публика слушает и хлопает.

Не ушами хлопает, и не глазами, а руками, выражая одобрение чтецу за то, что он напоминает ей о таких простых и важных вещах.

Для меня эти аплодисменты суть не более, как публичный акт великого лицемерия.

Ах, публика!

Ведь то, что по справедливости должно быть прежде всего — честь, разум, братство, — у тебя после всего!

Чего же ты лжешь, соглашаясь, что все это именно «прежде всего»?!

Артистически прочитаны были сцены из «Женитьбы» Гоголя почтенной устроительницей вечера М. С. Позерн, А. П. Грубиным и Е. П. Чарушниковой.

Г-жа Гамберг и г. Мюллер, — старые знакомые публики и ее любимцы, — были наверное оглушены аплодисментами публики.

Я искренно жалел их музыкальные уши во время содомского грохота, которым одобряла их публика за тонкое и художественное исполнение ими своих номеров.

Трижды биссировали гитаристов — бр. Курлиных, воистину прекрасно изучивших свои инструменты.

Дуэт из «Пиковой дамы», исполненный З. К. Смирновой и З. А. Кирилловой, также вызвал продолжительные единодушные аплодисменты.

Г-жа Нинина-Петипа эффектно передала один из монологов «Медеи» Суворина и Буренина.

И, наконец, были два номера камерной музыки — один из квартетов Гайдна и allegro из квартета Бетховена.

Но увы! Публика еле нашла в себе терпения дослушать их до конца.

Она не любит музыки без барабанного боя, без рева тромбонов и вообще музыки без шума и без грома.

Она вагнеристка — эта самарская публика.

Вот, кстати, анекдот, характеризующий мощь излюбленной ею музыки.

Богатый банкир так оглох, что не слышал даже пушечных выстрелов на пароходах. Он лечился, делал разные опыты, но безуспешно. Наконец, его доктор догадался повести в оперу. Давали «Лоэнгрина». Доктор сажает глухого возле оркестра со стороны тромбонов. Тромбоны начинают выводить свои знаменитые арии. Не успели они кончить свое дело, как банкир, радостный, обращается к своему доктору:

— Ах, доктор, вы меня спасли!

Доктор не шевелится, — он остается равнодушным.

— Я вам говорю, что вы меня спасли. Я отлично слышу!

Но доктор продолжает молчать: «он оглох».

Вот именно эта музыка, от которой глохнут и которая излечивает глухоту, — и по ушам самарской публике.

Потом она еще любит фокусы — музыкальные фокусы, вроде тех, которыми угощают клоуны в цирках и которых большим любителем был Пабло Сарасате, много сотворивший их.

Но о вкусах не спорят.

Ибо сказано: «у всякого свой вкус — сей любит арбуз, а оный — свиной хрящик».

Ну, и прекрасно!

Между всем прочим в Самаре случилось печальное событие.

Оно, кажется, никем, кроме меня, не замечено, но, ей-богу, это не отнимает у него глубокой важности, — некто погиб.

Вы помните строгий расчет моего уважаемого предместника Слово-Глаголь, высчитавшего, что в Самаре на тысячу жителей приходится один читатель?

Ныне один из этих читателей — погиб.

Это, согласитесь, утрата значительная и печальная.

Человек сей, не скрывающий, что он именно «один из читателей», — ныне превратился в писателя и упражняется на страницах

почтеннейшего «Самарского Вестника», газеты Н. К. Реутовского, как гласит вывеска, повешенная на дверях этого странноприимного заведения.

Я смотрю на факт превращения обывателя-читателя в писателя, как на полную гибель человека.

Обыватель, превращаясь в писателя, уже перестает быть читателем, перестает понимать грамоту и мнит себя гением — ни на вершок не меньше. Одному ему только доступны тайны логики, он один понимает все ясно, только он прав, только с ним знакома истина, — и разубеждать его во всем этом было бы совершенно бесполезной тратой человеколюбивых чувств.

Он не видит пределов уму своему и ежели ему противоречить, — он с пеной у рта лезет на стену.

При сем он непрестанно и непрерывно ругательски ругается.

Да сохранит вас господь от сомнения в правоте или в гениальных логических способностях «одного из читателей». Он все факты перевернет вверх тормашками и с вами так же поступит, но он настоит на своем.

Он тверд, как дуб.

И он так страшно скалит зубы при встрече с вами, улыбается такой кровожадной улыбкой не позавтракавшего тигра, что я боюсь больше писать о нем.

Да возвратится ему смирение и да превратится он вновь из писателя в читателя, если только это возможно.

Я думаю, что возможно.

Говорят, что один из древних магов, кажется, Симон Волхв превращал карася в порося и наоборот.

От души желаю «одному из читателей» превратиться.

12 января, № 9.

111

Если кто действительно и искренно задумал с нового года обновить свою жизнь, — так это ставропольский нотариус Быстрицкий.

Он захотел уничтожить все эти «актовые», «входящие» и «исходящие» и многие другие книги, — имя же им легион, — и он уничтожил все их.

Совершает акты, доверенности и всякие другие бумаги, совершает и пишет, но никуда их не записывает и ничего больше знать не хочет.

Это довольно часто бывает с русским человеком, — живет он, живет по шаблону праотцев тихо, мирно и спокойно и вдруг, ни с того, ни с сего, выкинет какое-нибудь удивительное антраша.

Выкинет курбетец и сам себе дивится.

— Л-ловко! Ах ты, дуй те горой!

И, насладившись эффектом своей выходки, снова умиротворяется и влезает в хомут серенького существованьица.

До нового припадка творчества азиатских поступков.

Обнаруживаются «результаты праздников».

Место их обнаружения — камеры городских судей.

Во все участки сыплется такая масса обывательских жалоб на нанесение увечий и оскорблений и протоколов полиции за нарушение тишины и спокойствия, что можно думать, будто самарские жители смотрят на праздник как на время, когда можно и следует друг друга лупить чем попало и по чему попадет.

Взгляд скандальный.

Но «ничего не попишешь», как говорят остроумные люди, — до другого взгляда мы все еще не додумались.

Подождем масленицы и снова будем нарушать тишину и разрушать друг другу кости.

Кстати об одном самарском увеселяющем себя человеке.

Ходят слухи, будто некто из местных купцов развлекается так:

Сидят в гостинице Шемякина студенты и, как и следует теперешним студентам, — ревностно занимаются своим делом, то есть льют пиво и прочее такое.

Подходит к ним почтенный с вида человек и говорит:

— Люблю молодежь. Желаю познакомиться.

— С кем имеем честь?

— Присяжный поверенный Плевако из С.-Петербурга.

— А-а! О-о!

— Н-да! Пьете?

— Пьем...

— Это хорошо... Пейте.

Пьют.

— А закон знаете? а?

— З-знаем... конечно, мы не практики.

— Ну, да, я понимаю. Вы не практики, это верно. Вы мальчишки и...

И он ругается, очень крепко ругается.

Студенты в недоумении.

А он еще ругается, и еще, и потом еще.

Студенты в остервенении.

Такое имя, такой оратор и такая брань!

Но их выручает буфетчик.

— Господа, не извольте беспокоиться, это здешний купец Д. Желаете, — его можно выставить вон-с?!

Пожелали и выставили купца.

Но это его не отрезвило.

В тот же вечер, но уже в другом трактире, он изображал из себя обер-прокурора.

Видите, какой веселый и остроумный купец?

Жаль только, что он с жиру впал именно в эту опасную форму бешенства.

Очевидно, ему неизвестно, что самозванство наказуемо по русским законам. Неизвестно, хотя он почему-то и избрал для своих трактирных представлений амплуа законника.

13 января, № 10.

В наше серенькое, меркантильное время, время, когда люди так мало ценят свое человеческое достоинство, то и дело меняя свое первородство на жиденькие чечевичные похлебки земных благ, — дон Сезар де-Базан, истый дворянин и аристократ по своим понятиям о чести, но демократ по отношению к людям, — в наше время этот испанский дворянин, для которого действительно честь «прежде всего», является смешным и мало кому понятным романическим анахронизмом.

А сколько, однако, истинно хорошего, и истинно рыцарского в этой оборванной фигуре бродяги-гранда!

Г. Сарматов — приятно сказать похвальное слово от души! — верно понял изображаемый им характер и провел роль дворянина-бродяги с искренним чувством и с таким огнем, какого до сей поры нам не приходилось замечать в его игре.

Сцену пред смертной казнью он провел почти с такой же бравадой храбреца и с таким же художественным чутьем, как — я видел — вел эту сцену Ленский...

Немножко скептик, немножко фаталист, беззаботный храбрец и благородная душа — дон Сезар был живым на сцене...

Да, г. Сарматов еще первый раз за сезон был так хорош, как хорош был он в этой роли.

Спектакль не обошелся без легоньких курьезов.

Прежде всего я усмотрел такую вещь. Г., театральный парикмахер, очевидно, очень много занимается современной политикой, главный узел которой, как известно, завязан в Южной Африке.

Должно быть по сей причине неаполитанец капитан стрелков был загримирован зулусом.

Прямо-таки зулус: медно-красное лицо, черные курчавые волосы, толстущие красные губы — портрет короля Сетевайо — и только!

Затем хороши были придворные дамы, роли которых исполнялись если не театральными плотниками, то несомненно пожарными.

Мне также очень понравилась тяжелая каменная стена тюрьмы, которая меланхолично раскачивалась целый акт, как бы думая, упасть или уж не надо?

А часы тюремной башни в продолжение целых двух часов неуклонно показывали 27 минут 6-го, хотя г. Сарматов и говорил, что видит на них сначала 5 часов, а потом без четверти семь.

Затем есть в театре нашем еще нечто, нарушающее цельность художественного впечатления от игры на сцене.

Я говорю о разных забавных физиономиях, высовывающих свои длинные и чумазые носа из-за кулис.

Сначала вам кажется, что из-за кулисы кто-то дразнит вас, показывая вам вареную сосиску.

Потом вам кажется, что это не сосиска, а палец, но палец феноменальной величины.

Наконец, вы видите, что это нос, и даже вы слышите, что это нос, потому что он фыркает.

После чего скрывается затем, чтобы появиться за другой кулисой в сопровождении одного глаза и уха.

Глаз посматривает, ухо шевелится, нос снова фыркает и снова исчезает.

Это, конечно, забавно, если дано в умеренном количестве. Но большой порцией все это — носа, зулусы и прочее — вредит цельности художественного впечатления.

14 января, № 11.

113

Жизнь 4-го участка г. Самары в 1895 году полным полна событий и интересов, и мне думается, что 4-й участок может быть взят как верный показатель жизни всех остальных участков нашего города.

По сей причине и при помощи цифр посмотрим, как жил 4-й участок.

В нем совершено за год 871 уголовное преступление и сотворено 715 штук судебно-гражданских казусов.

Какова энергия?!

По уголовным делам фигурировало пред судьей 1022 человека: 808 мужчин и 214 женщин.

Смотрите, — даже и в области преступления женщины остались далеко назади мужчин.

А еще находятся разные идеалисты, утверждающие, что женщина мужчине равна и даже что женщина лучше мужчины.

Пусть-ка вот они полюбуются на эту женскую отсталость!

В то время как в нарушении тишины и спокойствия обвинялось 96 мужчин, — женщин за этот же проступок привлекалось к суду только 20!

Из чего ясно следует, что мужчины в пять раз деятельнее и в пять раз беспокойнее женщин.

Или — оскорбление чести...

За год чужую честь задел 351 самарский мужчина и только 98 женщин.

Не следует ли из этого, что мужчина почти вчетверо ревностнее женщины относится к чести.

Засим любовь к чужой собственности...

За это чувство перед судьей фигурировало 119 мужчин и 20 женщин.

Бесспорно, что мужчина в шесть раз сильнее женщины любит... чужое добро.

Вот что говорит статистика. Могут возразить, что ведь и участие мужчины в жизни в десять раз превышает участие женщины...

Увы! Не прежняя пора...

Ныне участие женщины в будничных делах жизни почти равномерно участию мужчины, а в том классе, который преимущественно фигурировал пред судьей 4-го участка, — это участие даже и выше мужского.

В мещанстве женщина работает более мужчины...

Но скандалит и безобразничает менее, как о том свидетельствуют цифры.

Отсюда вывод: женщина глупее, слабее и менее энергична, чем мужчина.

Надеюсь, что такой вывод должен понравиться мужчинам и что они несомненно согласятся со мной и с ним, то есть с выводом.

Уверен, что после этого соглашения они, мужчины, не отколотят своих жен, а только изругают их развлечения ради и ради напоминания женщинам о власти мужчин над ними...

Думаю, что вообще нарушение тишины и спокойствия в семьях необходимо и непредотвратимо.

Знаю, что мы хотя люди и не дикие, но несомненно полудикие.

Печальное и мрачное открытие!

Вы слышали? Его сделал достопочтенный В. Е. Буслаев в думском заседании 11-го января.

Оказывается, что дыхание самарской публики безусловно ядовито.

Оно портит деревья, заставляя их сохнуть и чахнуть.

Так сказал В. Е. садовник Струковского сада.

— Скопление в саду публики, которая дышит, портит воздух сада и губит деревья...

В следующее думское заседание В. Е., как говорят, вносит некоторый проект, написанный на тему о дурном влиянии публики на деревья и предлагающий запретить публике дышать во время прогулки по саду.

Если это правда, то мы услышим оригинальный проект.

16 января, № 12.

114

Происшествие!

Маленькое, но характерное: на страницах «Самарского Вестника» заговорил «один из теперешних».

Глас его вопиет ко мне и так глаголет:

Во-первых, я не поэт.

Не спорю, да, Хламида не поэт.

Во-вторых, я не остроумен.

Совершенно верно, это не я остроумен, а «один из теперешних», особенно там, где он рекомендует мне из Хламиды превратиться в ротонду и позвать акушерку.

В-третьих, я бываю в гостинице Шемякина, — одной гостинице на десять университетов, — и с тайным сожалением и намеренно неверно высчитывает «теперешний», желая показаться наивной и чистой душой.

В-четвертых, Герцен, будучи студентом, сбивал шпагой горлышки с шампанских бутылок, — больше ничего о Герцене «теперешнему» не известно.

В-пятых, Н. К. Михайловский отказался высказаться о преобладающем характере современной молодежи, говоря, что он не знает его.

В-шестых, мундир и шпага суть одна форма и больше ничего, а теперешние студенты, нося ее с удовольствием, поносят все другое.

Из всего же этого следует, по словам «теперешнего», что студенты наших дней — ничуть не хуже всех других студентов, я же безусловно не прав и так далее, и прочее, и тому подобное.

Вообще, могу сказать, — мне досталось!

Но все-таки я с «теперешним» не согласен.

Не согласен, а почему, — тому следуют пункты, которые в то же время представляют факты, и я — вы мне, г. «теперешний», поверьте — с глубоким огорчением напомню вам о них.

Не отличайся господа «теперешние» от прежних, — общераспространенное мнение об измене теперешних заветам старого студенчества не имело бы места в жизни.

Молчание Н. К. Михайловского о характере «теперешних» ничуть не лестно для них и они поступили бы умнее и тактичнее, если бы молчали об этом молчании.

Дело-то не в нем, не в молчании, а в том, что г. Михайловский тоже заговорил о моральной физиономии современной молодежи, хотя и не высказался ни за, ни против нее.

Но другие не молчали, и букет, составленный из отзывов о студенчестве наших дней со стороны таких лиц, как Василевский-Буква, Михневич, Н. Гарин, хотя и менее Н. К. Михайловского, но все-таки достаточно известных, — такой букет пахнет крайне нелестно для г. «теперешнего» и «иже с ним».

Есть, конечно, исключения, но в общем, в массе, студенчество, как и общество, умертвило в себе душу живу, оскудело духом, променяло идеалы на идолов, забыло все святые слова и живет без морали, инертной жизнью людей духовно нищих.

Против этого общекультурного явления ни «одному», ни всем «теперешним» нечего сказать, — факт можно изучать, но опровергнуть его нельзя,—я полагаю, хотя как человек, не читавший логику Минто и не собирающийся читать ее, несмотря на рекомендацию г. «одного из теперешних», полагая так, я, может быть, и стою вне законов логики Минто, книги «кажется» прочитанной г. «одним из теперешних», но, очевидно, не ознакомившей его с логикой.

Да, так вот я не согласен с «одним из теперешних», и тот факт, что именно этот господин выступил на защиту студентов от моих якобы нареканий на них, поддерживает мое несогласие.

Пусть-ка г. «один из теперешних» прочитает то, что он написал, — разве это достойно студента?

Где в этом писании горячий протест молодой и честной души истинного студента против моей якобы несправедливости?

Где в нем благородство и пыл юноши, встающего на защиту корпорации, с которой он духовно слит?

Пусть он вдумается в тон его писания, я знаю, ему от этого не может быть стыдно, — стыд в наше время такая редкая вещь, — но я уверен, он сильно разозлится на себя за себя...

Если мы, газетные волки, вечно всеми травимые, иногда слишком зверски и резко огрызаемся, — нам это простительно.

Мы утомляемся до бешенства и мы слишком много говорим для того, чтобы не ошибаться, а говорить меньше нам нельзя, потому что нас мало.

Но вам, — а вы один, к сожалению, из теперешних, — вам не следует учиться у нас ошибкам нашего тона — заметьте — только тона! — и не следует вам выходить на защиту своих товарищей таким неумытым, чумазым и неряшливым, каким вы предо мною явились.

И ваша защита еще сильнее утверждает меня во мнении, что «теперешние» — плохи.

Они плохи еще и потому, что у них нет ясной оценки людей и их действий.

Вот, например, среди них есть один, совершивший нечто такое, о чем нельзя не только писать, но и говорить иначе как шопотом и с краской стыда на лице, нечто такое, что никогда не совершалось студентами и что так грязно, так неприлично, стыдно!

Он студент и ваш товарищ — один из «теперешних».

На концерте 9-го января я видел, как один из студентов ударил другого по щеке и этот другой ответил ему на удар только несколькими напыщенными движениями своей маленькой, клоунски развинченной фигурки.

Это было в гостиной, часов в 5 утра, когда публики было уже мало.

Недавно один из студентов на Дворянской улице довел до обморока какую-то девушку грязными предложениями.

Сколько за последнее время этих скандальчиков и скандалов творится студентами!

— Да это всегда было и совершенно в порядке вещей!..— возразят мне.

Да? в порядке вещей?

Не верю. Не согласен.

Это всегда было — может быть.

Но я знаю студентов, и мой опыт, мое знание их повелевает мне сказать, что хотя студенты прежнего времени и дебоширили, но и в этой области они были чище теперешних.

Ибо в каждом скандале, в котором они принимали участие, — вместе с ними были благородство и честь, и прежде поводы к скандалам были несколько иные, чем ныне.

Я, пожалуй, кончил.

Со смирением сознаюсь пред оппонентом моим — да, я и грубоват, и не остроумен — это факт.

Но, почтеннейший, зачем же вы говорите мне об этом еще грубее, не остроумнее, если вы сознаете себя выше меня в этом отношении?

Зачем, — о несчастный сынок скверненьких деньков! — вы так плохо рекомендуете себя, — если вы о себе высокого мнения?

Не отвечайте, — я знаю!

Addio![1]

18 января, № 14.

---

[1] *Перевод:* Прощайте!

Слышали?

Изобретена новая логика.

Совершенно новая, в высшей степени оригинальная и имеющая совершить целый переворот в человеческих мозгах.

Она построена на почве социальных различий людей и направлена на расширение свободы их понимания действительности.

Отныне характер наших спекуляций в области феноменологии, то есть изучения явлений жизни, будет и должен стоять в строгой зависимости с вашим положением, с вашим весом в обществе и т. д.

Люди без положения остаются при прежних понятиях о действительности: от них не будет отнято право представлять себе небо — синим, редьку — горькой, Самару — грязной, воду — мокрой, водку — пьяной, жизнь — трудной и т. д. Но человек в чине, положим, губернского секретаря может и не подчиняться этим предубеждениям массы, если он захочет.

Он может представлять себе все существующее шиворот навыворот: небо — коричневым, редку — пьяной, Самару — мокрой, жизнь — синей, а водку — если хочет, может пить и безо всякого понятия о ней.

Если же он, положим, барон, тогда он может действительность и совершенно не признавать — отрицать ее огулом, да и все.

Вы ему, например, докладываете:

— Господин барон! лошадь имеет четыре ноги и только один хвост...

По закону новой логики, основанной на влиянии его титула, он имеет полное право возразить вам:

— Вы врете! Она имеет четыре хвоста и одну ногу и зовется не лошадью, а мухой...

— Но, господин барон, муха, по мнению всех людей, есть насекомое, и летает, тогда как...

— Молчать! Я — барон, и если я захочу, то полетит и лошадь. Вы поняли?

Вы не поняли, но чувствуете, что это для вас может служить источником многих неприятностей.

И вы смиренно говорите:

— Покорно благодарю, господин барон, — я понял.

Другой пример.

Вы говорите барону:

— По достоверным сведениям известно, что в этом месте была саранча....

Он возражает вам:

— Чепуха! Я не хочу саранчи...

— Но, господин барон, семьсот человек утверждают, что она была.

— Что такое? Какие семьсот человек, чорт вас возьми? Вы забываете, кто я?

— Господин барон! Ей-богу, они— эти семьсот корреспондент...

— А! корреспонденты! А позвольте вас спросить, что для вас важнее — десять тысяч корреспондентов или один барон?

— Конечно... о... о...

— Ну-с?! Я или они?!?

— В-в-в-ы... бар-р-рон...

— Отныне — извольте это помнить — слышите? корреспонденты и саранча более не существуют. Поняли? Я не хочу ни тех, ни других... Они не существуют. Принять это к сведению и никогда не упоминать в моем присутствии о таких и других насекомых. Идите!

Вы идете, ибо чувствуете, что логика барона несокрушима и что вам с ним бесполезно говорить о чем-либо, потому что барон...

И вы, почтительно кланяясь, прощаетесь с бароном:

— Прощайте, господин барон!

Интересная новинка эта логика — не так ли?

С изобретением ее я начинаю жалеть о том, что я не барон, чего раньше со мной никогда не было.

Ах, если б я был барон и мог иметь в своем обиходе баронскую логику!

Что бы я тогда делал и какие бы шутки шутил!

Например, произнес бы публично речь в защиту... ну, хоть Арины Неучевой, женщины, — скажу по совести, — в свое время доставлявшей мне много чудных впечатлений бытия и потому женщины особенно ценной...

Или — опять-таки например, — завел бы себе разные связи и при помощи их полез бы из баронов в князи.

И много-много всяких других дел совершил бы я, будучи бароном.

А вот, оставаясь фельетонистом, я имею только одно право — право мечтать....

Но и в мечтаниях моих я должен быть умеренным.

Памятуя это, я затыкаю пальцем умеренности фонтан моего красноречия, — как это советовал делать Кузьма Прутков.

19 января, № 15.

116

Прогулка в область суровой самарской действительности...

Третьего дня, часов в двенадцать ночи, иду по Предтеченской улице и вижу: около цирка возятся какие-то фигуры, возятся и сопят.

— Гм, — подумал я... — однако, это...

Да, забыл сказать, что было очень холодно и дул чертовски сильный ветер.

Что бы вы предположили при виде возни сих фигур?

В недоумении я стал соображать, чем они могли быть заняты, и, соображая, сосчитал их количество.

Их было три — мужчина, женщина и собака.

Присмотревшись, я определил, что мужчина женщину бьет, а собака равнодушно на это любуется, — должно быть это была старая самарская собака, привыкшая к простоте и оригинальности нравов своего города.

Я подошел к месту действия, и между мною и действующими лицами завязался такой диалог:

— Это вы кого бьете? — спросил я мужчину.

— Да вот жену... — голосом человека, очень утомленного, ответил он.

— Что ж это вы ее на улице...

— А что?

— Да так, неудобно... И погода скверная, и люди видят.

— Наплевать! — решительно махнул он рукой, оправляя костюм, и продолжал:

— Оно, конечно, дома бы дать ей взбучку гораздо сручнее, — да я не пойду домой-то: мне в депо надо, дежурный я сегодня... Ну ты, корова, вставай!..

Она молча встала, отряхая с себя снег, и отошла к сторонке.

Собака скучно зевнула и тоже пошла за ней.

— Больно он вас поколотил? — спросил я женщину.

— А тебе что за дело? — переспросила она не особенно дружелюбно.

— Настасья, ступай домой, — скомандовал ее супруг. — И вы, — обратился он ко мне, — проходите. Чего тут глаза-то пялить?

И снова обращаясь к жене, он внушительно разъяснил ей:

— А завтра вечером я тебе додам, что не додал. Я те так взбутетеню — долго не забудешь. Иди!

Обнадеженная женщина пошла домой в сопровождении собаки.

Я и ее супруг стояли друг против друга и молчали.

— Господин! — обратился он ко мне, —дайте двугривенный! Просил у этой ведьмы — не дала чертовка. А голова у меня... Ох ты!

— Извольте, я дам. Но вот что: сколько вы с меня возьмете за то, чтобы не бить жены завтра?

— То есть как — совсем не бить? — спросил он задумчиво.

— Нет,— вот вы обещали ей завтра еще доколотить ее, так не доколачивайте, а возьмите с меня, сколько следует за это...

— Н-да... Вам, значит, жалко ее, бабу-то?

— Жалко, — сказал я.

— Это пожалуй. И мне тоже жалко — хорошая баба. Шестой год живем душа в душу. Сколько с вас за нее взять? — и он задумался. — Полтину дадите?

— А на службу вы попадете с полтиной-то?

— Честное слово — попаду!

— Извольте...

— Покорнейше вас благодарю. Чорт те возьми! Везет мне. До приятного свидания!

— Не будете бить жену завтра?

— Ни-ни! Расцелую чертовку. Господи... чай я не зверь какой,

стану ни с того ни с сего терзать человека! Чай жена мне она, Наська-то. Живем хорошо... Иду-с я!

И он ушел...

Покорно прошу верить в истинность изображения, я не сочинял это, а только записал как мог точно.

Картиночка — чисто российская — и с букетцем идиллическим, и с простотой эпической.

Как вы полагаете — надул он меня?

Бил он вчера жену или нет?

И как вы полагаете, — сколько бы он взял с меня за то, чтобы не бить жену никогда больше?

Это, конечно, невозможно, но для примера, сколько бы это стоило?

20 января, № 16.

117

Наконец, можно сказать, что и у нас в Самаре есть «жгучий вопрос».

Во-первых, потому жгучий, что он трактует о горчишниках, а во-вторых, потому, что он разжигает страсти.

Какие страсти!

Можно ли было ожидать, что в Самаре обнаружится присутствие таких тонких аристократических чувств, как чувство пренебрежения к горчишникам.

Дознано, что сии индивидуумы, помимо крайней склонности ко всяческому дебоширству, обладают еще и запахом зело ядовитым, от коего сохнут и чахнут деревья Струковского сада.

Дознано и постановлено: тех самых ядовитых и злокозненных горчишников бесплатно в сад не пускать, а взимать с них за отравление ими деревьев по гривеннику.

Дешево и сердито!

Но люди, духом аристократизма пропитанные и тонкими чувствами от природы снабженные, постановляя таковое решение, не ожидали, что в Самаре есть и демагоги с демократами.

Сии последние выступили на защиту горчишников и их права дышать свежим воздухом:

— Хотим гулять по саду с горчишниками!

— А мы не желаем! — отвечают сторонники гривенника.

— Это нехорошо! — взывают демагоги.

— Ан неправда — очень даже хорошо!

Спор принципиальный, и когда он будет решен, мы узнаем, кто в Самаре сильнее — аристократы или демократы?

21 января, № 17.

118

За границей дошли до того, что выдумали свет, который позволяет видеть человека насквозь.

Примененный к фотографии этот свет имеет совершить чудеса. Он обладает свойством проникать сквозь твердые тела, и вы

не можете себе представить, до чего это будет неудобно и стеснительно для нас.

Предположите, что некто желает близко познакомиться с вами.

Для этого он снимает фотографию с вашего черепа и, если в вашем черепе окажутся какие-либо мысли, — они получатся на негативе в виде темных пятен, или в виде змеевидных спиралей, или в другом каком-либо не особенно красивом виде.

А при желании, быть может, можно будет фотографировать и вашу совесть и точно также негатив покажет все наросты на ней и все пятна.

Одним словом, теперь каждого человека можно видеть насквозь и как бы ни была толста и непроницаема ваша кожа, — пред новым светом она прозрачна, как стекло.

Неприятно, не правда ли?

Но что поделаете?

Уже и у нас в военно-медицинской академии производятся опыты с новым открытием.

Очевидно, нам придется почиститься с внутренней стороны.

По всей вероятности, это сильно поднимет цену на москательные товары.

Ибо я думаю, что для чистки наших черепов потребуется не что другое, как соляная кислота, всего лучше очищающая медь.

И для чистки совести в виду скопления на ней всякой грязи и ржавчины — потребны будут такие же сильные кислоты, как серная, синильная и так далее.

23 января, № 18.

119

Концерт или музыкальный вечер гармониста Невского привлек такую массу публики, что не хватило билетов, и многие, желавшие насладиться звуками родной гармонии и лицезреть игру виртуозов,— так и не насладились, несчастненькие.

Играл Невский в своем роде артистически, как он всегда играет,— я много раз слышал его.

И портил впечатление своей игры тоже артистически, прибегая к тем выходкам, которые вполне уместны пред лицом ярмарочной публики, на сцене какого-нибудь ресторана, но которые оскорбляют в зале клуба и стушевывают достоинства игры.

Но, несмотря на это, гармонисту-виртуозу хлопали и много и громко.

Нравились то, что было смешно; то же, что было действительно хорошо, — не особенно нравилось.

Ерунда с акомпанементом балалайки вызвала всеобщий восторг.

Это была шапка, которая пришлась как раз впору Сеньке.

Публика была купеческая преимущественно.

Купец был с супругой, с чадами и с домочадцами в лице приказчиков.

Музыка родной гармоники оживила его, и он сейчас же почувствовал в себе русскую удаль.

Русский дух он принес с собой с самого начала: все время пахло квашней, капустой, деревянным маслом и всем прочим...

Вечер был, и помимо аромата и удали, вполне русский.

Русская опера, попурри из русских песен, «Камаринский» Глинки, сам гармонист в русском костюме и плюс его заявление, которым он закончил «Путешествие по Европе»:

Обойдите целый свет,
А России лучше нет!

Это вызвало взрыв патриотизма — браво, bis, Невского — а!

«Путешествие по Европе» — тоже вполне русская вещь.

В ней рассказывается о том, какие впечатления выносит русский человек, вылезая за границы своей мурьи; рассказано истинно по-русски: откровенно, искренно, грубовато и вполне типично.

В Бордо скверное вино, в Дижоне — хорошая горчица, в Брюсселе — кружева, в Париже — дороговизна, в Лондоне — туман и т. д.

Сообразите же: скверное вино у нас есть, хорошая горчица тоже, Брюсселя нет, но есть Балахна, а Петербург в отношении дороговизны и тумана поспорит и с Лондоном, и с Парижем.

Значит, — у нас не хуже, чем за границей.

Деготь и квас, щи и пареная репа, самовар, лапти и тараканы, — все это вещи, пользующиеся в Европе громкой известностью, вещи, которым она завидует, но которых не имеет и едва ли будет иметь.

И отсюда следует, что вы хоть:

Обойдите целый свет,
А России лучше нет!

С чем вас и поздравляю!

Из клуба в театр.

Там тоже все вполне оригинально.

Идет мелодрама — «Дитя».

Не подумайте, что это г. Кольцов — дитя, о, нет!

По пьесе дитя имеет два года, так что эту роль даже г. Стенин не мог играть, хотя у него есть все данные для успешного дебюта в роли двухгодовалого ребенка.

«Дитю» двух лет играл мальчик лет семи.

Его еле вытащили на сцену, — оказался тяжеленек несколько, а в тачке вывезти не догадались.

Г-жа Нинина-Петипа играла с жаром и сильно.

До того сильно, что проломила локтем стену.

Мне, конечно, ничуть не жалко стены, но я озабочен состоянием здоровья локотка артистки.

Ей нужно беречь локти и плечи, ибо всю мелодраму она одна вынесла на своих руках.

А мелодрама-то тяжелая.

Затем идет веселый французский водевиль.

Идет хорошо. Как вдруг...

Ведь этакий патриотический вечер!

Вдруг на сцену выходит настоящий русский мужик с настоящей сальной свечкой в руках.

Вышел, стоит и улыбается во всю рожу, глядя на публику.

Преэффектно — знаете!

P. S.

Ах, да! Вниманию дирекции театра.

Вот уже с неделю времени из-за правой передней кулисы высунулся и торчит чей-то нос, очевидно, позабытый своим владельцем и тоскующий о нем.

Очень беспокойный нос: то и дело он прыгает, фыркает, морщится и обнаруживает много других признаков тревожной и тоскующей жизни.

Он вызывает сожаление, погружает в меланхолию и смотрит на публику каким-то символом.

Как будто бы он говорит ей:

— А кто-то останется с носом!

И весь он при этом трепещет — не то от удовольствия, не то от огорчения.

По-моему — убрать бы его.

Возвратить владельцу со внушением впредь не выставлять выдающейся черты своего лица в публичном месте и не вводить людей носом в искушение, не заставлять их угадывать значение носа, выглядывающего из-за кулисы и отвлекающего внимание в свою пользу от высоко-художественной игры наших артистов.

Зачем глумиться над бедной самарской публикой, уже убежденной, что она и на следующий сезон остается с носом?

Не великодушно это.

24 января, № 19.

120

Осуществляются мечты, хорошие мечты, которые в скором времени позволят всем нам с полным убеждением сказать:

— Деревня, вот он — рай!

А почему — тому следуют пункты.

Во-первых, — в одном из заседаний Общества трезвости одним из радетелей о преуспеянии народа на почве культуры было предложено — помимо украшения деревенской жизни волшебными фонарями — устроить в деревне еще и кегель-бан.

Во-вторых, — решено в принципе завести в деревне музыку — настоящую музыку.

Ознакомить мужичков с Чайковским и Бородиным, и чтобы мужичок пахал под музыку, и молотил под нее, и о податях думал под звуки похоронного марша.

Инструментов нет, — это ничего, можно и на губах изобразить.

С музыкой и пением — жизнь деревни несомненно пойдет, как по нотам.

И все это тем более уместно, что, как оказывается, деревня уже пользуется услугами электричества.

Для вас это новость?

Я тоже ничего не знал до последнего дня земского собрания.

Этот отрадный факт был ведом только гласному Шулешкину, но и он хранил его до сей поры в строгой ото всех тайне.

Но, наконец-то, объяснил.

— Ведь, в настоящее время, — спокойно доложил он товарищам, — электрическое освещение устраивается даже в деревнях!

Все были поражены открытием.

Но, конечно, не могли не поверить гласному, жителю деревни, хорошо знакомому с ней.

Поверили, — потом стали завидовать ему:

— А у нас в деревнях совсем нет никакого освещения. Тьма одна и больше ничего!

Да-с, вы видите, деревне нынче «везет», как говорится.

Кегель-бан ей хотят устроить, музыку ей дают, электрическое освещение у нее уже есть...

Теперь остается совсем немного дать ей для полного счастья.

А как это будет хорошо, когда она введет у себя разные культурные штуки.

Например, телефон.

Дядя Сидор звонит к дяде Фоме:

— Ей ты, корявый чорт, ты дома, что ли?

— Дома, а што ты орешь?

— Я-то? Так, ничего. Лежал, лежал на печи, скучно стало...

— Ну?

— Дай, думаю, Фомку в кабак позову.

— Да ведь, денег-то нет?

— А мы мой хомут заложим! Идет?

И при свете электрического освещения они оба дружески тащат в кабак хомут с шершавого Савраски, животного, питающегося соломой с крыши.

Видите, — какая отрадная картина?

25 января. № 20.

121

Когда я встречаю женщину с лицом бледным и утомленным, с темными пятнами под глазами, женщину, которая идет торопливой походкой человека, не имеющего ни одной свободной минутки, и помимо утомления имеет на лице и во всей фигуре нечто, внушающее уважение к ней, — я думаю про себя:

— Это, наверное, учительница...

Затем я вздыхаю и думаю про себя об одном из мучительных видов каторжной работы, о том ее виде, который называется «педагогической деятельностью», имеет такое важное значение в жизни, так быстро высушивает и обессиливает людей и во всяком случае давно уже и прежде всего другого нуждается в совершенно иной, более нормальной и менее изнуряющей человека постановке.

С последним все согласны, — это общепризнанный факт, что у нас положение учителя и учительницы мучительно трудно.

И, однако, все остается попрежнему, в старых рамках, тесных и выжимающих из педагогов соки жизни так быстро, что еле только вы успели разглядеть человека, так искренно преданного своему делу, страстно влюбленного в него,— он, этот человек, превращается в автомата, действующего по программе, в цехового педагогического цеха, в ремесленника, холодного и равнодушного к своему делу.

Общество должно бы озаботиться экономией жизненных сил самых полезных и бескорыстных своих слуг, но общество...

Не буду говорить об обществе, ибо должен откровенно сознаться, что мне неизвестно место его жительства, и что, в сущности, я не имею представления о нем, и общество для меня «одна мифология», как говорил некто о предметах абстрактных.

Раньше я искал его, — я был тогда очень самонадеян и молод, за что уже и расплатился.

Теперь я говорю «общество» по привычке и еще из надежды, что оно когда-нибудь объявится и заявит о себе.

Пока по причине безвестного отсутствия нашего общества не будем говорить о фантомах.

Изобразим лучше трудовой день учительницы.

Она встает в 6—7 часов утра, наскоро вливает в себя стакан чаю и идет в класс.

Прежде всего, там головоломно шумно: маленькое человечество любит шуметь, пока оно маленькое, подрастет — тогда присмиреет.

Но учительнице нельзя ждать, когда оно вырастет и усмирится само собою, — она должна утихомирить его сейчас же, дабы посвятить в тайны разных наук.

И вот с головой, которую ей уже порядочно раскричали, она принимается за свое дело.

— Дважды два — четыре! — открывает она одну из тайн математики.

Человечество поражено, оно не ожидало такого открытия и не может сразу усвоить его.

Учительница помогает ему в этом и пальцами, и словом, и мелом на доске, — и через полтора часа некоторые отдельные индивидуумы, пожалуй, готовы признать за истину тот факт, что дважды два — четыре.

У других из такого умножения получается 2, 7, 9, а у большинства совсем ничего не получается, но все из вежливости и из сожаления к учительнице соглашаются с ней — дважды два — четыре и повторяют это до поры, пока не забудут.

Потом русский язык по звуковому методу.

— Повторяйте за мной: к-о-р-о-в-а!.. Что это такое?

— Корчага! — заявляет одна особь.

— Коняга! — догадывается другая.

— Кисель! — решает третья.

В объяснениях таинств звукового метода, по которому из молчания, хрипения и разнообразного шепелявства рождаются имена видимых предметов, — в этой веселой и интересной работе проходит еще час.

Следует чистописание, после которого весь класс превращается в собрание маленьких трубочистов.

Потом закон божий.

Потом, наверное, есть еще какие-нибудь науки.

В три часа это все кончается, и учительница идет к себе.

Дома ее ждут шестьдесят тетрадок, исписанных разными простыми, но мудрыми изречениями вроде следующих:

«Сено сухо, а небо сине». «Голуби воркуют, а воробьи чирикают».

Но эти поучительные сентенции написаны так:

— «Сен ос ухо. Анеб, о си. Иней». «Гол—убий! Вор, чиркуют, ворикают!»

Нужно перевести все это с детского языка на человеческий.

Затем нужно исправить «сочинение» старших классов.

Сии плоды подневольного творчества являются на глаза учительницы приблизительно в таком виде:

«Од набаба сидэла пот окнамм. А нищии стары просит милыстиньку. Она и дала ѣму последни краюху хлѣбъа. Потом к ней надворь прилѣтѣлии пчолы и она собърала их в улей.

Больши ничего».

От исправительной работы над этакими перлами голова наполняется чем-то вроде манной каши, и все представления о предметах реальных теряют свою определенность.

Учительнице начинает думаться, что люди были бы гораздо оригинальнее, если б у каждого из них были свои собственные грамматические правила.

Этим еще достигается и крупная выгода для всех нас — мы бы не так легко понимали друг друга, говоря каждый на своем языке, а, не понимая, дольше бы сохраняли друг о друге хорошее мнение.

Учительница правит сочинения и смутно чувствует, что природа сочинила из ее жизни совершенно не логичное и слишком тяжелое время препровождения.

За что? И учительнице делается грустно и обидно за себя.

Таков ее день.

В неделе у нее шесть дней таких, день же седьмый...

На седьмой день она идет в воскресную школу и снова занимается в ней.

Когда же она отдыхает?

Я боюсь спросить об этом у нее потому, что боюсь услышать нехорошее слово:

— Никогда!

Кстати — воскресная школа.

Печатались объявления о том, что ежели кто хочет и умеет заниматься в воскресной школе, — пусть идет и занимается.

Объявление было прочитано, некоторые захотели и пошли заниматься.

Можно было думать, что вот учительницы-профессионалки и отдохнут.

Но, увы! Им не везет!

В преподаватели воскресной школы частные лица почему-то не попали и не попадают.

Почему бы это?

Не нужно забывать, что все наши частные лица обладают скромностью.

И что вообще мы — народ по существу нашему сырой.

А потому следует нас допустить учить в воскресной школе, и при этом можно быть уверенным, что кроме четырех правил арифметики и прочего такого мы не научим ничему.

Ведь пятого правила у арифметики, кажется, нет?

Ну, а мы ничего не выдумаем нового.

Ибо нам от жизни нашей и думать-то нечем стало.

Пустите же нас, частных лиц, учить в школе воскресной, — все бы нам веселее от этого жилось.

26 января, № 21.

122

Посетил городскую библиотеку.

Больше не пойду в нее, всякому свое здоровье дорого.

Когда я пришел туда, то прежде всего увидал, что сторож смотрит на меня очень недружелюбно.

— Дорогой мой! — сказал я ему, — а куда мне повесить пальто?

— Вешалков нету... — сказал он мне, таким тоном сказал, что мне стало ясно: если бы нужно было повесить не мое пальто, а самого меня, — он тотчас же, с удовольствием нашел бы свободную вешалку.

Я несколько смутился.

— А то вон суньте в уголок...

Я сунул пальто в уголок и вошел в библиотеку.

— Дайте мне ту книгу, которую за последнее время всего больше читают, — попросил я.

— Это трудно определить. Читают «Хороший тон», и «Устав о предупреждении и пресечении преступлений» в спросе. А также многие иные научные книги.

Я взял «Хороший тон», — мне давно говорят, что у меня дурной тон.

Потом я прошел в читальню, то есть я попытался пройти в читальню.

Там было очень, очень много публики и я этому обрадовался.

Ибо я заключил, что такое стечение публики свидетельствует о ее страсти к просвещению.

Поговорив кое с кем, я убедился, что Бокль прав и что климат имеет большое влияние на успехи культуры.

На дворе стоял двадцатиградусный мороз, — и вот почему так много публики захотело просветиться.

Оказывается, что в холода стремление к просвещению всегда увеличивается. Особенно жаждут просвещения те люди, у которых нет теплых пальто.

В теплую погоду интерес к знаниям падает, — публика, когда ей тепло, ничего не ищет в библиотеке.

Да, так публики было много, а мебели было мало, в читальне было тепло и живописно.

Многие стояли, счастливые сидели на стульях, менее счастливые — на витринах, на окнах, на карнизах, некто ухитрился сидеть даже на собственной палке, наглядно изображая своей позой некоторое турецкое зверство.

Было душно, пахло керосином и человеком.

Было темно, — лампы почти гасли, ибо не было свежего воздуха, — публика уже издышала его весь..

Я открыл «Хороший тон», усевшись на край стола и поставив мои ноги на колена человека, сидевшего против меня.

От «Хорошего тона» пахло гарью и еще чем-то определенно скверным.

Мой сосед с левой стороны просматривал «Стрекозу» и ковырял в зубах дамской шпилькой, а сосед с правой стороны дрыгал под столом ногой и поскрипывал своим стулом.

Это его занимало гораздо больше, чем номер газеты, который он держал в руках.

Над моей головой висела лампа, — кто-то качнул ее, и она ударила меня по затылку.

— Позвольте, милостивый государь, — услыхал я возглас, — вы сели на мою книгу.

Я извинился и слез с книги, совершенно напрасно впрочем, потому что подо мной не оказалось никакой книги, но на моем месте оказался новый пассажир.

Он сидел и смеялся.

— У нас, знаете, принято так — спугнуть чем-нибудь человека и потом трюхнуться на его место.

Я не возражал, — памятуя, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят.

Потом я поискал себе места, нашел и сел, но оказалось, что я сел на стекло витрины, продавил его и провалился в компанию каких-то древностей.

Когда меня оттуда извлекли, — я почувствовал себя не совсем здоровым и, не оборачиваясь к публике спиной, ушел из читальни с «Хорошим тоном» в руках.

В библиотеке я отдал «Хороший тон» по принадлежности и, покорнейше поблагодарив за доставленное мне удовольствие, ретировался в прихожую, где увидал, что кто-то, приняв мою шапку за свою калошу, пялит ее себе на левую ногу.

Моих калош не оказалось, а когда я спросил сторожа, где они, он любезно объяснил, что положил их... в боковой карман моего пальто, для того, чтоб они не потерялись.

Наконец, меня привезли домой, где я не преминул взять тотчас же три ванны.

Это было необходимо, ибо при взгляде на себя в зеркало я увидал, что я закоптел, как кочегар.

Теперь я здоров, — благодарю вас!

27 января, № 22.

123

Никогда еще я не был так доволен собой, как доволен теперь по истечении брачного сезона.

Спешу оговориться.

Я доволен не тем, что остался холостым, несмотря на столь яростно свирепствовавшую в Самаре эпидемию бракосочетаний,— совсем нет!

Человек от природы любопытный — я вместе с тем настолько храбр, что ничего не имею и против того, чтобы испытать прелести семейной жизни на самом себе.

Нет, я доволен обилием браков потому, что считаю себя первой причиной столь свирепого на браки сезона.

Я убежден, что это подействовала моя теория «моментальных браков», опубликованная мною на святках.

Я доволен, но я не горд и не требую себе никакой награды за мою услугу самарскому человечеству.

Пользуйтесь!

Другая, менее важная причина — дешевизна хлеба.

Обременяясь семьей, человек не может не думать о средствах пропитания и продуктах питания.

Самый дешевый из последних — хлеб...

Наконец, третья причина — краткость мясоеда.

Решившись вступить в брак, человек обыкновенно не желает ждать.

Раз уже решено — подчинимся року.

И вот, в результате этой поспешности людей, желавших покончить со своей свободой, получилось то, что в последние дни мясоеда в каждой церкви заключалось по десять браков, а в одной — у Ильи-пророка — даже восемнадцать!

Гм! Однако, мне боязно...

Вдруг на первой неделе поста приходит ко мне некий человек унылого вида и скорбно скажет мне:

— Я один из тех, которые неосмотрительно женились в истекший мясоед!

Я вам поверил и, по теории вашей, совершил над собой моментальный брак.

Вы разбили мне жизнь, потому что жена уже и теперь начала бить меня.

Она меня много бьет, больше, чем я заслуживаю, но это бы еще ничего, а вот она когда колотит меня, называет извергом и тираном и разными другими словами, значения которых я до брака не понимал. Это, знаете, мне обидно.

Не угодно ли — я пред вами разденусь?
Не хотите? Ага!
А то бы я вам показал разноцветные данные на теле моем, данные, доказывающие, что тиран — это не я.
По силе сих соображений я хочу, милостивый государь...
Чего он захочет — не знаю право...
Но мне боязно...

А то вдруг придет «она».
— Это вы выдумали гнусную теорию моментальных браков?
Вы? Ага, так это вы?
А вы знаете, что на другой же день моего брака мой муж...
И она скажет мне что-нибудь ужасное и потрясающее.
Скажет и потом... сделает со мной что-нибудь.
Бррр!
Я постараюсь скорее убраться из Самары.
Я понимаю теперь, что философ может быть ответствен пред обществом за проводимые им идеи.
Я, впрочем, не серьезно говорил о моментальных браках.

31 января, № 25.

124

Сегодня я имею дело с неизвестным мне человеком, приславшим на мое имя письмо за подписью «Ваш старый знакомый».
Так как мой с ним разговор будет носить характер интимный и для «Старого знакомого» далеко не лестный, то я покорно прошу всех читателей, кроме г. Старого знакомого, меня не слушать.
Жалеючи «Старого знакомого», не слушайте мою речь к нему!

Злопыхательный вы человек, г. Старый знакомый!
Письмо ваше я получил. С содержанием оного, к сожалению моему и неудовольствию вашему, ознакомился и нисколько не удивился свирепости ваших чувств, равно как не поражен и вашей страстью к ябедничеству.
Побуждения, ради которых вы мне написали вашу цидулку, мне хорошо понятны и по этим самым побуждениям, — я, не имея о вас ни малейшего представления, все-таки признаю в вас «Старого знакомого».
Почему признаю?
А потому, сударь мой, что мне давно и хорошо известны люди вашего типа, которых в жизни далеко не мало. Не претендуйте на оригинальность!
Люди вашего типа — это люди весьма похожие на репей: они повсюду пристают, что неосторожно пройдет поблизости от них.
Их можно сравнить и еще с одной штукой... Но это было бы уже неблаговонно, а я даже и в разговоре с вами имею намерение остаться в рамках приличия.
Вам, например, нет и не может быть никакого дела до лиц, на которых вы мне наябедничали, если не наклеветали, — но тем не менее вы нашли нужным сочинить на них маленький доносец,

выдвигая противу них крупное обвинение в неуважении к таинству брака и даже более...

Мой маленький Булюбаш!

Нехорошее дельце вы себе выбрали.

Конечно, всякий делает, что может, но все-таки письмо ваше вызывает чувство глубочайшего презрения к вам, а тот факт, что вы скрыли себя за псевдонимом, — еще более увеличивает это чувство.

Я говорю, сударь мой, что анонимы и псевдонимы в вашем роде хорошо известны мне.

Они делятся на три вида: одни ябедничают по страсти...

Другие по глупости.

Третьи из личных целей — из мести и т. д.

Вы особь которого-либо из сих трех видов.

Путь, по которому вы шагаете столь уверенно и с таким чувством самодовольства, — путь опасный, смею предупредить вас...

Вы можете далеко уйти по этой торной тропинке.

Представьте себе, что ваше зрение обмануло вас, — и вы по силе законов уголовных подверглись преследованию за ложный донос.

Конечно, я не хочу остановить вас — шагайте дальше, пожалуйста, и быть может, вы пропутешествуете в конце концов за Урал...

Скатертью дорога!

Я рад за вас, если это с вами случится, ибо путешествия развивают ум и облагораживают душу.

А вы нуждаетесь в этом.

А вы знаете, что между доносчиком и певцом есть нечто общее?

Это заметил покойник Д. Д. Минаев, сказав:

«Первый хочет взять *до* грудью,
А второй берет *до* — носом!»

Сударь мой, дайте вашему носу другое, более приличное употребление и не суйте его в дела, вам не подведомственные.

А засим прощайте навсегда!

Читатель в недоумении — зачем все это написано?

Объясню.

Затем, что появление на моем столе обывательских анонимных и псевдонимных ябед, кляуз, клевет и других плодов свободного творчества обывательского ума — вывело меня из терпения.

Уж очень много!

Неужели нет у вас, господа, других более открытых и честных средств к взаимному оглоушиванию друг друга?

Изощритесь как-нибудь иначе.

А то все анонимы, да псевдонимы, все доносы, доносики и доносищи.

Скучно...

И... нехорошо уж очень...

1 февраля, № 26.

Гимназический вечер имел особый и исключительный интерес. Несколько комического характера.

Гимназисткам разрешено было танцовать, но не просто танцовать, а с ограничением.

Им было позволено три кадрили, вальс и ни одного шага больше. Мазурка была признана танцем, для гимназисток невозможным.

Относительно польки — я ничего не знаю, но думаю, что ее тоже следовало запретить, на что, впрочем, я не имею никаких оснований.

Но, очевидно, есть особое наслаждение в наложении запрещения без всяких к тому оснований, и я желал бы с этим наслаждением ознакомиться.

Любопытно...

А мне нравится это желание предохранить девушек от разлагающих влияний со стороны гг. самарских кавалеров, ибо несомненно, гг. самарские кавалеры, это ради вас запрещают танцовать гимназисткам.

Вот какое о вас мнение... не лестное.

Я бы предложил другие гарантии, потому что мне жаль гимназисток.

Кроме танцев, их ведь не озаботились научить иным развлечениям, и жестоко лишать их удовольствия попрыгать под музыку...

Если бы их хотели учить не плясать под чужие дудки, — ну, это так.

Но ведь это недостижимо.

По-моему — пусть уж их пляшут под звуки военной музыки.

А гарантии против растлевающего влияния гг. самарских кавалеров я могу предложить очень солидные и право же не особенно сложные...

Нужно учредить особый комитет из лиц почтенных, пожилых и благонамеренных.

Назвать его хотя бы так:

«Комитет для определения нравственной пригодности гг. самарских кавалеров к танцам с воспитанницами местных учебных заведений».

За несколько дней перед вечером в клубе комитет собирается и открывает свои действия.

К этому времени у него уже есть данные для оценки кавалеров, ибо те из сих последних, кои желают принять как танцоры участие в назначенном вечере, — представили в комитет все, что нужно для оценки их правоспособности к танцам.

Нужно немного, то есть не особенно много.

Фотографическая карточка — это, во-первых.

Паспорт и сведения о семейном составе и положении.

Удостоверения врача о состоянии здоровья.

Записка от г. полициймейстера о том, что предъявитель ее руки свои моет ежедневно, и с мылом.

Это необходимо, ибо гарантирует чистоту платья дамы.

Я очень предусмотрителен и забочусь не только о чистоте души.

По паспорту и карточке гг. полицейские чины дают заключение о нравственной физиономии кавалера.

Остальные члены комитета осматривают его со стороны внешней и спрашивают, — с каким собственно намерением и из каких побуждений он пускается в пляс?

Кавалер должен все это подробно изъяснить.

Тогда его или бракуют, или разрешают ему:

— Можете плясать!

При этом дается ему carte blanche:[1]

«Предъявитель сего г. NN, по тщательному исследованию его комитетом и т. д., как морально, так и физически к производству танцев правоспособен, в удостоверение чего ему и выдан комитетом и т. д. сей билет. Действителен только на один вечер. Гербовый сбор 80 коп. уплачен. У сего: печать комитета».

Следуют подписи членов.

Получив эту штучку, кавалер свободно пускается в пляс.

То есть нет еще — ему следует совершить еще некоторые формальности.

Комитет представляет его начальнице того учебного заведения, с воспитанницей которого он желал бы танцовать.

Начальница рекомендует его классной даме того класса, в котором данная воспитанница обучается.

Классная дама знакомит его с воспитанницей.

Сия последняя отправляет его своим родителям, а буде таковых поблизости нет, то ближайшим знакомым.

Потом, пройдя все эти инстанции, кавалер обязан взять ванну.

И уже затем он поступает в распоряжение своей дамы.

Последняя расписывается на его билете:

«Назначенного мне комитетом кавалера для танцев на такой-то вечер полностью получила. Такая-то воспитанница такого-то класса такого-то учебного заведения».

Билет возвращается комитету для высших соображений.

Кавалер, — буде он после всех сих мытарств все-таки остался жив, — танцует.

Разговоры во время танцев абсолютно невозможны.

А дабы это условие не нарушалось, рот и глаза кавалера завязываются туго-натуго платками.

Приняты еще в танцах рукопожатия.

Во избежание этого — связывать руки кавалеров за спиной.

В случае же, если один из них вышеизложенные правила нарушит как-либо, — подлежит он, изверг и сомутитель юных сердец, за злодейский поступок свой публичному посрамлению.

Таковое рекомендую в форме прописания ему публичной порки на месте преступления, то есть тут же на вечере.

Вот мой проект.

---

[1] *Перевод:* Чистый лист (в смысле: лист с готовой подписью, но с пробелами для заполнения текста).

Моя скромность не позволяет мне изъяснить вам его удивительные достоинства.

2 февраля, № 27.

126

Пост...

Печальный звон колоколов, ефимоны, печальные воспоминания о масленице, на душе — грусть и в желудке тяжело.

Редька и грибы, капуста, моченые яблоки, постные физиономии при итогах масленичных расходов.

Скука.

Как быстро летит время!

Можно ли требовать от людей солидности в построениях и поступках, если время так легкомысленно торопится куда-то вперед?

Подумайте, еще третьего дня была масленица и Самара веселилась — и как веселилась по отзывам специалистов в этом деле...

А ныне уже пост; и блины, карнавалы, театр, всевозможные вечеринки — со скандалами и без оных — все это отошло в область воспоминаний.

Бедные людские желудки — вот кто возбуждает мое сочувствие.

Что может быть хуже положения человеческого желудка?

Не успел он привыкнуть к мясу, как вдруг его начали пичкать блинами и только что он понял в чем дело, как уже на него войной идут грибы.

Коварная игра судьбы!

«Чем человек интеллигентнее, тем меньше в нем стыда».

— Что-о такое? — изумляется читатель, заподозривая меня в намерении попасть ему не в бровь, а прямо в глаз.

Увы! — эта сентенция не мне принадлежит, — я позаимствовал ее у г. врача Фармаковского и, великого поста ради, предлагаю ее публике, как бы некоторый моральный гриб.

Раскусите-ка!

И как вам это понравится?

На мой взгляд это не что иное, как одна из крупиц современнейшей этики, прямолинейной этики «теперешних».

Ибо г. Фармаковский, очевидно, из «теперешних», а теперешние, несмотря на то, что они имеют свои достоинства, выделяются из среды простых смертных, пока только недостойными.

Впрочем, бог с ними, подождем, когда в «Вестнике» будет кончена статья, начатая с Адама и обещающая нам доказать, что «теперешние» совсем не плохи, хотя, еслиб это было так, не было бы и надобности убеждать нас в этом.

Но поговорим о г. Фармаковском и о некой фельдшерице, почему-то неприятной ему.

Он ее «доезжал» за что-то, и ныне доехал так, что она уже ушла со службы земства и из-под ферулы молодого врача.

Если верить ей, молодой врач употреблял для того, чтобы ее выжить, очень старые приемы.

Он старался оскорблять ее как женщину, говоря, например, при ней о таких вещах, о которых даже извозчики в присутствии женщин стесняются говорить.

То он заставлял ее делать такие перевязки больным, которые фельдшерицы не изучают, и которые не могут не оскорблять их женственности.

Но г. врач из «теперешних» не обращал на это никакого внимания и, исповедуя вышеприведенную мораль: «чем интеллигентнее человек, тем меньше в нем стыда», как человек, должно быть, очень интеллигентный, хладнокровно и даже с весельем топтал в грязь чувство стыда женщины.

Он довел ее до того, что она, возмущенная его поступками, пожаловалась на него.

Но на жалобу не было обращено внимания.

Тогда она ушла со службы.

И это все, что может сделать женщина, чтоб защитить себя от оскорблений.

Она ушла, а г. врач остался и будет дожидаться новой фельдшерицы, которая должна будет ему понравиться.

А если она ему не понравится, он и ее выживет вышереченным способом.

Хорошо!

Милая картинка, вызывающая много постных мыслей.

6 февраля, № 28.

127

Театральный сезон кончен — начинаются толки о сдаче театра.

Кому? — вот вопрос.

Дума хочет г. Бородая.

О г. Бородае ей известно, что он существует одновременно в Казани и в Саратове.

Держит два театра, значит, фирма солидная и человек оборотистый.

И, очевидно, цену себе знает, ибо взять третий наш театр не торопится.

Может приехать для окончательных переговоров об аренде не ранее второй недели.

То есть уже тогда, когда все более солидные силы провинциальных сцен получат ангажементы, и для Самары останется «обор».

Таким образом, если переговоры с г. Бородаем не приведут ни к чему, мы рискуем получить труппу из персонажей «кто с борку, кто с сосенки».

По долгому опыту нам известно, что такое разнообразие отнюдь не из приятных.

Еще нам грозит опасность иного рода: это нашествие хохлов.

У г. Бородая, как говорят, есть несколько штук залежавшихся Грицек и Оксан — «с пением и пляской», — и он с удовольствием может снабдить ими нашу сцену.

Тогда пойдут у нас «вечерніці» и «жарты» и мы будем, наслажда-

ясь ими, вспоминать о том, — какая это есть у хохлов умная пословица?

Ах, да — «на тобі, боже, що нам не гоже».

Другой претендент — г. Грубин.

Пока идут переговоры с г. Бородаем, он молчит и ждет.

У него положение нельзя сказать что бы не очень выгодное.

Он ждет; это, конечно, скучно, но и в этом есть кое-что...

С г. Бородаем, быть может, ничего не вытанцуется, а времени-то уйдет немало.

А по окончании «жартов» с г. Бородаем — театр останется за г. Грубиным.

Он поедет формировать труппу.

А так как крупные силы провинциальных сцен будут уже «при своих местах», — то...

То весьма возможно, что состав нашей будущей труппы будет таков:

Ужасный герой и пылкий любовник — г. Стенин.

Очень благородный и весьма большой отец — г. Кольцов.

Замечательно водевильная кокетка с пением, которое нельзя слушать, не вооружившись стоическим терпением, — г-жа Стрешнева.

Комик-буфф — известный «ученый управитель».

Второй комик — содержатель столовой и постоянно действующее лицо в судебных процессах — г. Брик.

На роли наивностей и угнетенных невинностей и вообще на благородные дамские роли — m-me Arine Neoutcheff [Арина Неучева].

Комическая старуха — Анфиса Пупырышкина — она пока торгует мороженными яблоками на Троицком базаре, у часовни, но согласится и играть.

На роли гранд-дам... это тоже я могу рекомендовать, в случае надобности.

Фат — этого добра так много в Самаре, что уж во всяком случае за фатом не нужно ехать в Москву.

И вообще можно, не сходя с места, составить весьма оригинальную труппу. Но к труппам, поражающим своей оригинальностью, мы уже привыкли.

Хотелось бы видеть на нашей сцене такую труппу, которая способна дать ансамбль.

Но при существующем «жартовании» думы с г. Бородаем, который, как некоторые думают, намерен угостить нас залежавшимися малороссами, — на ансамбль надежды мало.

Как бы вот вместо ансамбля инцидента какого-нибудь не вышло.

7 февраля, № 29.

128

Ничто не характеризует так ярко пустоту и бессодержательность нашей жизни, как наша страсть к смакованию скандальных инцидентов.

Каждый из них, являясь на свет божий величиной с ерша, в два дня увеличивается нами до размеров акулы.

Это очень дрянно, но это простительно нам.

Что поделаешь с тем, что мы не сумели еще пока воспитать в себе других интересов, кроме интереса к скандальчику?

Вот, например, инцидент в Обществе врачей, своевременно — давно уже, — оглашенный почтенным «Вестником» радостей и бед самарской жизни.

Он все еще дает пищу умам города Самары, и до сей поры дает.

И если проследить все фазисы его развития, — получится удивительная белиберда в истинно провинциальном стиле.

Прежде всего «Вестник» оглашает факт в свете крайне нелестном для гг. Догадкина и Молина.

Когда же в дело вступает доктор Ярошевский с требованием объяснить ему, действительно ли г. Догадкин сказал то, что он, по словам «Вестника», сказал, «Вестник» обрушивается на доктора Ярошевского.

Зачем это «Вестнику» нужно и где у него логика, про то он, наверное, и сам не знает.

Высмеивая г. Ярошевского, требование которого хотя, быть может, носило резкую форму, но по существву своему безусловно справедливо,— «Вестник» уже как бы встал на сторону людей, им же первоначально уличенных в поступке, заслуживающем порицания.

Хотя, собственно, следует говорить не о «Вестнике», а о его зеленом Изумруде Выдрине.

Потому что это он совершает в «Вестнике» разные удивительные открытия.

Так, например, к чести нашего общества он прехладнокровно утверждает, что слово «жид» настолько вошло в наш обыденный язык, что уже употребляется в большинстве случаев без всякого пренебрежения к евреям.

Чорт возьми, однако, по Изумруду Выдрину наш обыденный язык далеко не приятно пахнет!

Следует ли из слов Изумруда заключить, что финнов можно без стеснения называть чухонцами?

И зачем это Изумруду потребовалось налгать на общество, о котором ничего хуже правды не выдумать?

Добрейший Изумруд слишком плохо следит за своим высоко юмористическим пером, и, очевидно, оно у него выводит некоторые узоры без участия разума.

И засим г. Изумруд Выдрин, очевидно, лишен того чутья, кое необходимо должно быть присуще порядочному человеку.

Он, например, совершенно забыл, что некоторые вещи не оглашаются в печати.

Вызовы на дуэль, как деяния, за которые закон преследует, не должны быть публикуемы во всеобщее сведение, потому что такие деяния подлежат уголовному преследованию и потому, что они совершаются под давлением исключительных условий, на которые и сам закон смотрит как на обстоятельство, смягчающее вину вызывающего.

Я, конечно, не назову описание г. Выдрина доносом на г. Ярошевского, но не потому, что вызов был сделан г. Ярошевским (если только был сделан, что сомнительно) публично, — это обстоятельство не имеет значения, оправдывающего г. Выдрина, — ибо г. Ярошевский действовал в своей семье, среди членов своей корпорации, и публичность вызова этим умаляется.

Нет, я полагаю, что г. Изумруд Выдрин писал все это из «борзости» и «резвости», — да еще по неразумию своему.

Но неразумие, хотя и есть обстоятельство, смягчающее вину, так, например, сумасшедшие не подсудны, — тем не менее оно не дает г. Выдрину права приписывать обществу такие свойства, какие он приписывает ему.

В интеллигентном, культурном обществе евреев не зовут «жидами», а если это принято в обществе, среди которого вращается сам г. Изумруд, — мне жаль его и его общество.

И вообще из чувства жалости к г. Изумруду я порекомендовал бы ему сократиться.

Ему совсем не следует приобретать себе известность теми путями, которыми он ее хочет приобрести.

Это невыгодно для него...

Некоторые отдельные существования должны оставаться инкогнито, ибо в факте их для общества нет ничего лестного.

Было бы весьма приятно, еслиб эта скучная и протяженная история внутреннего разлада в семье гг. местных врачей кончилась так или иначе.

Начатая с обвинения в недостатке истинно христианской гуманности, осложненная личностями и резкостями, наконец, остановившаяся на обвинении обвинителя, она на всем своем протяжении говорит постороннему человеку только об одном.

Это «одно» очень печально и совсем не лестно для почтенной корпорации.

Это «одно» — недостаток коллективизма, корпоративных чувств, недостаток культуры духа у людей, роль которых в жизни так глубоко важна.

Пора бы кончить с этим перебиранием хлама.

Уже давно все сошли с почвы принципов на почву личного озлобления и сведения старых итогов.

Не нужно так много публичности в делах чисто семейного характера, тем более не нужно, что дела эти далеко не чисты, как о том свидетельствует печальный инцидент.

Я никого не защищаю, ибо некого оправдывать там, где все одинаково виноваты.

Главным образом в том виноваты, что не умели сохранить в себе святого огня, который все очищает собой и при свете которого были бы невозможны те тусклые дни и неясные инциденты и все то, чем наполняется день изо дня бедная жизнь нашего общества.

8 февраля, № 30.

Если верить «Российскому Телеграфному Агентству», то Нансен побывал на северном полюсе и ныне благополучно возвращается домой к жене и детишкам.

Я очень рад за смелого путешественника. Он, наверное, сильно назябся и с удовольствием отогреется у семейного очага.

Но открытие северного полюса напоминает мне шестую часть света, открытую в прошлом году и вдруг снова скрывшуюся куда-то.

Как бы и с северным полюсом не случилось того же.

Но если он действительно открыт, то...

Должно быть это очень хорошо, хотя я совершенно не знаю, что можно на нем сделать.

С моей русской точки зрения прежде всего следует озаботиться о водворении на полюсе порядка, с каковой целью немедленно учредить на нем полицейский пост.

Засим перевести туда издание газеты «Гражданин», дабы с полюса по всему свету раздавались сыро-мещерские речи.

Из нее польется свет «гражданинского» просвещения на Сибирь, где предполагается развить крупные хозяйства.

Итак, пользу открытия северного полюса я пока вижу только в том, что открытие это дает место «Гражданину», который, удалившись из сферы здравого смысла и нормальной логики, должен быть удален и из сферы культурных понятий и культурного общества.

Там, среди вечных льдов, он, наверное, несколько охладился бы и уже не порол бы такую горячую дичь в защиту порки.

Конечно, это только моя фантазия, но я так люблю фантазировать!

И вообще открытия последнего времени сильно развивают фантазию.

Например, икс-лучи Рентгена.

Последний номер «Будильника» поместил несколько своих опытов с этими лучами и получил удивительные результаты.

Так, фотография сжатого кулака городского головы показала, что в оном кулаке содержатся гласные, и что хотя положение их там весьма неудобно, но однако они, очевидно, уже привыкли к нему.

Фотография черепа некоего франта обнаружила, что череп сей наполнен не тем, что обыкновенно предполагается в черепе человека, а веществом, ничего общего с мозгом не имеющим.

Фотографировано сердце любящей женщины и открыто... ничего приятного и лестного для влюбленного мужчины не открыто.

Фотографировано еще много вещей, и внутреннее содержание всех их совершенно не оправдывает взглядов, установившихся на это содержание.

В кошельке финансиста вместо денег открыта... некоторая комбинация трех пальцев.

Интересно бы знать, каково содержимое зеленого черепа борзого Изумруда Выдрина?

Не мешало бы также посредством оных икс-лучей ознакомиться

с действительным содержанием некоторых отчетов городской управы.

И со многим прочим, тому подобным.

9 февраля, № 31.

130

Третейские суды — вот злоба наших дней.

В то время, как обыватель малокультурный решает свои дела по исстари усвоенной привычке при помощи преимущественно бокса и нелитературной полемики, — обыватель, очень культурный, почувствовал позыв на гласность и, кажется, хочет, чтобы его семейные делишки приняли значение немалых общественных событий.

Он публикует о том, что вот-де у меня произошло некоторое недоразумение, и я прошу третейского суда.

Публика очень рада; она всегда с большим интересом и вниманием относится к скандалам. Кстати, теперь пост и никаких развлечений нет, значит скандал тем более уместен.

Прочитав вызов к суду, публика настораживается и, облизывая губы, ждет — скоро ли?

И мечтает о разных пикантных подробностях, которые, может быть, всплывут на суде, глубоко благодарная г. Сарматову — первому человеку, воскресившему в этот сезон третейский суд.

Быть может, мне следует смотреть на эту страсть к судам, как на симптом развития общественной морали и понятий о чести?

Быть может...

Но откровенно признаюсь, что все эти суды развивают у меня великопостное настроение и наводят на очень невеселые мысли.

Мне много раз приходилось слышать от людей культурного общества, что наша пресса не соответствует своим основным задачам, что она слишком погружена в мелочи и что много места уделяет будничным дрязгам будничных людей...

Люди, которые говорят это о прессе, в то же время говорят и о себе, как об искренних друзьях ее, о людях, желающих видеть ее на высоте призвания.

Во всем этом они даже клятвенно уверяют...

Но всему этому я нисколько не верю...

Все это... слова, слова, слова! — как говорит принц Гамлет.

«Позвольте, почему же слова?» — могут спросить меня.

А потому-с, что при искренности таких высоких взглядов на дело прессы невозможно было бы людям обременять прессу публикациями о неладности своих обывательских делишек.

Можно решать их менее публично.

Засим, следует относиться к прессе более справедливо.

Например, ее часто укоряют в неправильности сообщений о разных явлениях местной жизни, и есть даже такие смелые на слова

люди, которые решаются объяснять эту неправильность некоторой умышленностью.

Разговоры на эту тему всегда сопровождаются ехидным покиванием глав и сотрясением перстов по адресу газетных репортеров:

— Хе, хе, хе-с! Кто они у вас?

Положа руку на сердце, руководимый близким знакомством с этими людьми, я отвечаю:

Это люди, ничем не хуже всех других людей, включительно до тех, кто осуждает их.

Они работают на честной арене, и поскольку это от них зависит — к своему труду относятся честно.

Это люди, сросшиеся со своим трудом и кроме него редко способные к чему-либо другому.

Но их положение в обществе — позорно для него.

Общество не признает их за людей, достойных его внимания, и последовательно, упорно бойкотирует их.

Для него они — «репортеры» и только, при чем каждый человек общества, произнося это слово, как что-то зазорное, старается вложить в него как можно больше нелестных чувств.

Этот остракизм воспитывает в репортере некоторое разухабистое отношение к обществу и уколоть одного из его членов как можно больнее для репортера наслаждение.

Это вполне естественно: как аукнется, так и откликнется.

А судьи кто?

Тоже люди. Ранг, на мой взгляд, не очень высокий.

Я предлагаю судьям для того, чтоб они выучились относиться к прессе более справедливо, самим заняться репортерством.

Занятие интересное и очень поучительное.

Целый день — в движении, целый день в жажде новостей, за которые плата по семишнику за строчку.

При таланте и при чутье — это может составить в неделю капитал рублей в пять и даже более.

Масса интересных столкновений...

К вам относятся как ко врагу, как к свирепому супостату.

В лучшем случае вас будут третировать как отчаянного надоедника.

В удобный момент над вами посмеются иногда, — если время и условия позволят, вам сделают какую-нибудь неприятность.

Вы же, несмотря ни на что, — все-таки человек и ничто человеческое вам не чуждо.

Вы злитесь, вы чувствуете себя оскорбленным.

Вам больно, но вы уже отравлены страстью к газете и дабы не лишиться заработка, единственного, на который вы способны, — вы все это терпите, глухо негодуя на вашу жизнь.

Для поддержания интереса к ней — вы пьете водку. Хотя она сама по себе и горька, но очень помогает мириться с огорчениями.

Вы пьете много — чем вам скверней живется.

К этикету «репортер» — общество прибавляет другой: «пьяница».

Так вот не желаете ли попасть в репортеры, гг. строгие и несправедливые судьи?

Пожалуйста!

Относясь к прессе, как друзья, и понимая ее высокое призвание, вы, я уверен, — спокойно снесете всю горечь газетной жизни...

И наверное будете объективно справедливы ко всем и ко всему...

И так далее, и прочее, и тому подобное...

Ах, господа, господа!

И зачем это, все мы, осуждая человека, забываем о том, что ведь сами-то мы тоже не более как люди?

10 февраля, № 32.

131

Начну с науки.

Перечисляя человеческие расы, Летурно в своей «Социологии» между прочим говорит:

«Принадлежа к высшему отряду млекопитающих — приматам, — человек тем не менее сильно отличается от своих сородичей, так как у него высшие нервные центры и разум, являющийся их функцией, способны к сравнительно высокому развитию».

Когда я это прочитал — мне захотелось увидать m-sieur[1] Летурно в ville Самаре на rue Дворянской, пусть бы он послушал на оной улице разговоры, которые там можно слышать только вечером, «как зажгут фонари».

Там в это время приматы высшего отряда мужского пола охотятся за млекопитающими женского пола.

Охотятся, употребляя в дело функцию высших нервных центров — разум.

И не только разум, но даже и речь.

Что именно говорят гг. млекопитающие высшего отряда—я не могу передать, ибо если бы даже свиньи слышали вечерние разговоры на Дворянской улице, то и свиньи покраснели бы от стыда.

Красные свиньи — это не гипербола, ибо существовали же во время оно в Самаре свиньи зеленого цвета.

Я думаю, что и зеленые свиньи тоже бы покраснели, услыхав то, что я слышал на Дворянской улице вчера около магазина Малаксианова около одиннадцати часов ночи.

Ах, что это был за разговорец!

Фонарь, около которого он происходил, вспыхнул и потух, — очевидно, от конфуза.

Деревянные ворота, у которых я остановился, отыскивая в снегу потерянную перчатку, — возмутились и протестующе скрипели, слушая речь примата.

Примат был в модном пальто, в пенсне и в меховой шапке.

Млекопитающее — в коротенькой шубейке и в платочке.

Разговор носил строго деловой и коммерческий характер.

Я думаю, что примат торговал у своей собеседницы платочек, который был на ней.

[1] *Перевод:* Monsieur — господин; ville — город; rue — улица.

Он был маленький — платочек-то — и хозяйка его тоже была маленькая.

Я потому полагаю, что дело шло именно о платочке, что за четвертак и бутылку пива едва ли можно купить что-нибудь другое.

А примат убедительно давал своей собеседнице только четвертак, доказывая ей, что больше не сто́ит.

В доказательство он приводил свой долголетний торговый опыт.

— Я, — говорил он, — никогда не плачу дороже.

Она все не уступала.

— Ну, прибавьте хоть гривенник еще, что ли! — махнув рукой, сказала она.

— Не дам! — категорически отрезал примат. — У меня это привычка! Больше я никогда не даю. Четвертак и — баста!

— Все равно...

— Нечего было и кобениться.

Прехорошенькая ночь была вчера.

Небо такое ясное, звезды такие яркие.

Люди такие гадкие.

— Чорт возьми! — подумал я, придя домой.

Взобравшись на такую высоченную ступень цивилизации, зачем это мы «под вечерок» тихонько спускаемся так низко в первобытные состояния.

И неужели разум не в состоянии удержать нас на нашем месте?

Или мы забрались не на свое место и наше-то именно место там же, где любят наслаждаться жизнью зеленые свиньи?

Премудро!

И я подумал еще:

— Ах, как жаль, что m-sieur Шарль Летурно не живет в Самаре и не может слышать, о чем разговаривают приматы, гуляющие по ночам на Дворянской улице.

Быть может, тогда он не назвал бы нас, людей — скотами первого сорта, а придумал бы другой более уместный эпитет, потому что с разумом мы во всяком случае опередили скотов на расстояние ужасно большущее.

Находясь же от скотов в таком расстоянии, мы, — я думаю, — имеем право и на более определенный эпитет, чем эпитет «высшего отряда млекопитающих».

Летурно скуповат на похвалу нам за наши доблести.

Он забыл, видно, что, не обладая разумом, скоты еще не додумались до того, до чего мы давно уже дошли и к чему привыкли.

Он — этот молодой эволюционист Летурно — не справедлив к нам, я говорю.

Он разнообразия жизни нашей, очевидно, не знает.

Ему следует просмотреть весь порядок наших усовершенствований жизни. Просмотреть весь наш «обиход жизни» и назвать нас...

Как-нибудь иначе.

А «приматы» — это совершенно не выразительно.

11 февраля, № 33.

Мальчики...

Не те мальчики, которые рисуются нам во хмелю, прыгая у нас в глазах, а те, которые работают в казенном винном складе.

Маленькие мальчики слишком великие труды несут.

Можно ли заставлять мальчиков работать с 6 часов утра до 9 и 10 вечера, давая им за все это время только один час на обед?

Рассуждая с точки зрения гуманитарной, — нельзя.

С точки зрения артельщика винного склада — не только можно, но даже обязательно.

Но разве это хорошо?

Чем виноваты мальчики, если судьба определила им служить на винном заводе?

Вот удивительно!

В Самаре нет единства времени!

Нигде нет!

Я вчера убедился в этом...

Мне нужно было проверить мои часы.

Время всегда строго проверяется в казенных учреждениях.

Поэтому я пошел на почту.

Там часы показывали 11 ч. 40 м.

— Прекрасно! — сказал я и поставил свои часы на 11 ч. 40 м.

Потом пошел в уездную земскую управу.

Там было 12 ч. 5 м.

— Не может быть, чтоб я сделал только пять шагов в 25 минут! — усумнился я.

И... поставил часы на 12 ч. 5 м.

Потом поехал по Дворянской.

Изумительно!

У Шварца часы показывали 1 ч. 35 м.

У Вольфсон... 12 ч. 35 м.

У Келлер ровно 1 ч. 10 м.

У Поппе — 12 ч. 55 м.!

А на моих часах было 12 ч. 13 м.!

Уф! Я даже испугался.

Что сделалось с временем в Самаре?

Оно прыгает так, как прыгают от холода люди на «Корневильском рынке» — около памятника.

Неужели нельзя восстановить в Самаре единство времени?

Я уже ничего не говорю о Корневиле.

Скоро весна... а затем и лето.

Если до весны люди на Корневильском рынке не превратятся в ледяшки, — значит...

Впрочем — это ничего, кажется, не значит.

По крайней мере, наша управа смотрит на дело именно так.

Все, что говорилось о положении людей, ищущих труда и проводящих дни на морозе, — не имело на управу никакого влияния.

И уже не может иметь влияния, потому что никто ведь пока не замерз из этих людей.

А если некоторые простудились, так это ничего.

И это в глазах управы, быть может, доказывает только тот факт, что простудившиеся люди недостаточно были согреты надеждой на заработок.

Значит, сами виноваты.

14 февраля, № 35.

133

Пост.

В Самаре — мертво и скучно.

В Петербурге назначен к чтению ряд лекций — о женщинах, об икс-лучах, о северном полюсе и еще о многом — что не удивительно, конечно, потому что это в Петербурге.

В Тифлисе, в зале думы, предполагается ряд литературных чтений по новой литературе.

В Вятке тоже что-то читают.

В Нижний приехала Коршевская труппа.

В Херсоне устраивается ряд музыкальных вечеров.

И даже в каком-то Нижне-Девицке — где это и что это? — устраивают литературные вечера.

В Самаре — ничего не устраивают.

В Самаре — мертво и скучно.

Впрочем, пожалуй, и в Самаре кое-что устраивают, пытаясь развлечь себя от убийственной скуки.

Но, по неимению в запасе энергии, прибегают к помощи фантазии.

Сидят, например, человеки, угнетенные скукой, и думают, — о чем бы это им поговорить между собой?

Вопрос глубокий. Можно сказать, даже дьявольски глубокий вопрос.

На ум ничего не идет и в головах ничего не шевелится.

Но вдруг:

— Марья Ивановна! А как вы думаете, действительно ли Акулина Сидоровна любит Петра Лукича?

Это разрешается от бремени недоумения собеседник, адресуясь к собеседнице.

Она же делает глубокомысленное лицо:

— И не знаю, как вам сказать. Может быть, и любит, а, может быть, и не любит. Во всяком случае, она очень ласково смотрит на Павла Кирилловича.

— Вот, вот! — оживляется собеседник,— я именно эти взгляды и имел в виду, когда ставил вам мой вопрос...

Фундамент положен, и здание сплетни возводится быстро и беспрепятственно.

Бедная Акулина Сидоровна!

Несчастный Павел Кириллович!

Акт второй.

К Марье Ивановне пришла в гости Перепетуя Палагеевна.

— Вы слышали? Акулина Сидоровна без ума от Павла Кирилловича! а?

— Что-о вы? — изумляется гостья, но сейчас же, пожимая плечами, заявляет:

— А, впрочем, что же тут удивительного? Разве она может понять такого человека, как Петр Лукич?

— Вы ду-умаете? — спрашивает хозяйка с миной Талейрана.

— О, да, конечно! Это такой человек, такая милая душа.

— А га, га, га! — думает Марья Ивановна.

У Марьи Ивановны в гостях Фома Фомич, и им обоим очень скучно.

— Да! вы знаете? — спрашивает Марья Ивановна.

Фома Фомич знает только то, что если бы хозяйка не заговорила сама, он так бы все и молчал.

— Как же, об этом говорит весь город! И вполне понятно! Распадаются две такие милые семьи.

— Две? — удивляется Фома Фомич, но чему — тому ли, что так мало или наоборот — понять нельзя.

— Как же? Перепетуя Палагеевна по уши влюблена в Петра Лукича, а Акулина Сидоровна в Павла Кирилловича!

— А-а! А я, знаете, что-то такое замечал ведь! Да, да, — я чувствовал, что кто-то кого-то любит и знаете... гм, как это печально!

— Да, вот она — современная семья...

— Именно-с... Это вы верно... Воистину — семья...

— Представьте себе, — говорит Фома Фомич, сидя в гостях у Силы Сидорыча, — оба уже подали прошения о разводе...

— Н-ну?

— Да... Вот оно это самое драматическое-то скерцо Дохтурова и сказалось!

— Вот вам и воспитательная роль театра!

— Вот вам и узы Гименея!

— Вот-те и женись после этого!

— Нет, каково-с? Вот она образцовая-то пара!

— Нда-с! Вот они — жены!..

— А мы с вами — холостяки — хе, хе, хе!

— И прекрасно. Ха, ха, ха!

— Еду я мимо Марьи Ивановны, — говорит Перепетуя Палагеевна Акулине Сидоровне, — вдруг, вижу от нее осторожно так, — выходит Фома Фомич. Время уже около 12.

И быстро, так, знаете, он пошел по улице...

Мне Марья Ивановна всегда казалась несколько неровной в ее отношениях к Фоме Фомичу... И потом знаете ее язычок — это бог знает что такое!..

— О, да!

— Представьте: не так давно она намекала мне и очень прозрачно на ваши отношения к Силе Сидоровичу...

— Она? На меня? Несчастная! Нет, я больше не могу! — Я не... ох! Дорогая Перепетуя Палагеевна! Она третьего дня дала мне понять, что вы вступили в интимные отношения с Павлом Кирилловичем.

— Змея! Это я? О боже, за что? Она про вас, про вас мне говорила!

Иногда такие сцены сопровождаются серией обмороков и истерик.

— Можешь себе представить! — говорит Марья Ивановна своему супругу. — Встречаю сегодня на Дворянской Акулину Сидоровну с Перепетуей Палагеевной, и они мне не кланяются. Как тебе это нравится?..

— Гм... — не решается супруг. — Если к обеду у тебя есть водка... то мне это нравится...

— Нрравится?! Тебе нравится, когда оскорбляют твою жену?! Изверг!

— Матушка, что ты? Я говорю — водка мне нравится.

— Я это знаю! Я знаю, — что вы грубиян и пьяница.

— Ма-атушка! Да если ты хочешь, мне ничто не нравится...

— А! так, значит, я вам не нравлюсь? Прекрасно! Позовите извозчика — я уезжаю к маме!..

— Голубушка! А обедать-то как же?

— Обедать?! Оскорбив жену, он еще хочет есть! О, мучитель!

Следует обморок, прекращающийся не ранее обещания супруга подарить супруге брошь.

Канитель подобного сорта продолжается изо дня в день; иногда водевиль переходит в драму, иногда драма в водевиль.

По прекращении всей путаницы, содеянной Марьей Ивановной от скуки,— скука снова вступает в свои права, а Марья Ивановна чувствует себя обязанной снова создать что-нибудь сенсационное.

И создает.

Так двигается самарская жизнь по пути к полному прекращению всякого движения.

В то время, как в разных пунктах Российской империи усердно читают, — мы еще только деятельно сочиняем.

Что поделаешь?

Кто во что горазд.

15 февраля, № 36.

134

Нигде и никогда не была так ярко выражена страсть человечества к построению зданий «на песце», как на днях она выразилась в Самаре.

Местное биржевое Общество выбрало для построения здания биржи почву еще более зыбкую, чем песок; оно, кажется, намерено выстроить не биржу, а воздушный замок.

Я был бы очень рад этому и надеюсь, что вместе со мной порадуется много самарских обывателей.

Строя биржу на воздухе, биржевое Общество оставляет в пользование города 260 саженей Александровского сада, неосмотрительно уступленного ему думой, мало думающей об интересах города, ибо доводы г. Углова в пользу того, что биржа есть рычаг цивилизации и источник всяческих влияний, облагораживающих жизнь, — эти доводы не убедили меня в том, что ради интересов биржевого Общества можно и должно было жертвовать частью городского сада.

Садов в Самаре так мало, а разных Обществ, пыли и грязи так много.

И если Обществам уступать сады, то в конце концов в Самаре садов совершенно не будет, а будут одни только Общества, которые или задохнутся в пыли или утонут в грязи.

Но все это отчасти дело прошлое, отчасти будущее.

Поговорим о настоящем.

Настоящее — это почва для здания биржи.

Оказывается, будто биржевое Общество намерено построить биржу на долговых обязательствах биржевого маклера Анисимова.

Пример якобы подал агент Общества «Дружина», пожертвовавший на постройку биржи обязательство Анисимова в 250 р., списанное конторой Общества в счет безнадежных долгов.

Это крупное пожертвование вызвало большое впечатление среди биржевиков.

У меня же оно вызывает надежду, что биржа не будет построена.

Ибо я не могу себе представить здания, построенного на неоплаченных векселях, заемных письмах, расписках и тому подобных документах.

Все эти штуки только расстраивают дела, и на основании их можно строить лишь одни предположения о возможности получить по ним деньги.

Здание же биржи, как построенное из кирпича, такая почва не удержит на поверхности земли.

Я могу с полным упованием сказать:

«Несмотря на крайнее затишье в общественной жизни, мы переживаем невероятно бурный период».

И сказав так, я не боюсь никакого возмездия от будочника за смелость моих слов.

Ибо я — прав.

Все русские газеты наполнены описаниями бурь и ураганов...

Природа страшно буянит, пользуясь своей безнаказанностью и неподсудностью суду людскому.

Всюду метели, заносы и другие кавардаки со стихиями.

Снег заносит целые деревни и вагоны пассажирских поездов.

На закавказской железной дороге во время масленицы был занесен целый поезд, и в «Черноморском Вестнике» напечатана такая телеграмма:

«Просим редакцию приискать поставщика блинов, постного масла

и маскарадных костюмов на 3000 человек, ибо придется жить в Рионе масленицу и первую неделю великого поста».

Подписано:

«Застрявшие пассажиры».

Не знаю, посылали ли им блинов, и музыки, и водки; если нет, то во всяком случае у этих бедных людей великий пост начался еще с масленицы.

А вот у железных дорог масленица все еще продолжается.

То и дело в газетах печатаются краткие, но вполне ясные заявления:

«Таковская железная дорога вследствие снежных заносов слагает с себя всякую ответственность за срочную доставку грузов».

В Закавказье — заносы, а нижегородская дорога «слагает с себя ответственность».

Это очень напоминает известную песенку:

«В огороде бузина,
А в Киеве дядько!»

А какое отношение имеет дядько к бузине, — про это ведают только железные дороги.

Недостает у них вагонов, — и результатом этого являются буря и снежный занос.

Залежатся где-либо грузы, вследствие забывчивости, и — разражаются удивительные ураганы.

Так что не всегда природа бунтует, — иногда ей это приписывают.

16 февраля, № 37.

135

Я сегодня так грустно настроен... точно зубы болят у меня.

Полчаса тому назад я довольно жизнерадостно пообедал и лег на койку с «Самарским Вестником» в руках; я считаю моим долгом ежедневно читать объявления в «Самарском Вестнике», как отдел наиболее интересный.

Я с удовольствием узнал, что в одном имении продаются жеребчики, и член управы Степнов сдает с торгов места на Троицком рынке.

Фрейберг предлагает любителям спринцовки.

Продается несколько мест, — рекомендую людям, не находящим себе места в жизни...

И наконец:

«ОДИНОКИЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ
ищет приличную меблированную комнату»!

Когда я прочитал это, меня точно молотком ударило в сердце...

Одинокий интеллигент — вы ничего не слышите в этих двух словечках?

Я слышу.

Бедный интеллигент, ищущий себе приличное место в жизни,

я вполне понимаю тебя и твое печальное объявление долго будет гулким эхом отдаваться в моем сердце.

Я очень хорошо понимаю, что место, занимаемое тобою в данный в жизни момент, — совершенно не соответствует твоему назначению в ней, и я вполне сочувствую твоему желанию переменить квартиру.

Тебя «не признают», существование твое, помимо того, что оно и скучно и серо, будто бы не имеет за собой и законного основания.

Тебе места в жизни нет, люди считают тебя человеком совершенно лишним.

Ты действительно одинокий.

Бедняжка...

Вот тебе весь мой послеобеденный лиризм...

Я тепло готов посочувствовать тебе... Одинокое ты и загнанное в самые закоулки жизни существо...

Сегодня 22 февраля.

В этом месяце в прошлом году было 19-е число.

В нынешнем его почему-то не было.

То есть и было, но...

Или вернее — оно было, но его как бы и не было.

Интеллигент, посиживая в закоулках жизни, забыл, очевидно, о том, что в это число, несколько лет тому назад, произошло нечто, названное великой реформой.

Интеллигенты, собираясь тесным кружком, говорили о великой победе бога-слова над идолами дореформенного времени.

Говорили о Радищеве и Тургеневе, о Новикове и Григоровиче...

Вспоминалось много-много славных имен людей, которые существовали и творили жизнь, людей, которых уже нет.

Говорилось и еще о многом, между всем прочим произносилось с любовью слово:

— Народ...

Ныне ничего этого не было.

Ныне 19-е число только тем и было интересно, что после него должно было наступить 20-е...

Народ, должно быть, больше не существует, о нем ничего не слышно в обществе «одиноких» интеллигентов.

О великом дне вспомнили, из всех самарских обывателей, одни самарские приказчики.

Я, конечно, не хочу на основании только этого сделать заключение о том, что самарские приказчики интеллигентнее одиноких интеллигентов.

Нет, я так же далек от этой мысли, как одинокий интеллигент от традиции прошлого.

Но разве я не могу сказать по адресу приказчиков:

— Вот люди, которые помнят хорошее прошлое.

Почему бы вам не брать примера со своих приказчиков.

Для вас — это люди, бесспорно заслуживающие подражания.

У них есть что-то вроде исторической совести — совести пред историей.

Видите, они пошли дальше вас.

Купцы!

Учитесь у своих приказчиков!

Очевидно, им есть чему поучить вас, а что вам есть чему поучиться от них — это факт.

22 февраля, № 42.

136

Мне уже не раз приходилось отмечать у гг. торговцев на Троицком рынке удивительную восприимчивость... к спорту всех видов.

Весной прошлого года, после концерта кружка балалаечников, многие из почтенных обитателей Троицкого рынка ходили по улицам, подражая на своих губах треньканью балалайки.

Сначала они возбуждали этим некоторое недоумение у публики, но потом к ним привыкли, и единственным результатом этого вполне невинного развлечения искусством было только то, что у людей от Троицы губы вспухли и стали напоминать собой человеческие пятки, только что побывавшие в бане.

Затем осенью, когда здесь был цирк Боровского, эти добрые люди, увлекшись циркизмом, устроили у себя на рынке римские скачки... на свиньях.

Ездоками явились лавочные мальчики, с большим героизмом разбивавшие себе носы и лбы в угоду горячо любимым ими хозяевам...

Ездили просто и ездили, посыпая на хребет свиньи горячую золу. Последний вид езды требовал от ездока большой ловкости, ибо свиньи не любят, чтобы их осыпали горячей золой, и бесятся, когда с ними делают это.

Многие мальчики-ездоки получали довольно солидные ушибы, за которые им хозяева иногда платили по пятачку за раз...

Меня очень радует эта способность и страсть троицких торговцев к восприятию разных искусств и художеств, — включительно до искусства выворачивать карман и вылетать в трубу...

Я всегда с глубоким вниманием слежу за Троицким рынком и за тем, как он относится к развлечениям сезона.

Текущий зимний сезон они, по своей живости, тоже не дремлют.

Теперь они устраивают бега... приказчиков.

Первый бег состоялся 21 февраля.

Как любитель спорта, я считаю нужным дать полный отчет об этом оригинальном виде спорта.

На бег записалось шесть приказчиков.

Дистанция 120 сажен.

Первый приз 90 к.

Второй приз 25 к.

Участвующие обязаны быть в одних рубашках, в легких продолжениях оных и в чулках.

Председатель бегового круга — троицкий купец и гласный городской думы М.

Первый приз получил его приказчик, бежавший очень красиво и ходко.

Второй — приказчик купца К...

Один из записавшихся на состязании упал и сильно ушиб себе бок, за что и был сведен с круга.

Бег очень понравился присутствующим и вызвал их единодушные восторги такого пламенного свойства, что их долго нужно было заливать водкой.

Второй бег состоялся 22-го числа на дистанцию уже 200 сажен и с увеличенным призом: первый приз 1 р. 50 к., второй просто 1 р.

Результаты этого бега мне неизвестны, как неизвестно и количество приказчиков, записанных на это состязание.

Но я узнаю все это и своевременно доведу до сведения публики...

Меня очень, — говорю я, — интересует развитие купеческого вкуса к жизни и постепенный рост купеческих развлечений.

Мне приятно видеть, что даже и купцы постепенно начинают подчиняться веяниям нашего времени, так изобилующего разными видами спорта.

Мне кажется, что я не худо поступлю, если порекомендую троицкому купечеству несколько видов спорта, еще не знакомого ему, но как нельзя более подходящего к его вкусам.

Очень интересна готтентотская игра, называемая «Два бол-Вана».

Для нее совсем не нужно особенных приспособлений.

Игра состоит в том, что два человека ложатся на спину на одну линию головами друг к другу и стараются уцепиться ногами за шеи друг друга, оставляя руки во все время игры совершенно неподвижными.

Тот, кто успеет совершить такую штуку ранее другого, выигрывает пари.

Не менее интересна другая игра, называемая «Сто-Йки — Ел-Бы».

Для нее несколько купцов должны вооружиться крепкими палками и стучать ими по головам друг друга.

Проигрывает тот, чья голова расколется прежде других.

Хорошая также игра, название которой мне неизвестно, но остроумие и занимательность несомненны.

Для нее нужно намазать мылом скамьи и положить человека на смазанное место, нос которого тоже нужно смазать мылом.

Желающие подходят и, хватая человека за нос, стараются стащить его со скамьи.

Это ведет к массе курьезных положений и нимало не опасно.

Впрочем, иногда, если игрок неловок, нос отрывается и остается в его руках...

Я мог бы и еще порекомендовать кое-что, но я так убежден в купеческой изобретательности, что, пожалуй, не скажу больше ничего.

Но я мог бы порекомендовать купцам кое-что...

Например, я нахожу, что купцы могут развлекать себя, как умеют, но что было бы лучше для их приказчиков и мальчиков, употребляемых ими в виде игрушек, если бы они оставили их в покое.

Я также очень жалею свиней, употребляемых купцами для скачек...

Бедные свиньи!

Очевидно, гг. купцы никогда не пробовали насыпать горячей золы на свои собственные спины.

24 февраля, № 44.

137

Знаете вы, сколько Самарская губерния пропила денег в 1895 г.? 6 861 247 р. и полторы копейки.

Недурно?

А еще говорят, что Россия беднеет!

Не ясно ли, что такие неосновательные слухи распускают про нас враги отечества, разные либералы и другие вредные люди, имена которых «Гражданин» и «Московские Ведомости» произносят не иначе, как со скрежетом зубовным.

Очевидно, что бедной стране невозможно было бы так много пропивать.

И заметьте, что ведь это только мы, Самара, пропиваем почти семь миллионов в год, а мы, при всей нашей величине, представляем собою едва ли более $^1/_{40}$ части страны.

Умножив семь миллионов на сорок, мы получим прямо-таки оглушающую сумму миллионов, сумму, которую я даже боюсь начертать пером моим.

Воистину, «Руси есть веселие пити и не может она не пьяницею быти», как говорил дедушка Гостомысл или какой-то другой еще более древний старец.

Недавно вышел в свет сборник всевозможнейших абсурдов и парадоксов, озаглавленный «Социология, основанная на этнографии».

Автор ее Шарль Летурно, вообще бесспорно талантливый эволюционист, в этой книжке несколько перешагнул через шлагбаум разума, как говорил наш знаменитый философ Козьма Прутков, но тем не менее сообщил в своей книжке кое-что очень интересное и сказал кое-что довольно остроумное.

Так, например, он назвал пьянство «поэзией утробной жизни».

Метко?!

И вместе с тем он сказал несколько слов на тему: почему человек пьянствует?

По его мнению, мы пьем потому именно, что пьянство «возбуждает мозговую деятельность человека и на минуту подымает его над обыденными условиями повседневной жизни».

Я много раз видел, как подымались пьяницы с земли, и нахожу, что трезвые делают это скорее и красивее; но вполне согласен с

Летурно в том, что пьяные поднимаются на минуту, ибо через минуту они снова падают.

Дальше Летурно говорит такие ценные слова:

«Пьянство является наслаждением, тем более ценным, чем суровее жизнь человека...»

Пожалуй, это верно.

Даже более — начинаешь удивляться, почему это мы пропили не пятнадцать?

Дальше Летурно говорит:

«Для несчастного существа, которое постоянно борется с призраком голода и ведет часто такой образ жизни, как дичь, преследуемая охотником, нет более счастья, как испытать хотя бы на одно мгновенье то чувство довольства, при котором не ощущается тяжести физических и социальных условий среды»...

Это, конечно, не ново... но мне все-таки хочется оправдать Самару в пропитии семи миллионов рублей...

Поступок при нашей бедности настолько полезный, что ради его оправдания можно напомнить старые истины.

Летурно считает склонность к пьянству даже признаком прогресса, ибо первобытному человеку для того, чтобы иметь возможность напиться, нужно было научиться делать водку...

Оно, пожалуй, и это верно.

Но как только он научился делать водку, так и тю-тю!

Выдумывать водку стало уже не нужно... и оставалось просто только пить ее...

Пить для того, чтобы на минуту подняться выше действительности.

От сего-то современный человек, — как он ни пьет, — остается ниже действительности с ее сидельцами, грошами и тому подобным.

Так что, по нынешним временам, от нашего пьянства прогресс не выигрывает ни грошика.

Да не подумают, что я это пишу ради опровержения взгляда Летурно на роль пьянства в истории прогресса!

Боже меня упаси! я совсем не хочу ссориться с Летурно и этим нарушать франко-русский союз, от которого жду великих исторических последствий... для моих внуков.

Я это пишу в защиту казенной винной монополии и роли ее в прогрессе.

Ибо несомненно, как по Летурно, так равно и по всей видимости, монополии суждено играть большую роль в прогрессе, в нашем русском прогрессе.

Ее вводят в Киевской губернии и, будет время, всюду введут.

Винная монополия, это именно то самое, что на языке коммерческом называется выгодным дельцем...

Она также имеет и много других достоинств, помимо экономических...

Педагогические, например.

Вино веселит сердце человека, не так ли?

Следует, значит, заставить его как можно больше пить, и мы в конце концов воспитаем из него такого, я вам скажу, весельчака.

Этические, например.

Дознано по опыту, что в пьяном виде громадное большинство людей становится добрее и мягче...

А сие обстоятельство весьма важно.

Как видите, все, и даже винная монополия, имеет свои прекрасные стороны.

Но у монополии есть враги, — вы, конечно, знаете, кто эти злодеи?

Ну, да, — я имею в виду «Общества трезвости».

Они, как это известно, хотят наставить монополии волшебных фонарей и, конечно, делают это не с тою целью, чтобы осветить ей путь.

Они также намерены устроить в деревнях кегель-баны, открытые эстрады с французскими артистками и музыку.

Это все для того, чтобы отучить народ от потребления водки и приучить его к более тонким вещам.

Эти Общества желают, чтобы дядя Сидор, возвратясь с пахоты, не в кабак шел, а к дяде Якову.

И не просто бы шел, а захватив с собой свою скрипку.

И чтобы по дороге он зашел за Проклом и Архипом.

Ибо дядя Яков очень ловко запузыривает на виолончели, Прокл здорово садит на альте, а Архип задувает вторую скрипку.

И чтобы сии четверо пейзанов, сойдясь в одной избе, сели и исполняли Гайдновские квартеты.

А поиграв, шли бы слушать француженок на эстраде и играть в кегель-бан.

После же всего этого, чтобы они, усладившись фонарями, шли домой спать, так и не выпив ни рюмочки.

Видите, какую хитрую механику ведут Общества трезвости против поучительно-прогрессивных намерений винной монополии.

27 февраля, № 46.

138

Признаюсь, когда я писал о беге приказчиков Троицкого рынка, меня несколько смущало одно соображение...

Я думал: неужели приказчики не понимают всей унизительности для себя такой забавы и неужели уподобление скотам не доставляет троицким приказчикам ничего, кроме удовольствия?

Призы совсем уже не так велики, чтобы ради них человек — по Платону животное двуногое, без перьев — брал на себя роль четвероногого с хвостом...

Так видоизменяться за 90 к. — дешево, но, оказывается, что я могу не смущаться...

Все происходило так, как мною описано, и когда одного из четвероногих приказчиков спросили, так ли это было?

Он ответил:

— Воистину, так. И если вы хотите, — я готов и с вами бежать... Хотите?

Спрашивавший не захотел, потому что ему было некогда.

Итак, значит, приказчики от Троицы ничего не имеют против разных звериных ролей и даже очень охотно выступают в них.

Я... рад убедиться в этом...

Недавно в Пенсильвании местные хирурги открыли феноменального человека.

Человек с виду был ничего себе: руки, ноги, голова — все было на своем месте и прикреплено очень прочно.

Свойства его душевной жизни ничем не отличались от таких же свойств у всех других людей.

Он помнил, как его зовут, знал, что камни не кушают, по воде пешком не ходят и что без денег жить нельзя.

Человек — как все...

Но у него болела голова, — сильно болела, и, наконец, он обратился к докторам, те посмотрели и решили, что если ему не вскрыть череп, так они не в состоянии будут определить род его болезни.

Вскрыли...

Считаю нужным предупредить, что я рассказываю действительный факт, подробное описание которого помещено в одной германской медицинской газете.

Под черепом не оказалось мозга...

Он исчез куда-то и вместо его болтались одни куски мозговой оболочки.

Ученые — в возбуждении. До сей поры существование безмозглых людей было только гипотезой, догадкой, предположением.

Ныне — это факт, и гг. ученые очень довольны своим открытием, считая его весьма важным.

Я по этому же поводу впал в уныние.

Я раньше их постиг сию игру природы.

Помилуйте!

Еще, когда я впервые узнал о беге приказчиков, я был убежден в существовании безмозглых людей.

В одном из учреждений — ни за что не скажу где, — есть начальник, который, вообще относясь к своим подчиненным крайне холодно, при случае очень жарко ругает их.

Недавно был такой случай.

Дело было в воскресенье, и начальнику потребовалось что-то отпечатать на печатной машинке.

Для такой работы существует под началом г.** специально приспособленный человек.

И вдруг его не оказалось на своем месте.

Ах, пр-реступление и р-ракальство!

И г.** возжег в душе своей громаднейший костер гнева, — хоть быка жарь.

Но когда встретил печатающего человека,— то все-таки сначала холодно спросил его:

— Почему вас вчера не было?

— Так как было воскресенье, то...

— Ах, вы, чорт возьми вашу бабушку, анафема вашему дедушке и чтобы вам провалиться в тартарары!

Да разразят вас все лихорадки и слепота да поразит ваши идиотские глаза, шаромыжник вы и брандахлыст!

Шелопай вы и оболтус, лентяй, чурбан, бессмысленный сыч, урод, чтобы вы треснули вдоль и поперек!

Да разве я, безмозглый человек, ни дна б вам, ни покрышки, разве я не говорил вам, чортово вы отродье, что такие, как вы, бессмысленные бревна, не должны, будь вы прокляты, знать воскресений, нелепое вы чудовище, провалиться бы вам в ад, где давно уже квартируют все ваши предки, такие же шарлатаны и лентяи, как и вы...

...Кладу перо...

Разные господа из «Самарского Вестника» создали мне репутацию отчаянного и непобедимого ругателя, но все же я кладу перо.

Я не чувствую себя в силах состязаться в остроте стиля и в разнообразии выражений с г-м**.

Если я в ругательном смысле представляю из себя нечто вроде игольчатого ружья, — г.** по сравнению со мной — митральеза.

И я рекомендую ему предложить свои услуги Англии, — она несомненно воспользуется им как инструментом для посевов культуры цивилизации в дебрях Африки.

Там она употребляет для вразумления дикарей именно вот такие смертоубийственно-скоропалительные инструменты, как он, г.**.

На дикарей действовала бы превосходно способность г.** к изрыганию из себя бесчисленных зарядок ругани, которой он начинен, как старый огурец семенами.

В государстве же, хотя и кое-как цивилизованном, присутствие людей с такими способностями, как г.**, едва ли уместно.

Конечно, и эту способность можно бы утилизировать, предложив г.** роль пугала для птиц на огороде...

Но господин сей едва ли согласится на столь низкое применение его таланта.

Самое лучшее, пусть он уедет в Африку и пусть там, в интересах цивилизации, наводит ужас своей руганью на аборигенов страны.

29 февраля, № 48.

139

Можно с уверенностью сказать, что в настоящее время вся Россия заинтересована Рентгеновскими икс-лучами.

О них всюду читаются лекции с демонстрациями — и даже в городе Змиеве Харьковской губернии.

Городок, должно быть, маленький и ничем не замечательный, кроме своего имени, несколько напоминающего о змеиной мудрости.

А вот для Самары Рентгеновские лучи, «величайшее и любопытнейшее научное завоевание века», остаются до сей поры только неизвестными иксами.[1]

Очевидно, гг. самарские «ученые» находят, что с нас достаточно и одних лучей их славы...

Потом есть еще солнечные лучи, — с ними тоже обыватель издавна ознакомлен.

Ну, и будет с него.

Мне думается, все-таки, что не мешало бы ознакомить Самару и с лучами нового света и что эту задачу с успехом могло бы взять на себя местное Общество врачей. Я полагаю, что занятия такого рода могут более высоко поднять престиж врача среди обывателей, чем, например, самосуды и все то, что с успехом делали гг. врачи доднесь.

А что престиж их не высок, на то у меня есть факты.

Я, например, знаю, что обыватель всегда склонен предпочесть «ученому» врачу бабушку Прасковью.

Еще не было до сей поры примера, чтобы в местные газеты обывателем присылалась благодарность врачу, а вот бабушка Прасковья удостоилась этой чести.

Я не шучу, заметьте, а просто констатирую факт.

И целиком привожу благодарственный адрес бабушке Прасковье, сохраняя весь букет адреса и все нюансы его.

«В виду того, что издаваемая вами газета пользуется большой популярностию во всем приволжском крае, мои хорошие знакомые, проживающие за пределами Самарской губернии, поручили мне выразить чрез посредство вашей газеты глубочайшую благодарность старушке, бабушке Прасковье, живущей в г. Казани, за исцеление их простейшими средствами от пьянства, продолжавшегося много лет, в виде запоя.

В несомневаемости в подании скорой помощи этой старушкой людям, подвергнувшимся пьянству, у меня имеется еще много подтверждающих фактов.

Прошу принять уверение в совершенном моем почтении и преданности».

«В несомневаемости» в подлинности сего письма я готов принять присягу и даже показать его желающим.

Вот видите, гг. врачи, как хорошо быть бабушкой Прасковьей и исцелять обывателя «простейшими средствами от пьянства, продолжающегося много лет в виде запоя».

Люди, подвергнувшиеся, например, тифу и другим болезням, исцеляясь «при помощи врачей», не чувствуют к ним никакой благодарности, по крайней мере никогда и никто не присылал нам благодарности врачу...

Но благодарность Пахому Мурину, за излечение зубной боли наговором, у меня есть.

---

[1] Следует, впрочем, отметить, что о них сообщались разные известия в местных газетах. — Прим. ред. [*Примечание Иегудиила Хламиды.*]

Эта благодарность написана даже со многими восклицательными знаками, что, мне кажется, должно свидетельствовать о теплоте чувств ее автора и об искренности его...

Вот какие дела, гг. врачи!

Кстати, о чувствах...

Почему это люди ругаются и поносят друг друга всегда с «чувством», а вообще относятся друг к другу крайне бесчувственно?

Неужели в наш век индивидуализма и специализации и чувство специализировалось исключительно на взаимном поношении друг друга?

Это очень интересный и важный вопрос...

Он возник у меня после чтения фельетона г. Н. Васильева, иначе Nemo W., напечатанного в субботнем номере «Самарского Вестника».

Фельетон построен г. Nemo на защите издателя «Вестника» г. Реутовского от нападок на г. Реутовского со стороны некоего г. Н. Волжина, пишущего в «Нижегородском Листке».

Г. Васильев «с чувством» устанавливает тождество г. Волжина с Н. П. Ашешовым, сотрудником «Самарской Газеты».

Без всякого чувства я должен сказать, что такое деяние очень похоже на разоблачение псевдонима, а это не считается порядочным.

Засим г. Васильев «с чувством» намекает на некоторые интимные стороны жизни г. Ашешова, мимоходом говорит о его тетушках и дядюшках и кстати уж ругается направо и налево, ругается не особенно остроумно, но можно сказать «здорово» и «с чувством».

Картина умилительная: газетный сотрудник, выходящий на бой за своего издателя против своего товарища по роду деятельности.

Зачем это требуется г. Васильеву?

Неужели это он ради справедливости с чувством кропит человека грязью собственной фабрикации?

Трудно понять.

В «Вестнике» придерживаются того мнения, что главнейший фактор человеческой жизни — деятельности — это фактор экономический.

Быть может, г. Васильев слишком твердо уверен в истинности этой теории и пишет свои «сочинения» исключительно того ради, чтобы доказать миру, что каждый его, и мира, и г. Васильева, шаг по пути жизни зависит от соображения и пользы материальной, а что касается до морального значения таких шагов, то оно не особенно важно, хотя иногда не мешает подпустить в фельетонах и морали.

Неужели именно ради этого сочинил г. Васильев свой, с позволения сказать, фельетон?

5 марта, № 52.

140

Мы начинаем заниматься международной политикой.

После того как Самара выразила симпатию Болгарии, Нижний-Новгород, поискав, куда бы ему сунуть излишек своих «чувствий», решил направить их в Абиссинию.

Родине Минина очень понравилось то обстоятельство, что нация мало культурная вздула нацию более культурную.

До сражения при Адуе Нижний сомневался в том, что абиссинцы христиане.

— Какие они христиане, ежели у них эфиопские рыла вороной масти? — говорило нижегородское купечество.

Но когда абиссинцы исколотили Италию, — Нижний-Новгород возликовал.

— Да они, эти самые эфиопы, православные! — воскликнули нижегородские люди и решили сейчас же оказать помощь раненым эфиопам.

Форму помощи выбрали самую реальную: собрали несколько десятков рублей и послали их по такому адресу:

«Денежное. В страну Абиссинию, на берегу Чермного моря. Храбрым солдатам эфиопской армии, здорово вздувшим шарманщиков-итальянцев. От г. Нижнего-Новгорода».

При деньгах письмо:

«Ура! Очень рады мы, что вы отколошматили при Адуе еретиков-итальянцев. Авось они теперь угомонятся и не будут больше наезжать на нас с пением и с шарманками. Нам от них бывало покоя нет. Посылаем вам малую толику деньжонок, дабы вы с устатку выпили за наше здоровье.

Нижегородские купцы разных величин и разной тяжести, но все одинаково сочувствующие дракам».

Меня всегда очень трогает отзывчивость русского человека. И я в восторге от Нижнего и его поступка.

В самом деле, мы ужасно чуткая к дракам нация, мы очень отзывчивые люди.

Бьют турки болгар, мы едем заступаться за болгар.

Дуют абиссинцы итальянцев, мы очень рады за абиссинцев.

Вырезывают турки в Зейтуне армян, мы волнуемся и готовы за кого-нибудь заступиться.

А ежели никто никого не бьет, мы сами кого-нибудь дуем.

То евреев, то какого-нибудь соседа, — поляка, венгра, хивинца, хохла — все равно.

А если под рукой никого достойного трепки нет, мы с замечательным тактом применяем наши способности к самим себе и разнообразно дуем друг друга, публично и келейно, просто кулаком по скуле и «жестом с палкой»...

Ежели же и этого почему-либо нельзя, мы вспоминаем о наших супругах и усиленно дубасим их.

Я твердо уверен, что во дни, когда в мире царит мир, количество синяков у русских женщин возрастает.

Мне думается, что каждый здоровый русский человек есть маленький Александр Великий и что, если бы он знал географию, то уже давно бы отколотил весь мир.

Очень драчливая мы нация. И отзывчивая... гуманная.

Но при таких, можно сказать, здоровых достоинствах, мы обладаем весьма курьезным недостатком — дальнозоркостью, так сказать, филантропической дальнозоркостью.

У нас свои собственные девушки с голода выходят на улицы за приключениями, а наши дамы устраивают «Общество для снабжения готтентотских женщин передниками», ради ознакомления оных женщин с целомудрием.

У нас свои собственные «эфиопы, видом черные», наводняют все ночлежные дома и разные притоны, а то так и просто ведут на городских улицах и в окружностях города кочевую жизнь номадов, а мы в Абиссинию для тамошних эфиопов шлем свои рубли...

Извольте заглянуть в столовую «Общества попечения о бедных»,— сколько там бывает ежедневно эфиопов, с горящими от голода «как углие» глазами?

А между тем эта столовая обязана своим существованием исключительно энергии С. Б. Брянчаниновой, — только ей одной, ибо местные дамы «филантропического темперамента» уже утратили всякий интерес к столовой.

Сначала столовая понравилась им — ново, знаете, модно...

Потом мода прошла, интерес к столовой угас и ныне все заботы о ее существовании несет одно лицо, энергия которого, как бы она ни была велика, все-таки не может быть неисчерпаемой.

Возьмите Дом трудолюбия, разве это не симпатичное учреждение и разве его судьба для нас не важнее возрождения болгарской династии?

Однако, мы, находя возможным поздравлять болгар с благополучием, совершенно не заботимся о благополучии Дома трудолюбия и о расширении его операций.

Рубль, затраченный на телеграмму Кобургу, не принесет никакой пользы ни его гомерическому носу, ни городу Самаре; тот же рубль, пожертвованный в Доме трудолюбия, будет несомненно более полезен.

Ах, господи! Ну скажите мне, какое нам может быть дело до чужестранных эфиопов, когда у нас эфиопов собственной фабрикации «до Москвы не перевешаешь»?

Право же, раненые абиссинцы и освобожденные болгары заслуживают менее внимания, чем здоровые русаки, плененные нуждой.

7 марта, № 54.

141

Важная новость для замужних и женатых!

Духовными консисториями получен циркуляр святейшего синода о сокращении переписки по бракоразводным делам.

Ныне развестись можно очень скоро — консистории могут сами, не испрашивая дозволения синода, решать дела о разводах.

Люди, которые не решались разводиться только потому, что это было бы очень «канительно», ныне могут не стесняться этим препятствием, и я уверен, что они не преминут воспользоваться льготой.

Вообще нужно надеяться, что количество процессов о разводах возрастет, имея в виду, что, по словам сведущих в деле людей, современные цепи Гименея так же не прочны, как тяжелы.

Помимо таких приятных соображений, эта мера и сама по себе весьма приятна, как одна из искорок, указывающих на то, что интерес к женщине все более возрастает и внимание к ней становится все более серьезным.

Ах, сколько в наши дни говорится о женщинах!

Философ Гартман в Германии доказывает, что всем им необходимо быть замужем и для этого предлагает устроить... налог на холостяков.

В Сербии уже устроен такой налог.

Во Франции, — впрочем во Франции всегда много говорили о женщинах, — даже более, чем много... Там теперь горько и громко жалуются на женщин, говорят и в стихах, и в прозе, и в научных статьях, что все женщины — крайне испорченные создания, и доказывают, что самое лучшее, чем можно их исправить, — это презрительным молчанием о них.

Но о необходимости молчания не следует так много шуметь.

У нас тоже много толкуют о женщинах.

В Петербурге недавно читала о них г-жа Лухманова, затем профессор Петри рассматривал женщину с антропологической точки зрения и нашел, что она и физически, и психически представляет из себя особый тип.

Он сделал в своей лекции очень интересный «общий вывод».

«Женщину знать нельзя, — говорит он, — потому что нельзя знать того, что поддается всякому внешнему импульсу».

Это лестно, mesdames?

У нас есть и еще другие признаки возбуждения научного интереса к женщинам.

Так, например, недавно в «Одесском Листке» помещен громаднейший фельетон на тему: «Какие женщины больше всего нравятся мужчинам?»

Автор фельетона очень рекомендует рыжих, но находит, что у мужчин преобладает спрос на брюнеток. Очень интересный фельетон.

Затем одна из маленьких столичных газет трактовала на тему о том, что красивее: женщина в корсете или таковая же без оного?

Газетинка склонна предпочесть простой наряд обитателей Фиджийских островов всем современным модам.

У нас, — то есть у Самары, — не замечается особенного интереса к женщине.

Это — отсталость и отсталость постыдная, тем более, что к нам приехала женщина, в высокой степени интересная, г-жа Недда Эйхенвальд.

Ах, как она играет на арфе!

Ей преподавал это искусство сам пророк и царь Давид, как известно, первый арфист на земном шаре.

Она исполнит на арфе «Грезы»; эта вещь замечательно удается ей, и под ее музыку даже самарская публика уйдет в мир грез, если только она, публика, пойдет в концерт.

Там она увидит своего старого знакомого г. Янова.

Услышит г-жу Шубину.

И если публики в концерте будет много, — г-жа Шубина пропоет «Люблю тебя», а если наоборот, — она будет петь «Оставь меня».

И услышит громовый бас г. Трезвинского...

«Искушение»!

От женщин следует перейти к молодым людям... Конечно, к «интересным» молодым людям.

Милостивые государыни! Ах!

Я недавно познакомился с преинтереснейшим молодым человеком.

У нас он уже изображался, как «ревностный служака» в одном из местных управлений и как юноша, чрезвычайно благонамеренный.

Ныне он снова напомнил о себе подвигом велемудрым и... и так далее.

Он полагал, что занимаемое им место не соответствует его способностям.

Он так ловко умеет подавать начальству калоши и помочь ему надеть шубу, и несмотря на такие приемы службы,—не пользовался вниманием со стороны начальства и никак не мог занять желанный пост — пост заведующего столом.

И вот, он ухитрился или, как говорят, «угобзился».

Он написал начальству.

«Ваше-ство! Внемлите словам ревностного слуги отечества, ничего не желающего ему, кроме пользы. О, ваше-ство! Сердце мое обливается кровью, когда я смотрю на порядки, царящие в нашей канцелярии! Гг. Z и X совершенно не заботятся о пользе родины и интересах казны. Они, ваше-ство, — с позволения сказать —употребляют совершенно чистую казенную бумагу в пищу и пьют отечественные чернила, нимало не сознавая преступности своих деяний.

Ваше-ство! Могут ли быть терпимы подобные порядки? Мое честное сердце не может выносить их!

Вашего благополучия
верный раб
Феодул Ижицин —
Злоехидный».

И его сделали «начальником».

Он начал делать реформы, почувствовав в руках своих власть.

Двоих сослуживцев вытурил вон из управления и на место их посадил двоих новых.

Ныне он упивается новизной положения и обращается к своим сослуживцам в таком тоне:

— Э... э! Эй вы... как вас там? Пустая голова! Вы! Эт-то что? а? Испр-равить! Прошу понимать меня с одного слова! Э-гм!

... Нравится вам этот душка штатский? Рекомендую...

Он совсем еще вьюноша.
Но сразу видно, что это человек с будущим.
Он не стесняется и, конечно, далеко-далеко пойдет.

9 марта, № 56.

142

Весна идет!

Это значит, что приближается сезон лунных ночей и флюсов, нежных чувств и бронхитов, сезон развития нежных чувств и повышения ревматических болей.

Сезон грязи и ароматов...

Скоро мы, Самара, начнем пахнуть... Ах! у нас есть чем пахнуть!

Наши улицы, ни разу после всемирного потопа не чищенные, — ручаются за то, что обыватели не будут обижены запахами.

А впрочем — мы привыкли...

Мы вообще умеем привыкать.

Взять хотя бы управу, — она ли не пахнет?

Она, можно сказать, утопает в ароматах, задыхается в них, но живет и действует по раз навсегда заведенному ею обычаю...

Начнет расходовать, — непременно перерасходует и затем обязательно отчитывается.

Отчеты составляются ею очень основательно, она работает над ними по десяти лет, как например, театральный отчет.

Я — человек крайне добродушный и всегда способный притти в восторг от добродушия моих ближних.

И поэтому я прошлый раз, как только пришел в думу, так сразу и погрузился в восторг.

Потому что в думе столько же добродушия, как в управе аромата...

Обсуждает отчет... мило так, семейно...

Просто, хорошо, умилительно дружески...

Нашли, например, путаницу...

Некто получил за малярные работы 200 р., и потом еще некто за эти же работы получил 100 р.

Стоит ли говорить о таких пустяках?

И не говорят.

В хозяйственной стороне дела тоже путаница. Толку добраться — нет никакой возможности, хотя к отчету существует 31 том комментарий, объясняющих ход дела.

— Предадимте, братия, это дело на волю божию, — говорит один гласный.

— Десять лет прошло со времени постройки театра, — и все строители его умерли. Кто же упомнит неправильности при постройке? — говорит Василий Ермолаевич [Буслаев], вообще человек хотя и с воинскими наклонностями, но, когда нужно, тоже добродушный.

— 42 000 р. перерасхода — не сюрприз! Мы об этом знали ранее, — говорит г. Лавров.

— Предадимте же дело сие на волю божию, — снова уныло возглашает некто из гласных.

Предали.

Отчет утвердили и постановили исков ни к кому не предъявлять.

Все так тихо, мирно, по-семейному.

Хорошо! Душа радуется, глядя на этакое «хоросьво», — как говорят орловские бабы.

Покончив с благодушным заседанием думы, я перехожу снова к запаху управы.

Неужели она не хочет как-нибудь уничтожить свой запах?

Это следует сделать.

А если этого не будет сделано, то ее канцеляристы задохнутся и помрут, что вызовет большой расход, ибо они погибнут на службе городу и нужно будет выдать пособия их женам, матерям и прочим родственникам.

Это потребует солидной суммы.

Они пока еще не задохнулись, и управа надеется, что этого не будет, а что они привыкнут, и тем дело кончить.

Привыкли же носы управы.

Может быть, это и так.

Об этом нужно спросить городских санитарных врачей.

Я же, конечно, убежден в противном.

Мне всегда делается жутко, когда я встречаюсь с управскими канцеляристами.

Пропитанные насквозь отчаянным, особо-острым запахом, они бегут со службы домой с видом отверженных, боясь взглянуть в лицо встречному.

За целый квартал слышен запах от них.

Публика зажимает нос и говорит:

— Ну, управой запахло!..

А те, с краской стыда на лице, прибегают к своим домашним очагам и встречают там не ласку и привет, что полагалось бы по семейным правилам, а одно огорчение.

Их сажают за отдельный стол, проветривают их на морозе, боятся к ним близко подходить и вообще обращаются с ними, как с зачумленными.

Многие из них уже серьезно подумывают, что жить при таких условиях не стоит и что остается одно — избрать подходящий род смерти и оставить записку с указанием виновницы смерти — управы...

Да не подумает читатель, что в моих словах скрыта какая-либо аллегория.

Под запахом управы я разумею именно запах и ничто другое.

Если моим словам не верят, прошу покорно всех, кому жизнь не дорога, сходить в канцелярию управы.

И если такой смельчак останется жив, или, в крайнем случае, с ним не случится глубокого обморока или чего-нибудь иного, угрожающего жизни и здравию, — пусть меня назовет кем угодно.

Щелкопером, бумагомарателем, — даже врагом управы!..
Я отдаю себя на суд общественный...

12 марта, № 58.

143

Он обеспокоился...

Он — это тот благонамеренный юноша, о котором я писал в прошлый раз.

Я написал, а он прочитал и обеспокоился.

Явился к своему начальнику и говорит:

— Ваше-ство! Хламида бросает на меня тень... Ваше-ство! — Я ли не верный слуга отечества?.. Соблаговолите же, Ваше-ство, произвести дознание, кто сообщил Хламиде о моей заслуживающей всякого внимания деятельности?

Я не знаю, как отнеслось начальство к просьбе своего подчиненного...

Но я жду, что скоро благонамеренный юноша кого-нибудь заподозрит и начнет доезжать.

Увы!.. Даже и защита угнетенных угнетает их...

Очевидно, против этого печального закона «ничего не попишешь»...

Казенная водка поехала в Париж.

Да здравствуют франко-самарские симпатии!

В недалеком будущем я вижу парижского «бульвардье» рядом с самарским горчишником.

Оба они в подпитии и ноги их обнаруживают склонность к декадансу.

Француз говорит о своих симпатиях к России, к Самаре и казенной водке...

Русский его понимает.

— Верно, раздуй те горой! Потому у нас — во!

И он показывает романскому носу славянский кулак.

— Ты, знай себе, держись за нас крепче; мы, брат, ежели ты нас будешь уважать, в обиду тебя не дадим. Мы всех можем вздуть коли что!

Я рад объединению двух наций, которое теперь, вступив на казенно-водочную почву, несомненно, пойдет вперед очень быстрыми шагами.

За последние дни в Самаре сделано разными лицами несколько небезинтересных открытий.

Открыты остатки американских сухарей, присланных в голодный год и не съеденных голодающими потому, что в то время, когда сухари были нужны, их не было налицо.

Они куда-то запропастились, вследствие того, что время тогда было горячее и комитет по оказанию помощи голодающим был по горло завален делом.

Вот, в виде эха его деятельности, ныне и объявились — сухари.

Открыты остатки «американских денег».

Это, должно быть, очень любопытные деньги, если судить о них по «американским чертям в банках».

Затем дознано, кто именно в Самарском уезде читает газету князя Мещерского.

Оказывается, что в уезде только двое храбрецов, не щадящих себя ради усвоения княжей мудрости.

Один из них — священник.

Другой — помещик из дворян.

Г-м?!

Последнего я понимаю.

Первому же рекомендовал бы заменить «Гражданина» — «Кормчим».

По крайней мере, дешевле стоит.

14 марта, № 60.

144

Это было ночью, в два часа и двадцать минут.

Я осторожно шел по Саратовской улице и находился в приятном неведении, — далеко ли от меня то место тротуара, на котором мне суждено вывихнуть ногу или шею.

Я поднимался на бугорки, опускался в овражки и познавал моими коленями бытие тротуарных тумб, а лбом убеждался в существовании фонарных столбов.

Я давно уже зачерпнул калошами воды из луж, преграждавших мой путь, и уронил с головы шапку, запнувшись о камень, лежавший на берегу маленького озера.

— Терпение! — повторял я про себя и стоически шагал далее.

— Терпение, ибо данный состав управы смертен, как и все на сей земле. Пройдут года, энергия утомленного жизнью человечества вспыхнет с новой силой, тогда и наша управа примется за исполнение лежащих на ней обязанностей... Это будет скоро; уже в воздухе веет новизной. Это будет! Хотя бы через сто лет, но несомненно, что в Самаре со временем будет выкопан громадный пруд, в который и будет стекать весною с улиц грязная вода. Летом пруд будет служить для прогулок на лодках, зимой его можно утилизировать, как каток.

— Ах, как это будет способствовать украшению города! Терпение! Дорогие правнуки мои, я завидую вам!..

Так я рассуждал, пробираясь вчера домой, в два часа ночи, сквозь сухие и мокрые препятствия на пути моем.

Я уже дошел в совершенно живом, хотя несколько испачканном и мокром виде, до Предтеченской улицы.

Как вдруг...

Так как я жив и до сего момента, то вы, читатель, не пугайтесь. Все, что со мной случилось, — уже прошло...

Как вдруг откуда-то на меня насела стая собак...

Сколько их было всех, я не мог сосчитать. Четыре собаки держа-

ли меня за ноги, две вцепились в рукава пальто, одна висела на воротнике спереди, другая сзади.

Все остальные кружились около меня в бешеном вальсе и лаяли на разные голоса.

Меня качало во все стороны, и я был очень удивлен происшествием; я никогда раньше не думал, что мне придется умереть такой смертью.

Но, что делать? Я помирился с моей участью.

— Милостивые государыни! — вежливо сказал я собакам. — Не будете ли вы так любезны и не позволите ли мне, прежде чем съесть меня, составить духовное завещание? Так как у меня нет наследников, то я не надолго задержал бы вас.

— Не ной! — сказала мне собака, державшая меня за шиворот спереди.

— Не финти! — пролаяла та, что вцепилась сзади.

Что мне оставалось делать?

Я пожелал им приятного аппетита.

Я готов был умирать и занялся воспоминаниями детства.

О, как ярко вспыхнул в моей памяти первый день моего бытия!..

Помню, я появился на свет божий веселым маленьким мальчиком; мне тотчас же сунули в рот соску и никто не предупредил меня, что природа создала мою персону на ужин собакам!..

Я лежал в люльке и спокойно курил папиросу, ожидая, когда меня ознакомят со всеми другими прелестями бытия...

Мне было очень весело в первый день моего рождения, я покурил, выпил рюмку коньяку, спел, заснул и видел во сне, будто бы я женат, у меня родился ребенок и просит меня сделать его городским головой... Я обещал...

Боль в ноге заставила меня очнуться от моих воспоминаний.

Собаки начинали...

Как вдруг та, что держала меня за шиворот спереди, соскочила на землю и тревожно залаяла.

— Стойте! это не он!

— Не он? — раздался громкий лай стаи. — Не он!

— А вы за кого меня приняли, милостивые государыни? — осведомился я.

— Вы не член управы?

— Я? О нет! Я? помилуйте!

— Кто же вы? — подозрительно спросили собаки.

— Вы не читаете «Самарскую Газету»? — осторожно начал я рекомендоваться.

— Да, читаем... Хотя вообще скоты не любят прессу... Но иногда читаем... Нужно же разнообразить жизнь! Особенно в нашем положении... Но все-таки, кто вы?..

Я сказал...

Собаки поджали хвосты, побуждаемые к тому разнообразными чувствами.

— Могу я итти? — спросил я, видя, что испортил им аппетит.

— Идите... Пожалуйста... — разрешила мне одна старая собака.

Я пошел. Стая тоже расходилась в разные стороны.

— Послушайте! — догнала меня старая собака.— Будьте великодушны, войдите же в наше положение. Ведь мы не хуже других животных! И однако нас поставили в такое положение, что мы скоро обратимся из собак, друзей человека, в тигров. Вы только подумайте, ведь мы совершенно не имеем никаких средств к существованию! А нас все больше становится. Мы плодимся и множимся, и никто не обращает на это внимания. Ведь не для того же мы вступаем в жизнь, чтобы умирать с голоду. Если город развел нас так много, пусть он даст нам средства к жизни. Пусть, наконец, выселит нас. Пусть даже уничтожит тех из нас, которые этого достойны! Но пусть он обратит на нас внимание...

... Мы думали, что вы член управы, и хотели было лишить ее одного члена... Но это, оказалось, — вы! Прощайте!

... Я пришел домой и возблагодарил бога за то, что я не член управы, а скромный фельетонист.

19 марта, № 64.

145

Для страстной недели едва ли удобна всякая другая тема, кроме благочестия, и потому я намерен говорить именно о благочестии.

Прежде чем сказать что-либо вообще по этому вопросу, я думаю, что мне нужно иллюстрировать понятие о благочестии примером.

Кстати, у меня под рукой есть хорошенький примерчик.

На станции Похвистнево жена одного из служащих, после зрелого размышления, находясь в здравом уме и твердой памяти, решила увеличить общую сумму русских людей еще одним человеком.

Я говорю так вычурно потому, что не могу сказать просто: женщине пришло время родить; боюсь я, что это было бы жестко и грубо.

Затем, — по словам очевидцев факта, близких роженице людей,— ее решение было вполне сознательно, я же нахожу, что едва ли это так.

Ибо я думаю, что сознательно никто не решится отяготить землю, на которой нам, людям, живется так тяжело и тесно, так трудно и скучно.

Я имею много данных предполагать, что женщины родят не в силу сознания необходимости увеличивать население страны, а просто — по привычке.

Ибо бабушки их родили, и матери их родили, и это тянется из глуби веков вплоть до нашего времени и впредь будет, и ничего в этом сознательного нет, на мой взгляд.

Женщины это понимают и все-таки родят... хотя, в виду вышеизложенного, они давно бы уже должны были сказать самим себе:

— Довольно! Перестанем засорять землю!

А впрочем, — я отвлекся в сторону, хотя, надеюсь, вполне благочестиво отвлекся.

Итак, на станции Похвистнево ждали нового человека, который, очевидно, не глупый был малый и кое-что предчувствовал, который не хотел появиться на свет божий.

Решили о таком его упорстве известить акушерку и послали ей на станцию Абдулино телеграмму.

Получился ответ:

— «Приехать не могу».

А положение роженицы осложнялось.

Послали еще телеграмму:

— «Если вы не приедете, — роженица умрет».

Акушерка отвечала:

— «Приехать не могу, потому что я говею».

Тогда роженица умерла.

Сделала она это отнюдь не для того, чтобы своим поступком положить пятно на совесть благочестивой акушерки. Нет, по словам ее близких, у нее были более основательные причины для того, чтобы умереть.

Называют главнейшую — отсутствие медицинской помощи и винят акушерку в смерти этой бедной женщины.

Мне жалко акушерку, — она так благочестива, а я люблю благочестие.

Мне хочется замолвить словечко за акушерку, столь твердую в исполнении взятого ею на себя долга.

Читатель! Люди умирают совсем не вследствие отсутствия медицинской помощи, а потому же, почему они и родятся, именно, — по привычке, укоренившейся в жизни с самого начала жизни.

Все умирают и все умрут — в этом акушерка нимало не виновата.

А еще люди умирают по непривычке к различным болезням. Следует в начале бытия перехворать всеми болезнями сразу, излечиться от них и, таким образом, ознакомившись с ними, жить, пока не надоест.

Видите, как это просто?

Затем поговоримте специально о благочестии, — основном свойстве примерной акушерки.

Благочестие — великое дело!

Благочестивый человек желает спасти свою душу; поэтому он всегда находится в состоянии созерцательного самоуглубления, и мешать ему, устремляющемуся в небеса, напоминанием о разных земных делах — грех.

Он, например, идет в церковь, и лицо его строго; вдруг является, положим, кухарка и, будто ничего не зная, вопрошает:

— На обед-то чего готовить?

Благочестивый человек давно уже хочет есть и напоминание об обеде несколько раздражает его.

— Ах, ты, собака, — благочестиво говорит он кухарке, — ведьма ты киевская, дура! Неужели ты не понимаешь, что теперь не время меня об этом спрашивать, — шкура ты барабанная!

Если же глупая кухарка будет возражать, то весьма возможно, что кулак благочестивого человека упадет на ее шею.

Это бывает. Но разве это подобает?

Жены говеющих людей тоже должны помнить о благочестии.

Благочестие ничем не должно быть нарушаемо.

Идете вы в церковь на исповедь и обсуждаете роды и виды грехов ваших.

Вдруг на вашей дороге лежит свеже-раздавленный конкой человек...

Или человек утопает в одной из луж улицы.

Или его разрывают в куски приказчики Троицкого базара, всегда желающие, чтобы один и тот же человек в одну и ту же минуту вошел в пять лавок сразу.

Во всех этих случаях человек зовет на помощь...

Должны ли вы, несущий и считающий грехи ваши, помочь ему?

Конечно, нет, если вы не желаете нарушить ваше благочестивое настроение.

Так именно и рассуждала моя акушерка.

— Если я поеду туда, — думала она, — то я, наверное, опоздаю к исповеди... и мне придется снова начать говеть на следующей неделе.

— А если я не поеду, — то роженица, может быть, и не умрет... Не поеду!

И не поехала.

А роженица-то умерла.

Значит?

Значит, акушерка ошиблась, — только и всего.

Она неверно рассчитала, предполагая, что без ее помощи роженица не умрет, а та умерла даже и без этого условия.

Как могла акушерка предполагать со стороны больной такое упорство?

Конечно, о мертвых нужно говорить или хорошо, или ничего...

Но все-таки, знаете, я обижен за акушерку. Разве больная так уж и не могла подождать умирать, пока акушерка не кончит говеть?

Пусть она, покойница, простит меня, но мне кажется, что она умерла единственно только из желания хорошенько насолить акушерке...

Такой благочестивой, такой религиозной.

О, господи!

До чего люди злы!

До такой степени они изощряются в желании причинить вред своему ближнему.

Даже умирают нарочно для этого.

О, боже мой!

21 марта, № 66.

Вот настает весна — пора любви и санитарных мероприятий, пора лунных ночей и насморков, пора томных взглядов и бронхитов, пора, когда требуются крепкие калоши и чувствительные стихи, когда шельмец Амур оттачивает стрелы, шалуны Пенаты радостно хихикают и Гимен озабоченно пробует крепость своих уз, приготовляясь к ловле смертных.

Но если исключить поэзию весны, останется ее действительность— и ах! как мало в ней приятного для глаза, носа, уха и затылка!

Все так сыро и серо, и так пахуче, и так назойливо-громко, и — это всего хуже — так скользко.

Путь жизни нашей вообще скользок, но в Самаре он в этом отношении опаснее, чем где-либо в ином пункте земного шара.

Гг. местные домовладельцы, очевидно, предполагают, что их постояльцы и все самарские обыватели более или менее знакомы с гимнастическим искусством.

Поэтому дворы домов и тротуары представляют собой горы, рытвины, овраги и пруды.

Ходить, как все прочие животные, человеку нет возможности.

Он должен прыгать, перепрыгивать, итти «гусиным шагом», местами становиться на четвереньки и производить целый ряд эквилибров для того, чтобы, идя по улице, притти домой в живом виде... без трещины на затылке и не неся с собой в руках свои сломанные ноги.

Все улицы, кроме Дворянской, представляют из себя ряд человекоубийственных опасностей, и только единственно милостью божией самарские обыватели до сей поры еще не изломались, не раскололись и не перетонули в лужах.

... Завтра 1-е апреля.

В сей день принято среди людей обманывать друг друга ради шутки.

Таким образом, 1-е апреля является днем исключительным, ибо во все остальные дни года мы обманываем друг друга совершенно серьезно.

И замечательно! — в то время, как всерьез мы обманываем друг друга с ловкостью изумительной, обманы в шутку нам обыкновенно не удаются.

Должно быть, это свидетельствует о том, насколько вообще взаимное надувательство считается нами занятием важным и серьезным.

В самом деле, вы только извольте присмотреться к порядку вашего дня: сколько в нем всевозможных совершенно серьезных лжей и обманов.

— Как ваше здоровье? — спрашиваете вы знакомого при встрече, и в глубине вашей души нет ровно никакого интереса к состоянию здоровья вашего ближнего.

— Ах, как я рад вас видеть! — встречаете вы гостей, а в переводе на язык ваших истинных чувств это значит:

— Чорт вас принес, шарлатаны!

— Знаешь что? — говорите вы жене, — тебе весенний воздух вреден и ты поменьше выходи...

Это значит:

— Ты намерена заставить меня купить тебе новую шляпку? Посмотрим, чья возьмет!

Это все маленькие лжи, и их бесчисленно много.

Но бывают и крупные надувательства, их тоже немало.

Иногда вы ни с того, ни с сего вдруг разыгрываете из себя умного или порядочного человека и начинаете трактовать в важном стиле, о материях высоких или горячо говорите о честности и прочих этаких мудрых и необыденных вещах.

Иногда душа ваша вдруг приобретет нечто вроде насморка и из ваших уст сочится кислейшая гражданская скорбь в то время, как все ваши фибры переполнены чувством самоуслаждения и довольства собой, своим обедом и женой. И вообще мы любим одевать нашу серо-арестантского цвета сущность в яркий виц-мундир всяческого обмана, дабы пустить пыль в глаза наших ближних, которые тоже не остаются у вас в долгу по этой части. Мы всегда щеголяем друг перед другом ряженьми и искренность, чувство мало известны нам...

Вот земля наша безусловно искренна:

В дождь она вся грязная и сырая, в жару пыльная и душная, в хорошую погоду тоже не особенно хороша.

В ней замечательно много искренности, но мы, от нее взятые, ужасные притворщики.

Но мы в нее отыдем и тогда, несомненно, исправимся.

Искренно вытянем ноги и, подняв нос кверху, будем лежать, и не только не скажем, но и не будем ощущать желания сказать ложь и надуть кого-либо.

... В сущности, я не против лжи, ибо что было бы, еслиб мы начали говорить сами себе и друг другу одну только правду?

Уж лучше молча бить друг друга палками по головам, чем искренно и вслух выражать мнения друг о друге: палочный удар, наверное, все-таки будет вкуснее правдивого слова человека о человеке.

Скажут, — экой ведь какой пессимист!

Что поделаешь?!

А знаете: есть очень злое, хотя и не совсем, быть может, верное четверостишие.

Оно гласит:

Кто в 30 лет не пессимист,
А в 40 лет не мизантроп,
Тот, может быть, душой и чист,
Но... идиотом ляжет в гроб!

Что вы на это скажете?

31 марта, № 70.

На сегодня, — о метеорологии...

Интересуясь не столько, откровенно говоря, движением наук вообще, сколько состоянием погоды, я всегда отличался особенною любовью к метеорологии.

Мне всегда крайне любопытно знать о количестве осадков... пыли, грязи и навоза на улицах города, о влажности наших немощеных улиц и я всегда крайне озабочен вопросом о том, чем пахнет климат.

Это не настоящая метеорология, но это самая самарская и самая необходимая для самарского жителя наука.

Настоящая метеорология, по распоряжению губернской земской управы, отдана ныне в ведение волостных писарей.

Я не писарь, хотя и пописываю, и до настоящей метеорологии не причастен.

О писарях, к ней причастных, сожалею от души, ибо думаю, что им очень трудно иметь дело с наукой, к которой у них нет призвания и с которой они совершенно не знакомы.

Я знаю о писарях, что они весьма пристрастны к «науке страсти нежной», но и то это военные писаря...

И я представляю себе волостного писаря, занимающегося по приказанию земской управы метеорологией, в таком грустном виде:

Стоит он, бедняга, где-нибудь за деревней, в поле, с горшком в руках и, подняв оный горшок над головой, ругает управу как умеет.

Это он ловит количество осадков...

Как и чем он измеряет влажность температуры?

Думаю — носом, за неимением другого органа, более приспособленного для метеорологии.

Облачность и прочие премудрости сей науки он определяет на глаз.

И если небо закрыто облаками, он, не без основания, отписывает управе:

«Сим имею честь донести, что на небе висят облака, ожидая дальнейших распоряжений управы.

Почва в волости местами просохла, местами еще грязная, а климат пахнет разными деревенскими запахами».

А управа всем сим писанием волостного метеоролога пользуется для высших соображений и выводов.

Пользуется и думает, что, пожалуй, на будущий год можно будет распорядиться, чтобы земские ямщики занялись топографией.

Им это ничего не стоит, а науке от сего польза, а управе — слава.

Потом можно будет приспособить волостных старшин к какой-нибудь науке.

К геологии, например...

А то к астрономии... «все равно!».

Губернская земская управа, рассадив по губернии ученых писарей-метеорологов, потеряла им счет и захотела спросить уездные управы, — сколько именно в их уездах ученых?

Самарская уездная земская управа кратко ответила:

— «Ни одного ученого, ни одной метеорологической станции...»

Увы, уездной управе недостает знания «отечествоведения» и знания математики!

Знай она свое отечество — Самару, она бы знала, что в Самаре есть метеорологические станции.

Знай она математику, она бы сосчитала, что в Самаре две станции: одна при вокзале железной дороги, другая при реальном училище.

Впрочем, может быть, уездная управа не знает только географии и ей не ведомо, что Самара находится именно в Самарском уезде.

Быть может, я не прав: управа знает, что станции есть, но думает, что Самара принадлежит к Бузулукскому уезду.

Вообще уездная управа не знает каких-то наук.

Тем более причин управе губернской заботиться об их насаждении в губернии.

Поощряю управу — очень хорошо!

И... да здравствует волостная минералогия!

Теперь — о городской управе.

Она тоже проезжается по части наук...

Во-первых, она занимается топографией и нивелировкой площадей, во-вторых, учит обывателя вдыхать и обонять навозные миазмы.

Вообще, — она действует; сохрани нас господи от логических последствий ее заботливости о быте нашем!

Унавозив улицы третьей части и набережную, ныне управа унаваживает площадь около нового собора...

Она создает там, как уже создала на набережной и в третьей части, навозные залежи.

Это очень удобно... для управы и болезнетворных микробов.

Для управы это тем хорошо, что она одним выстрелом бьет трех зайцев: ямки выравнивает, навоз убирает «к месту» и приобретает себе славу явнодействующей управы.

А для микробов создается удобнейшая культура.

В ней они будут не по дням, а по часам плодиться, множиться и населять Самару и организмы ее обывателей.

Скоро воспрянет жесточайшая война между обывателем и микробом.

Обыватель, когда в него заберется микроб, заорет:

— Пошел вон! Я городские налоги плачу! Я человек, а не квартира для тебя.

А микроб хладнокровно возразит:

— Не кричи! Меня сама управа развела и благословила пожрать тебя...

Ходит слух, что обыватели, коим грозит участь быть пожранными бациллами тифа и лихорадки, участью этой недовольны и хотят внести в думу некоторую слезницу.

Они в ней хотят просить город, чтоб он засыпал «нивелирован-

ные» управой места негашеной известью или полил скипидаром, карболкой — чем хочет.

Они находят, что это необходимо, ибо в числе материалов, истраченных управой на «нивелировку», было много трупов лошадей, собак, кошек, крыс и других крупных и мелких домашних животных.

С другой стороны, поговаривают, что облагодетельствованные микробы подносят управе благодарственный адрес, за ее к ним милостивое внимание.

И намерены воздвигнуть управе «нерукотворный памятник» из скелетов обывателей, оглоданных тифами и лихорадками.

Насколько все это верно, не знаю.

Полагаться на благородство душ у микробов, едва ли можно.

Они, вообще, очень не благодарны.

И по моему мнению, человек, если даже он и внимательно относящийся к микробам член управы, не гарантирован от их коварства.

Сожрут и члена управы.

С большим даже аппетитом скушают.

12 апреля, № 80.

148

Я не виноват в том, что самарская жизнь не дает никаких тем для фельетона, и я сознаюсь, что писать мне не о чем...

Говорить о том, что обнаружилось из-под снега на тех участках Дворянской улицы, которые в прошлом году управа замостила «хозяйственным способом»?

Об этом бесполезно говорить, ибо обыватели давно уже убедились в шероховатости новой мостовой.

Доискиваться причин, в силу которых дума отказала дать больному учителю Красильникову 50 р., и почему она без всякой просьбы со стороны г. Янова дала ему лишние 50 р. — бесполезно.

Ибо сие так премудро, что простому смертному, без риска вывихнуть себе мозги, опасно браться за обсуждение такой бухгалтерии.

Затем остается Струковский сад.

Он остается в старых условиях, несмотря на вылазку против его свободного существования со стороны храброго г. Варакина.

Можно бы, пожалуй, сказать несколько теплых слов по адресу коров, свиней и других домашних животных, во все часы дня гуляющих по Алексеевской площади.

Но они лично недоступны для морали, а указывать полиции на то, что центр города избран животными для прогулок, — опять-таки бесполезно, так как человек не в праве судить о полицейском.

Говорить о весне преждевременно.

О зиме поздно.

О любви — избито.

О дамах — мужья рассердятся.

Совсем не о чем говорить бедному фельетонисту!

Ибо нет в Самаре событий...

14 апреля, № 82.

Умер Карл Карлович Позерн...

Это было так неожиданно, так трагически странно...

За какие-нибудь полтора часа до смерти Карла Карловича, пишущий эти строки, встретив его на улице, говорил с ним, и Карл Карлович был спокоен, даже весел, шутил, и ничто, ни одна черта в лице этого симпатичного и ценного человека, ни одна нота в его голосе не указывала на то, что роковой недуг почти уже довершил свою разрушительную работу и что смеющийся человек через час будет добычей смерти.

Если к смерти может быть применим эпитет хорошей, — Карл Карлович умер хорошей смертью.

Она взяла его прямо с того боевого поста, на котором он в продолжение слишком двадцати лет честно и энергично трудился вплоть до рокового момента, до того вздоха, за которым человек превращается в прах.

Это боевая смерть, смерть мужественного борца, который, даже и чувствуя истощение сил, не хотел оставить своего поста, устал, но все-таки работал...

Много работал Карл Карлович на своем веку, и его есть чем помянуть Самаре.

Он был фактическим основателем Общества любителей изящных искусств, он в течение шести лет много вложил сил в это дело, к сожалению, заглохшее вследствие нашей косности; не меньше их пошло на дела Общества поощрения высшего образования, на Общество трезвости, на устройство народных чтений.

Он был членом чуть ли не пятнадцати думских комиссий; за ним числится двадцать лет юридической практики и пятнадцать лет деятельности на почве городского самоуправления...

Он являлся чтецом и декламатором на филантропических вечерах и народных чтениях; от обсуждения городских дел он, не отдыхая, садился за разбор сложных юридических вопросов; кончив с правом, он шел в клуб канцеляристов читать.

Это была жизнь, полная труда, хорошая жизнь человека, всегда руководившегося принципом и ставившего честь прежде всего!

И вдруг — человека нет больше...

Как искра в сырой мгле осенней ночи, угас ум и чувства, придававшие физиономию каждому слову, движению и взгляду, — исчезли куда-то.

Заунывное, щемящее душу пение говорит о стране «иде же несть болезнь, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная», — и собравшиеся около гроба уважаемого человека люди невольно задумываются об общей всем им участи — уйти со временем в эту таинственную страну из нашей запутанной, сложной, вечно и неустанно движущейся куда-то вдаль жизни, с ее заботами и со всем тем, чем мы, частию по недоразумению, частию по небрежности друг к другу, усложняем ее до такой степени, что иногда сами в

бессилии разобраться в путанице явлений внутри и вне нас, становимся в изумлении, пораженные сложностью ее комбинаций...

Великий, все и всех примиряющий знаменатель жизни, смерть, встает пред нашим духовным взором в своей трагической загадочности, и чувство жуткого страха за наступающий день, быть может, день итога, как бы смягчает нас, делает добрее, заставляет теплее и внимательнее отнестись друг к другу.

Велик по тайне своей момент, переносящий нас из области реальных явлений в область фантастических догадок, в ту бездну бесконечности, которую едва ли когда-либо мы будем в состоянии измерить ничтожной крупицей нашего мозга!

Карл Карлович Позерн теперь — доброе имя, пример энергии и жизнеспособности, образец гражданской стойкости...

А два дня тому назад это был живой человек, с умом, немного скептическим, но ясным, с хорошим знанием жизни и людей, с твердо намеченными целями, с программой жизни, которую он выполнял твердо и неуклонно, как человек сильный и сильно желающий...

Быть общественным деятелем вообще — это крайне не легко; общественная деятельность у нас в России — это чрезвычайно трудно.

Сколько шипов и терний рассыпано по пути человека, идущего своим путем, а не поддающегося силе преобладающего в жизни в данный момент течения...

Самара потеряла в лице Карла Карловича деятеля, которого — да не обидятся на меня за правду — пока некем заместить.

Его знакомые лишились умного собеседника, который говорил немного — ах, это крупное достоинство! — но точно, умно и интересно, и еще они потеряли в лице его человека, который всегда и всякому готов был помочь и словом, и делом...

Умер хороший человек, сошла со сцены большая энергия...

Это грустно и горько, — хорошие люди так редки.

Искренно горько провожать в могилу Карла Карловича, — он еще много мог бы работать, хотя он и много работал и заработался, может быть.

Да будет же мир с ним там, где он теперь!

Вечная память!

21 апреля, № 88.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

(МЕЛОЧИ, НАБРОСКИ И Т. П.)

В сказке Василевского-Буквы один ехидный чорт перепутал буквы в типографских кассах всех типографий.

Он украл из них все гласные и оставил одни согласные.

С тех пор русская печать говорит только согласные:

— Хх... Фф... Пп... Гг...

Печальные сухие звуки, в которых и Эдип ничего не разгадает.

С той поры, как это случилось, прошло много времени, и чорт, довольный своей выходкой, почивал на лаврах до вчерашнего дня...

Но вот вчера другой чорт дернул его подшутить над телефонистками.

Он перепутал у них все проводы, номера, аппараты, абонентов...

И все самарские языки и уши тоже перепутались.

Содом и Гоморра!

Мужа, степенного и солидного, имеющего жену Манечку, зовут к телефону.

Он прикладывает трубку к уху и кто-то поет ему:

— «Манечка, ангел мой!

И сегодня как вчера — я к тебе в окошко влезу».

Муж, сраженный прямо в сердце, лягает телефон и разражается проклятиями и звонит... звонит...

— Соедините меня с женой... Она наверное у... этой... у Степановой.... квартира Степанова... — чорт возьми! Номер...

— Готово!

— Ага, готово? Марья, ты? Свинья! Скотина!

Он не щадит громких слов... Вдруг он слышит:

— Милостивый государь! Вы кто? Кто вы-с? Я хочу знать... кто вы?

— Я? — я муж... Я служу...

— Ах, это вы!

Бедный муж изругал на все корки своего непосредственного начальника вместо своей милой жены.

Ах, сколько вчера было криминальных происшествий!

Звонят в квартиру одного думца... Он дремал, несмотря на то, что был дома, а не в думе.

— А? что? — спросил он в телефон.

— Сидор Карпович! Будьте жалостливы — вонмите! Житья ведь нету нам!

— Кто? Почему?

— Да обыватель я!

— Ну хорошо, хорошо, потом рассмотрим...

И он, отойдя от телефона, пришел в недоумение:

— Как? Обыватель все еще жалуется? Какое упорство! Все еще жив и жалуется! А ведь, кажется, были приняты меры для прекращения его воплей. Как он не устанет жаловаться, этот обыватель?!

И от непривычки к мышлению у бедного думца расстроилось пищеварение.

И еще были события — и несть числа им.

Мужчины, полагавшие, что они говорят с женами друзей своих, откровенно разговаривали с друзьями жен своих...

Женщины, имевшие намерения поговорить с тем, кто им был нужен, говорили со своими мужьями и с другими совершенно бесполезными людьми.

Тещи узнавали секрет своих зятьев...

Секретов было узнано вчера — ужасно много!

Мы, в свою очередь, все их собрали и от времени до времени намерены выпустить для оживления общественной жизни...

Пьерро.

САМАРА ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ

ПИСЬМА ОДНОГО СТРАНСТВУЮЩЕГО РЫЦАРЯ

«Говори с людьми откровенно, говори, — они не заслуживают лучшего...»

Луиза Аккерман.

I

...Прежде всего в Самаре бросается в глаза общий характер ее архитектуры. Тяжелые, без каких-либо украшений, тупые и как бы чем-то приплюснутые дома заставляют предположить, что и люди, живущие в них, тоже тупы, тяжелы и приплюснуты жизнью.

Затем, всматриваясь в прохожих на улице, видишь, что большинство из них представляют собою субъектов, одетых в звериные шкуры, крытые темными сукнами, и что они обладают особого устройства носами, сразу останавливающими на себе взгляд внимательного наблюдателя.

Нервная и подвижная конструкция этих носов, преимущественно больших, острых и всегда что-то озабоченно вынюхивающих, заставляет вас предположить, что вы имеете дело с млекопитающими из породы хищников...

Особо-алчный блеск глаз и острота взгляда поддерживают ваше предположение, и, присмотревшись к действиям и прислушавшись к разговорам сих субъектов, вы, к сожалению вашему, убеждае-

тесь в своей правоте. Затем вам предстоит выбрать одно из двух по вашему усмотрению: или возвратиться вспять туда, откуда вас швырнуло в этот до тошноты правильно распланированный город, или же остаться в нем и ожидать, когда его аборигены обратят на вас внимание и сделают вам честь, — пожрут вас под пикантными соусами клеветы и сплетни.

Здесь, — как и везде, впрочем, — очень любят эти соусы и кушают с ними человека, как в том случае, если он не придется по вкусу, так и в противном.

Пожив некоторое время в этом городе, вы узнаете в нем то же самое, что вы уже знаете о других русских городах: городской бюджет в очень плачевном состоянии, а в думе всем ворочает «его степенство», ворочает очень сильно, когда дело идет о его пользе, а если дело идет о пользе города, то... и тогда не менее сильно ворочает, но тоже в свою пользу.

А иногда «его степенство» вдохновляется честолюбием и начинает ломить уже так, как это делал Крыловский медведь, который, пожелав заняться кустарным промыслом, изломал целую десятину леса в попытке сделать одну оглоблю.

Затем вы, конечно, узнаете, что в городе нехватает учебных заведений, больниц и всего прочего, чего нехватало и во всех тех городах, которые вы имели удовольствие или неприятность посетить ранее Самары. Разница только в том, что Самаре нехватает этого более других поволжских городов.

Она также более грязна, пыльна и пахуча, чем, например, Казань и Астрахань; у нее более скверные мостовые, чем в Нижнем и Ярославле; она более неподвижна и более преисполнена косностью к умственным интересам, чем Симбирск, город удивительно сонный и тихий, точно умирающий от старческого маразма.

Я наскоро перечислил то, чего она имеет более других городов, и весьма возможно, что просмотрел еще несколько ее преимуществ пред ними.

Но это ничего — мы еще сосчитаемся!

А теперь я укажу на то, в чем она равна с другими.

В ней в течение года, до введения винной монополии, выпивалось водки столько же, если не больше, сколько ее выпивает за этот срок Нижний с Кунавиным и ярмаркой, и в ней такие же дикие нравы, как и в столице Башкирии — Уфе. А сколько она пьет водки теперь, я еще не подсчитал.

Засим — она не имеет ни одного порядочного книжного магазина; в тех же двух, что у нее есть, продавцы предлагают вам заменить требуемую вами книгу гуттаперчевым кольцом, которое покупают детям, когда у них режутся зубы, погремушкой или чем-нибудь в этом роде.

У ней есть прекрасная библиотека с каталогом книг, составленным с такой сверхчеловеческой ловкостью, что вы, отыскивая нужную вам книгу, подвергаетесь риску убить на это дело всю вашу молодость, если вы молоды, или проискать книгу до дня вашей смерти, если вам уже лет сорок.

Она не имеет садов, и летом в ней можно вполне свободно задох-

нуться от пыли и жары, если вы не догадаетесь отправиться за город или в Струковский сад, единственное место в городе, заросшее чем-то действительно весьма похожим на деревья, но что, по мнению одного из аборигенов Самары, высказанному им в заседании думы, от дыхания публики подвергается порче и гибели. Следует предположить, что, так как в летние вечера все сто тысяч жителей города собираются в этот сад и дышат там, сад этот, — кстати сказать, кто-то с злобной иронией назвал его лучшим на Волге, — сад этот в скором времени от дыхания посещающей его публики погибнет.

У ней есть каменная набережная, построенная для защиты города от надвигающейся на него песчаной косы. Эта здоровая стена из камня достаточно тверда, и я уверен, что она неподвижно будет стоять на своем месте и тогда, когда пароходные общества, убегая от налагаемой на них городом береговой контрибуции, переведут свои пристани в Рождествено... и тогда, когда сама Волга удерет от Самары...

Еще в городе есть театр, красное здание очень занимательного архитектурного стиля, напоминающего о тех картонных домиках, которые делают бедные вдовы для продажи детям.

В этом театре в узаконенное время играет труппа людей, более или менее смело называющих себя артистами. В истекший сезон некоторые монстры, никому неизвестные, как артисты, но вполне обладавшие смелостью, достаточной для того, чтобы изображать из себя артистов, переряжаясь в разнообразные костюмы и в них выступая перед публикой, произносили разные слова, из чего самарская публика несколько поспешно и с большим добродушием заключила, что это они «играют». Они благополучно играли с публикой и авторами пьес почти весь сезон, затем один из них поссорился с антрепренершей, не уступившей его желанию дважды получить с нее одни и те же деньги, и потом они скрылись, не особенно надоевши городу, что вышло только потому, что сезон был очень краток. Когда они уезжали, никто не плакал о них, кроме нескольких психопаток и, быть может, еще квартирохозяев этих господ, если эти господа не заплатили им денег...

Театром заведует театральная комиссия, которую дума выбрала не столько для этой именно цели, сколько для своего развлечения, как кажется. Ей, думе, очень нравится самый факт существования комиссии, ей нравится комиссия, так сказать, как субстанция.

И некто так объяснял мне причины возникновения комиссии.

— Большинство думы — «их степенства». В массе их торчат несколько и интеллигентов и весьма часто очень ощутительно заявляют о своем существовании. Это не может нравиться действительным отцам города, потому что не может не мешать им в городском хозяйстве. И вот, желая локализовать деятельность интеллигентов, решили как-нибудь их утихомирить, а для сего и рассовали в разные премудрые комиссии, желая отягчить их трудом настолько, чтобы они потеряли охоту к разным выспренним мечтам. Пусть они утомятся и несколько ослабеют... Тогда будет покойнее.

В сих якобы видах основана и театральная комиссия.

Как человек, недавно сюда прибывший и еще не принюхавшийся

к тутошным делишкам, не рассмотревши их тайных пружин, я, конечно, не могу утверждать только со слов г. некто, что все сказанное о комиссиях — настоящая правда.

Но я ничего не имею против того, если бы было это правдой. Это — умно, если это правда, а я всегда с большим любопытством отношусь ко всевозможным проявлениям человеческого ума — от индусской философии до клеветы из-за угла включительно.

Затем в Самаре нехватает... полиции. Я бы не решился ни слова сказать об этом, но чувствую себя не в праве смолчать, ибо слышал от обывателей очень много горьких и искренних жалоб на этот, по их словам, самый существенный недостаток города. Они находят, что существование их при данном объеме штата полиции — очень дрянное существование. По их мнению, они чувствуют себя совсем не обеспеченными как в смысле ограждения частной собственности, так и в смысле охраны личной неприкосновенности.

Без опеки будочников они не считают себя способными разобраться в том, что мое и что твое, а также не могут устоять против искушения дубасить друг друга, чем и по чему попало. В городе в силу недостатка полиции образовался даже некоторый военный орден, нечто вроде Ассассинов, действовавших в Сирии во времена крестовых походов.

Члены этого ордена или секты именуют себя «горчишниками» и, как Ассассины, очень любят калечить и увечить христиан, если таковые попадают им в руки. Чем вызвано такое отношение сих еретиков к православному населению Самары, — мне неизвестно.

Существует также в Самаре дом трудолюбия, и, как везде, лица, желающие труда, не находят себе в нем места, ибо он слишком скромен по своим размерам. Известно, что все хорошее может прививаться у нас только в скромных размерах.

Ночлежный дом в Самаре есть, но он так мал, что его будто бы и нет. Сие весьма нехорошо, в виду того, что летом в этот город съезжается масса рабочего народа и много его остается зимовать. Летом все эти люди с большим удобством спят в грязи на набережной, но я не думаю, чтобы зимой они с таким же удобством могли спать в снегу, который, как известно, несмотря на его преимущество перед грязью в смысле чистоты, во многом уступает ей в смысле тепла...

В то же время в городе существует очень много людей, обладающих миллионными состояниями, нажитыми от трудов праведных, от которых, по пословице, нельзя нажить именно и только домов каменных. Пословица ничего не говорит о невозможности нажить от трудов праведных миллионы, и таким образом я могу думать, что самарские богачи нажили сначала миллионы, а потом уже стали строить неуклюжие каменные дома; и, думая так, я совершенно уничтожаю возможное подозрение местных богачей в том, что их каменные дома есть результат их неправедных трудов.

Но я не могу уничтожить собственного моего недоумения при виде некоторых несообразностей в бытии богачей и их богатств. Я не хочу, конечно, говорить о том, что если б миллионеры были добрыми христианами, они выстроили бы городу и ночлежный дом, и дали

бы ему несколько школ, и озаботились бы расширением деятельности дома трудолюбия, — одним словом, сделали бы все то, что повелевает делать человеку долг христианина и гражданина, любящего свою родину. Я не говорю о всем этом, — «камень стрелять — только стрелы терять».

Я также ничего не упомяну и о смерти, одинаково равнодушно собирающей с земли и отправляющей в землю и миллионеров, и богачей, и фельетонистов. Я не распространяюсь и на тему о том, куда денутся эти миллионы после смерти их обладателя.

Я знаю, что они при жизни его никому не приносят пользы и ему самому ничего, кроме забот, не дают; знаю, что наследники миллионера растранжирят его денежки самым глупым образом, и знаю, что все это в порядке вещей.

Деньги сами по себе глупы, они только тогда имеют смысл, когда на них приобретаешь что-либо — кусок хлеба или почет и славу филантропа, — все равно. И меня повергает в недоумение миллионер, восседающий на своем сундуке с деньгами. И он, и деньги совершенно бесполезны для жизни: он умрет, они растратятся, и ни о нем, ни о них не останется никакого воспоминания, лестного для него или облагораживающего их.

И в то же время жизнь во многом нуждается...

Бесполезные миллионы могли бы дать ей много полезного, — все эти школы, ночлежные дома и так далее.

Я не боюсь показаться наивным и спрашиваю в пространство:

— Какой смысл и цель нажить кучу денег и умирать над ними с тоски, безвестно, одиноко, глупо умирать, имея возможность жить и жить давать другим?

...Но я, кажется, уклонился от своей главной темы — описания Самары и ее прозябания.

Извиняюсь. Это уж такая, знаете, образовалась привычка дрянная у человека — уклоняться от главного.

И если бы каждый из нас посмотрел на самого себя очами своей совести, он увидал бы, что весь его жизненный путь, со дня рождения и до сего дня, есть сплошное уклонение от главного.

А если раз человек уклонился от истинного пути своего, ему грозит опасность заплутаться и погибнуть на ложном пути...

Я не хочу этого и откладываю до следующего раза мое описание.

II

Жителей в Самаре немного более 100 000, из них около 8000 грамотных, — а остальные еще не имеют желания знать таковую.

Грамотные люди читают две местные газеты, и даже пишут в них... опровержения; некоторые, впрочем, еще не написали, но уже собираются. Вообще, местный обыватель очень капризно, а иногда и подозрительно относится к газетам.

Сообразно со своим настроением он то требует, чтобы газеты были серьезны, то ищет в них веселой игривости, то хочет, чтобы они его научили чему-нибудь хорошему и полезному, — но крайне трудно определить его взгляд на хорошее и полезное.

Так, например, с точки зрения многих обывателей, фабрикация фальшивых кредитных билетов очень полезное дело, — но развитие его не входит в задачи прессы. Не менее полезна и заливка резиновых галош, — но газета не считает себя компетентной в этой отрасли труда и не может преподать никаких указаний по этому поводу.

Полезного на свете очень много, можно даже сказать, что за исключением самого человека на свете все более или менее полезно, но, к сожалению, человек в Самаре — как и везде, впрочем, — до сей поры еще не успел определить, что именно прежде всего полезно ему? И его запросы к газете в этом отношении носят все еще детски-капризный характер.

Не лучше обстоит дело и с его спросом на хорошее: сегодня сей полагает, что хорошее — это теория марксистов и оперетка, а завтра он стоит за возрождение идеализма и за необходимость снова разрешить Портнову открытие «Москвы»; в то же время другой — сегодня полагает, что хорошее — это проповедь гуманизма в отношениях ко всем людям, кроме евреев, тогда как вчера он говорил о необходимости бичевать людей за пороки, с тем, однако, чтобы самого его не подвергать такой операции.

И вообще, помимо того, что понятия о хорошем и полезном у всех очень спутанны и непримиримы, каждый понимает хорошее и полезное, как нечто различное, и ежедневно меняет свой взгляд на эти понятия.

За невозможностью удовлетворить сразу все вкусы всех своих читателей, местные газеты стоят, по отношению к грамотному люду, в оборонительном положении, всегда ожидая, что на них со всех сторон посыплется целый фейерверк возражений, опровержений и «нескольких слов по поводу», — где автор этих слов обыкновенно без всякого повода превосходно перевирает сообщение газеты, вызвавшее его слова, уже называет всех газетчиков клеветниками, убийцами его чести и прочими, не менее сладкозвучными эпитетами.

Читает обыватель также и книги из библиотеки и даже делает на них разные мудрые и краткие пометки карандашом, что должно свидетельствовать о полноте интереса к книге со стороны читателя. Книги читаются все, какие есть налицо, — и, очевидно, никто не подозревает, что в России существует очень много книг, которых нет в Самаре, и что количество их ежедневно увеличивается. Раньше дело выписки новых книг для пополнения библиотеки лежало на особом комитете, в состав которого, — если не ошибаюсь, — входил один рыболов. Рыболов любил выуживать из каталогов книги с длинными заголовками, полагая, что они-то и есть самые икряные; салоторговцы говорили, что нужен Поль-де-Кок, Боло и другие писатели по сальной части, а мукомолы совершенно отрицали выписку книг, находя, что в них мелют одну только чушь. Ныне состав этого комитета несколько изменен, вошли новые члены и можно надеяться... хотя я не могу не заметить, что привычка человека всегда на что-нибудь надеяться очень дурно влияет на его жизнедеятельность и что, если б положение людей было безнадежно, —

это наверное пробудило бы их энергию. Ибо ничто так не возбуждает энергию человека, как страх за целость его шкуры, на что указывает тот факт, что страх увеличивает силы человека, придает ему крылья, что в моменты опасности человек становится очень изобретательным и так далее.

Кстати сказать, что меня всегда удивляет, так это то, что человек, утопая в чистой воде реки, борется с нею более энергично, чем с грязью, в которой он утопает всю жизнь изо дня в день.

Единственно, чем я могу объяснить этот странный факт, так это только привычкой человека к грязи, которую он, очевидно, уже считает своей родной стихией, и может быть тем еще, что в грязи он утопает слишком медленно и поэтому, должно быть, не замечая своей гибели, остается пассивным, тогда как в воде он погибает в несколько минут. Для проверки моего предположения не мешало бы произвести такой опыт: взять человека и постепенно, помаленьку, в течение, например, трех дней опускать его в реку — будет ли он протестовать против этого?

Если будет, то ему следует поставить вопрос: почему он не хочет утонуть в чистой воде, а предпочитает без всякого протеста быть засосанным грязью?

Но я отвлекся...

Читают местные грамотные люди книги самого разнообразного содержания, и единственный результат их любви к чтению, замеченный мною до сей поры, был тот, что однажды в местной газете я прочитал заметку, в которой с торжеством объявлялось, что в течение года Толстой был взят 5 раз, Достоевский 6 раз, а Болеслав Маркевич или кто-то другой в этом роде 20 раз и Монтепен 99 раз. Больше мне неизвестно никаких результатов, проистекающих от чтения книг самарской публикой...

Здесь есть также несколько клубов. Первенствует Дворянское собрание — в нем почтенные отцы семейств играют в винт и безик с 9 вечера до 4 и 5 утра; причем иногда ругаются.

За ним следует Коммерческий клуб, где не только играют и ругаются, но иногда даже и дерутся.

Самым же живым клубом является клуб канцеляристов, в котором и играют, и ругаются, и дерутся, и пьют одновременно и с удивительной энергией, — что объясняется, конечно, тем, что этот клуб еще молодой и члены его — люди тоже преимущественно молодые.

Следует впрочем заметить, что с некоторых пор клуб канцеляристов вступает на стезю благолепия и благочиния. В нем образовались стремление к просвещению и течения к развлечениям радушным и воспитывающим. Среди членов клуба большинство людей женатых, и это обстоятельство повело к образованию кружка любителей драматического искусства. К делу привлечены и дамы, и дело это, говорят, сильно способствует упрочению семейных уз. Вместо того, чтобы, как прежде, устраивать друг другу сцены дома, — ныне супруги по взаимному между собою соглашению устраивают сцены клубной публике. Публика смотрит и поучается.

Затем в Самаре есть несколько обществ, преследующих самые

разнообразные цели, — от развития трезвости до поощрения высшего образования. Председателем всех местных обществ состоит человек, который видит свое земное назначение именно в председательстве и с этой целью он устраивает ежегодно по три и по четыре новых общества. В виду громадности его деятельности, таковая может быть оценена по заслугам только после его смерти, и мне говорили, что в городе есть масса людей, готовых с полным удовольствием и хоть сейчас написать хвалебный некролог этого деятеля.

Что же касается до деятельности самих обществ, то она мне неизвестна в виду малого времени моего пребывания в сем городе. Говорят, что более других продуктивно действует общество трезвости, сильно сокращающее потребление водки в Самарской губернии. По данным казенного винного склада видно, что в течение 1895 г. выпито водки на 6 миллионов.

Материальные средства всех обществ составляются из членских взносов, пожертвований и доходов от вечеров с танцами — как и везде... Танцуют здесь преимущественно в трезвом виде, почему тяжелых увечий дамам во время танцев не наносят, а на легкие повреждения дамы, вследствие долголетней привычки, не обращают внимания.

Существует в городе конно-железная дорога, в чем можно убедиться даже и не въезжая в город, ибо кондуктора вагонов во время рейса до такой степени усердно звонят в колокола, что это слышно даже в Симбирской губернии, хотя столь оглушительный звон и не мешает попадать под колеса вагонов тем из обывателей, которые находят в этом удовольствие.

Конка дает некоторым именитым гражданам привилегию бесплатного проезда по ней во все концы России по воде и суше вплоть до успокоения граждан в лоне Авраамлем. Кажется, именно за это она пользуется привилегией не платить ни гроша за место, занятое ею под свой парк, но, как говорят, обязана брать себе лошадей у известного лица и по известной цене, не ниже 1 р. 15 к. и не выше 2 р. 70 к. за голову.

Само собою разумеется, что при такой цене лошади не отличаются особенной красотой, резвостью и силой, так что был случай, когда поставщик их, видя, что проданная им кобылка ста семи лет отроду вагона везти не в состоянии,—вылез из своей коляски и сам впрягся в помощь ей, и не смущаясь тем, что он хорошо известен городу, вез вагон от Панской улицы до думы, куда и ушел, выпрягшись из упряжи.

С удовольствием отмечаю факт такого гуманизма, ибо твердо помню: «Блажен, иже и скоты милует». Помню это и больше не скажу ни слова о поставщике лошадок для конно-железной дороги.

По установившемуся в стране нашей обычаю, в каждом из городов ее есть, так называемая, интеллигенция, — и изображение того, какова она в Самаре, я незлобиво и кратко дам в следующей за сим главе повести моей.

Прошу читателя моего не сердиться на меня за штрихи неясные,— буде таковые я сделаю, и за портреты верные, буде таковые я нарисую...

И прошу не заподозрить меня в неискренности писания моего; нет у меня здесь врагов, которым я хотел бы мстить, — и друзей, которым мог бы я мирволить, не имею здесь.

«Пишу, не мудрствуя лукаво»... И не столько ради чьего-либо поучения пишу, сколько ради того, что сие есть потребность бродячей натуры моей.

А также и потому еще пишу, что люблю иметь дело с бумагой, потому что она всегда чище людей.

Дон-Кихот.

«Самарская газета», 1896, № 47, 28 февраля, № 59, 13 марта.

КОММЕНТАРИИ И ПРИМЕЧАНИЯ[1]

Сост. К. МУРАТОВА

МЕЖДУ ПРОЧИМ

(МЕЛОЧИ, НАБРОСКИ И Т. П.)

1895 год

1

Конно-железная дорога, открытая в Самаре 9 июля 1895 г., была злобой дня города. В отделе хроники местных газет почти ежедневно сообщалось о неполадках на конке, злоупотреблениях администрации, эксплоатации кучеров, дурном обращении с пассажирами и т. д. Сведения о конке в фельетонах Иегудиила Хламиды, — живого свидетеля ее многочисленных недостатков, — часто совпадали с отделом хроники «С. Г».

2

Отсутствие забот *о гигиене и благоустройстве города* — наиболее частая тема как местной хроники в газете, так и фельетонов «Между прочим». 18 июля 1895 г. городская управа поставила вопрос о замощении Дворянской — главной улицы города («С. Г.», № 154, 20 июля). Однако домовладельцы нарушали указания специальной комиссии по замощению улиц, устраивая вместо каменных— кирпичные тротуары, употребляя вместо гальки—песок и т. д. Не выполняли обязательного постановления и сами члены управы. О привлечении нарушавших постановление к суду Иегудиил Хламида говорит в фельетоне № 41.

Неполадки на пароходах также частая тема самарских газет. Фельетон Иегудиила Хламиды совпадает с заметкой «С. Г»., № 149, 14 июля.

Константин Кауфман — Кауфман Константин Петрович (1818—1882), генерал-адъютант, начавший свою военную карьеру на Кавказе, один из видных представителей колониально-завоевательной политики царизма в Средней Азии.

Сафир Моисей (1795—1858) — немецкий юморист и поэт. На русский язык переведены «Избранные мысли Сафира под ред. П. Вейнберга», СПб., изд. Я. Бермана, 1893 (Европейская библиотека, № 2). Иегудиил Хламида имеет в виду следующее рассуждение Сафира: «Англичане всего счастливее, когда они несчастны, ирландцы всего спокойнее, когда волнуются, русские всего более чувствуют себя дома, когда путешествуют, немцы всего сильнее ощущают жажду, когда они пьют, французы всего невежественнее, когда они всему учились, а женщинам — этой своеобразной нации — всего более хочется говорить, когда они наговорились уже досыта!» (стр. 26).

---

[1] В комментариях вскрываются намеки на факты местной жизни, использованные в фельетонах М. Горького — Иегудиила Хламиды, а также указываются источники, откуда эти сведения могли быть им заимствованы.

Основной материал о «происшествиях» в Самаре давала местная хроника, которая занимала в «Самарской газете» значительное место и наряду со скупыми репортерскими сведениями нередко помещала развернутые сценки. Часто используются в «Между прочим» отчеты обществ и думских заседаний. Случаи, когда сведения, сообщаемые М. Горьким, не совпадают с отчетами, нами оговариваются особо (отдельные заседания М. Горький посещал сам, часть сведений он мог получить от своих близких знакомых — гласных К. К. Позерна и А. А. Смирнова). Помимо этих сведений материалом для фельетонов служили письма в редакцию, а также факты, собранные самим фельетонистом (условия работы на железной дороге и фабричных предприятиях, положение школ в городе, больничные порядки и т. д.). — Везде в комментариях «Самарскую газету» обозначаем условным сокращением «С. Г.»

3

В фельетоне Иегудиила Хламиды использована заметка «Кучера конки», сообщавшая о невыплате жалованья кучерам и кондукторам, привлекаемым еще и в качестве даровой физической силы при частом схождении вагонов конки с рельс («С. Г.», № 151, 16 июля).

4

Статья *Вл. Соловьева* «Враг с Востока» опубликована в «Северном вестнике», 1892, № 7.

О песчаных заносах в Новоузенском уезде сообщалось в хронике «С. Г.», № 148, 13 июля.

Волынский (Флексер) Аким Львович (1863—1926) — литературный критик, искусствовед, один из идеологов русского модернизма. С 1889 г. сотрудник, а затем редактор «Северного вестника». В 1893—1895 гг. в журнале печатались полемические статьи Волынского, направленные против критиков-публицистов: В. Белинского, Н. Добролюбова, Д. Писарева и др. В 1897—1898 гг. Горький участвовал в «Северном вестнике», опубликовал там рассказы: «Озорник», «Мальва», «Варенька Олесова». Сохранилась переписка Горького с А. Волынским.

Томашев колок — непорядки в лечебнице душевнобольных, расположенной в 8 верстах от Самары, неоднократно служили темой фельетонов «Между прочим». Сведения о больнице, повидимому, сообщал Горькому один из ее служащих.

5

С 16 по 21 июля 1895 г. в Самаре состоялись гастроли оперного товарищества под управлением *Н. В. Унковского* с участием известного певца Жюля Девойда. Были показаны «Маккавеи» Рубинштейна, «Африканка» Мейербера, «Тангейзер» Вагнера, «Самсон и Далила» Сен-Санса, «Риголетто» Верди. 19 июля шла сцена из «Карла Шестого» Галеви и «Фауст» Гуно. Ария Валентина «Бог всесильный, бог любви» была опущена при исполнении оперы. Оценка спектакля Иегудиилом Хламидой совпадает с мнением анонимной статьи отдела «Театр и зрелища» («С. Г.», № 153, 19 июля).

6

Струковский сад — городской парк на берегу Волги, место вечерних гуляний самарских жителей. В путеводителях по Волге указывалось, что «Струковский сад — единственное убежище от самарской пыли» и что его «безошибочно можно назвать «легкими Самары» (Монастырский С. Иллюстрированный спутник по Волге. Казань, 1884).

«Новое слово» — научно-литературный и политический журнал без предварительной цензуры, издававшийся в 1894—1895 гг. И. А. Баталиным. В виду полного неуспеха у читателей «Новое слово» было продано известной книгоиздательнице О. Н. Поповой, превратившей этот умеренный и бесцветный журнал в орган народничества. Позднее, в марте 1897 г., «Новое слово» перешло к группе «легальных марксистов». Горький принял активное участие в реорганизованном журнале, напечатав в нем рассказы: «Коновалов» и «Бывшие люди».

Думские комиссии — все сложные и спорные вопросы обычно передавались городской думой в специально организованные комиссии, в состав которых входили одни и те же члены. Разрешение большинства вопросов тянулось годами.— См. фельетон № 84.

7

Бесплатные жетоны на проезд в конке были выданы служащим городской управы.

Заменить башкирок коровами — заметка о непригодности малорослых и слабосильных лошадей-башкирок для конок опубликована в «С. Г.», № 156, 22 июля.

«Общество взаимного вспомоществования учащим и учившим» было организовано в Самаре в мае 1895 г. под председательством Н. М. Федорова, инициатора большинства обществ Самары. От имени общества было опубликовано обращение к торговым предприятиям с просьбой предоставить скидку его членам. В газете сообщались адреса магазинов, согласившихся обслуживать общество по удешев-

ленным ценам («С. Г.», № 137, 29 июня). Однако эти обещания не выполнялись. Позднее на просьбу общества откликнулась одна фирма, просившая не предавать это соглашение гласности («С. Г.», № 186, 29 августа).

8

Пино и Аткинсон — крупные европейские парфюмерные фирмы.

«Китайцы... решили призвать к себе на помощь» — намек на японско-китайскую войну 1895 г.

Вальтер-Скотт (1771—1832) — известный английский писатель, мировую славу которому создали его исторические романы.

«Хижина дяди Тома» — повесть из жизни негров американской писательницы Гарриэт Бичер-Стоу (1811—1896).

Поль де Кок (1794—1871) — французский писатель, продолжатель традиций фривольной литературы XVIII века.

Гюи де Мопассан (1850—1893) — известный французский писатель, первые переводы произведений которого появились в России в 80-е годы в «мелкой» прессе: иллюстрированных журналах и газетах. В представлении обывателя Гюи де Мопассан был писателем «легкого жанра».

Зенд-Авеста (или Авеста) — священная книга древних персов (Иран).

Понсон дю Террайль Пьер Алексис (1829—1871) — французский писатель, автор многочисленных уголовных романов.

Верн Жюль (1828—1905) — известный французский писатель, автор научно-фантастических романов-путешествий.

Стивенсон Роберт (1857—1894) — английский писатель, автор фантастических романов.

Теннисон Альфред (1809—1892) — известный английский поэт.

9

Оркестр *Мраза* выступал около двух лет в Самаре. Плохой выбор музыкальных произведений и не менее плохое исполнение вызывали негодование самарских жителей. В январе 1896 г. на заседании думы ставился специальный вопрос об оркестре Мраза и было решено предложить новому арендатору Струковского сада пригласить новый оркестр. В августе в Самаре выступал златоустовский оркестр Меттеля, получивший одобрительную оценку местной печати. — См. также фельетон № 24.

10

Об эпизоде напечатания *стихотворения Скукина* Горький вспоминает в статье «В. Г. Короленко» (Горький М. Собрание сочинений, т. XXII, М.—Л., ГИХЛ, 1933, стр. 135—136). Фельетон Иегудиила Хламиды получил отрицательную оценку В. Г. Короленко (Короленко В. Избранные письма, т. III, М., «Худож. литература», 1936, стр. 103).

Леонов Максим Леонтьевич (р. 1872) — писатель-самоучка.

Слово-Глаголь (Гусев Сергей Сергеевич, р. 1854) — известный фельетонист; в 1895 г. — сотрудник «С. Г.», предшественник Горького по фельетонам «Между прочим». В июле 1895 г. стал постоянным сотрудником «Одесских новостей», изредка посылая в «С. Г.» фельетоны «Наши дела и безделье».

11

Борхгревинк Карстен (р. 1864) — норвежский путешественник, исследователь антарктических стран, автор книги «First on the Antarctic Continent», 1901. В 1894—1895 гг. Борхгревинк посетил на китобойном судне «Antarctic» Землю Виктории. Фельетон Иегудиила Хламиды использует заметку «Нового времени» (1895, № 6967, 23 июля) об открытии шестой части света Борхгревинком, сделавшим сообщение об этом на заседании Международного географического конгресса в Лондоне. Корреспонденция была перепечатана в «С. Г.», № 160, 28 июля.

«Московские ведомости» — одна из наиболее реакционных монархических газет, редактировавшаяся в 90-х годах С. А. Петровским.

Ашинов Николай Иванович — авантюрист 80-х годов. Посетил в 1883 г. Абиссинию, выдавая себя за представителя России. Вернувшись в Россию, организо-

вал отряд добровольцев и в 1889 г. пытался основать русско-африканскую колонию в Таджурском заливе. Ашинов захватил часть французской колонии, был задержан там и передан русскому правительству. «Экспедиция в Абиссинию» наделала много шума в печати.

О бесчинствах *горчишников*, нападавших на прохожих, сообщалось в заметке «Еще о горчишниках» («С. Г.», № 159, 27 июля).

Горчишники — хулиганы Самары. В статье об Иегудиле Хламиде («Штурм», Самара, 1932, № 8—9) А. Треплев (А. А. Смирнов), сотрудник «Самарской газеты» 90-х годов, сообщает о происхождении этого наименования: «Горчишниками в дореволюционное время называли потомков первоначальных засельщиков городка, занимавшихся, как гласит старинный документ, «сверх мастерств своих скотоводством и всажением на дачах своих арбузов, дынь, перцу, луку и огурцов». В частности от «всажения» стручкового перцу, который в толченом виде употребляется как приправа к кушаньям и назывался тогда горчицей, огородники, отличавшиеся буйным нравом... — и получили не лестную кличку горчишников. Позднее так стали звать молодых ребят слободских — детей огородников, ломовых извозчиков, мелких домовладельцев... Горчишник признавал власть предержащую, в редких случаях вступая в открытый конфликт с полицией. У него была другая «идея»: непримиримая ненависть к культуре. Хулиган бьет без разбора, кто подвернется. Горчишник бьет специально «образованных», учащихся — студентов, гимназистов, боявшихся показываться на окраинах или на реке, «на лодках».

В своих фельетонах Иегудиил Хламида часто возвращался к «горчишникам», отмечая отсутствие борьбы с развивающимся хулиганством как у полиции, обычно отказывающейся оказать помощь населению, так и у местного общества, не ведущего культурной работы на окраинах города. Фельетонист писал о необходимости создания народного театра для горчишников и принимал активное участие в его организации. — См. также фельетоны № 28, 32.

Сообщение о «*пальбе по пароходу «Миссури»* возле Сызрани заводовладельцем Ратушковым опубликовано в местной хронике «С. Г»., № 160, 28 июля.

Буссенар Луи и *Жаколио* Луи (1837—1890) — французские писатели, авторы многочисленных приключенческих романов.

В фельетоне Иегудиила Хламиды использован отчет о заседании уездного *комитета трезвости*, сообщавший, что «по представлению земского начальника 5-го участка г. Постникова разрешено открыть в с. Кобельмах дешевую народную чайную с устройством при ней, в виде опыта, кегель-бана, ассигновано на это сто рублей» («С. Г.», № 161, 29 июля). — О том же см. фельетоны № 14, 120, 137.

12

С 1 января 1895 г. была введена в виде опыта казенная *винная монополия* в четырех губерниях: Пермской, Уфимской, Оренбургской и Самарской. Газеты часто останавливались на злоупотреблениях в винной монополии. После пятимесячной торговли вином были подведены первые итоги «опыта» в Самарской губернии. Иегудиил Хламида в своем фельетоне использует заметку местной хроники «Роль грошей» («С. Г.», № 161, 29 июля). — См. также фельетон № 24.

О питейном доме как своеобразном клубе говорила и редакционная статья «С. Г.», № 197, 14 сентября.

13

В фельетоне использованы заметки отдела «Поволжские вести» газеты «*Волгарь*», № 200, 203, 24 и 27 июля.

14

В 90-е годы в Самаре было организовано несколько *обществ*: «Общество взаимного вспоможения приказчиков» (1893), «Общество канцеляристов» (1894), «Общество трезвости» (декабрь 1894 г.), «Общество велосипедистов» (1895), «Общество взаимного вспомоществования учащим и учившим» (1895), «Общество книгопечатников» (июнь 1895) и др. Горький внимательно следил за деятельностью этих обществ, отмечая в своих фельетонах отсутствие солидарности у их членов и равнодушие широкой публики к целям и задачам обществ. В фельетоне Иегудиил Хламида использует отчеты о заседаниях уездного комитета трезвости («С. Г.»,

№ 161, 29 июля; см. также фельетон № 11), «Общества книгопечатников» («С. Г.», № 163, 1 августа), а также «Письмо правлению Общества взаимопомощи книгопечатников» А. Александровского («С. Г.», № 165, 3 августа).

Молгачисты — см. примечание к фельетону № 25.

16

Сфинкс — псевдоним А. Клафтона, сотрудника «Самарского вестника». Горький имеет в виду фельетон Сфинкса «Мелочи обывательской жизни» («Самарский вестник», № 166, 4 августа).

А еще Сфинкс говорит о «настоящих литераторах» — в конце 1895 г. группа основных сотрудников «С. Г.», отказавшись от сотрудничества в газете, стала работать в «Самарском вестнике», который начал уделять значительное внимание общественно-политическим вопросам и публиковать на своих страницах отдельные статьи марксистов. Газеты часто полемизировали друг с другом.

Перепечатка передовиц из «Московских ведомостей» — в «Самарском вестнике», № 145, 9 июля была перепечатана вторая часть передовой статьи «Московских ведомостей» — «Одна из нужд местного управления». Фельетон Горького вызвал ответные статьи «Самарского вестника»: Реутовского Н. К. «Pro domo sua» (№ 169) и Сфинкса (Клафтона) «Кое-что о произрастании литературы в г. Самаре» (№ 171).

Рассуждения об экономическом материализме Каутского — рецензия М. Ан-на а книгу К. Каутского «Возникновение брака и семьи» опубликована в «Самарском вестнике», № 165, 3 августа.

18

В фельетоне использован ряд заметок, опубликованных в местной хронике, о непорядках *на пароходах* волжских компаний — «С. Г.», № 168, 6 августа.

19

«Веселенькая петербургская штучка» — Горьким использована в фельетоне статья Скептика «Вслух» («Гражданин», № 211, 3 августа), по поводу предложения Дамского клуба ввести в жизнь отпускные билеты мужьям.

20

Зимний театральный сезон в Самаре начался 17 сентября, — см. примечание к фельетону № 25.

22

О столкновении пароходов *«Король»*, *«Боярин»* и *«Надежда»* сообщалось в хронике «С. Г.», № 174, 13 августа. В фельетоне также использована заметка «С Вятки» из «Волжского вестника», № 196, 9 августа.

Село *Рождествено* расположено на берегу Волги против Самары; входило в Симбирскую губернию.

24

Письмо *лавочника Васильева*, скупщика краденого, опубликовано в заметке о его самоубийстве в «С. Г.», № 179, 20 августа.

О мертвых или хорошо, или ничего — перевод латинской поговорки: de mortuis aut bene, aut nihil.

О винной монополии в Самарской губернии — см. примечание к фельетону № 12.

Об оркестре Мраза — см. фельетон № 9.

О поездке думской комиссии 17 августа для осмотра песчаных отмелей на Волге сообщалось и в местной хронике «С. Г.», № 178, 179, 19—20 августа.

25

Гатлер — арендатор Струковского сада в 1895 г.

Городской театр Самары открылся в сезон 1888/89 г. При постройке театра были допущены крупные злоупотребления, заставившие городскую управу откладывать рассмотрение отчета ревизионной комиссии о постройке на ряд лет. В 1894—1895 гг. театр арендовала вдова гласного города артистка-любительница Е. В. Молгачева, заботившаяся в первую очередь о прибыли, а не

о художественной стороне организуемого ею дела. Специальная театральная комиссия городской управы неоднократно протестовала против антрепризы Молгачевой, указывая на слабый состав труппы, небрежное оборудование сцены, плохой репертуар, постоянное затягивание спектаклей, повышение цен на билеты и нарушение ряда пунктов заключенного контракта (см. фельетон № 72). Однако в управе нашлось много сторонников Молгачевой, друзей ее мужа, и никаких мер к улучшению театрального дела в Самаре принято не было. Вопрос об антрепризе 1895/96 г. горячо обсуждался самарским обществом. Театр и на этот раз был сдан Молгачевой при участии артиста А. П. Грубина. (Состав новой труппы опубликован в «С. Г.», № 175, 15 августа.) Театральный сезон открылся 17 сентября постановкой пьесы А. Сумбатова и Вл. Немировича-Данченко «Соколы и вороны». Иегудиил Хламида поместил в «Между прочим» ряд отзывов о постановках театра (см. фельетоны № 38, 48, 50, 53, 67, 72, 75, 86, 92), отмечая плохой репертуар и скверную игру артистов, из числа которых самарская пресса выделяла только артистов А. А. Лодину и А. П. Грубина.

Монтекки и Капулетти — два враждующих рода в трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта».

27

«Будь что будет...» — цитата из стихотворения Д. Мережковского «Парки».

28

В фельетоне *о горчишниках* Иегудиила Хламиды использована заметка «Избиение гимназистов горчишниками» («С. Г.», № 186, 29 августа), сообщавшая о нападении 20 мальчиков окраины под предводительством взрослого горчишника на гимназистов первых и вторых классов. О горчишниках см. фельетоны № 11, 32.

Горький неоднократно говорил о необходимости организации культурных развлечений для жителей окраин города. *Народный театр* в Самаре был организован в сезон 1894/95 г. А. А. Смирновым с группой сотрудников «С. Г.» и при участии семьи Позерн (см. статью А. Треплева (А. Смирнова) «Иегудиил Хламида» в журнале «Штурм», Самара, 1932, № 8—9, стр. 12). Фельетон Иегудиила Хламиды вызвал ответное письмо одного из горчишников, — см. фельетон № 32.

«Дикари русского Чикаго» — Самара, став губернским центром, быстро превратилась в крупный торговый город, часто называвшийся русским Чикаго.

29

«Волгарь» — газета, издававшаяся и редактировавшаяся в Нижнем-Новгороде с 1892 г. С. И. Жуковым. В 1893 — 1894 гг. Горький опубликовал в газете несколько рассказов и свою первую повесть «Горемыка Павел».

Об *обществе книгопечатников* — см. фельетон № 14.

30

«Маиоров» посетил также и редакцию «Самарского вестника», жалуясь на фельетониста «С. Г.»: «Я просил Хламиду прописать эту барыню, а он ошельмовал меня». Сфинкс (Клафтон) в своем фельетоне о Маиорове «Самарские панорамы (Интересное насекомое)», взяв под защиту фельетон Иегудиила Хламиды («Самарский вестник», № 194, 10 сентября), сообщил и настоящую фамилию жалобщика — податного инспектора Новоузенского уезда Майоронова.

31

Фельетон Горького *«Несколько теплых слов»* напечатан в «С. Г»., № 124, 14 июня.

33

О приезде в город *двух лилипутов* «С. Г.», № 201, 20 сентября писала: «Маркиза Луиза, якобы датчанка, родилась в Самаре в 1866 г... Таким образом, Самара в лице «маркизы Луизы» может приветствовать свою землячку. Если в других городах были великие люди, то мы можем гордиться тем, что у нас самые маленькие». Биография лилипутов напечатана в «Самарском вестнике», № 202, 21 сентября.

34

Сценка написана на основе заметки в местной хронике «С Волги» («С. Г.», № 194, 10 сентября).

36

См. фельетон № 29.

38

Театральный сезон открылся в Самаре постановкой пьесы «Соколы и вороны» А. Сумбатова и Вл. Немировича-Данченко и водевиля «И ночь... и луна... и любовь» Грессера. Распределение ролей в драме было следующим: Застражаев — А. П. Грубин, Тюрянинов — Степин, Застражаева — Е. А. Свободина, Штопнов — Зубов, Зеленов — Г. Ф. Сарматов, Штопнова — А. А. Лодина.

Отзыв Иегудиила Хламиды об исполнении пьесы близок к оценке постановки в анонимной заметке отдела «Театр и зрелища» («С. Г.», № 200, 19 сентября).

О театре — см. также примечания к фельетону № 25.

39

О мальчике *Китаеве* сообщалось в заметке «Десятилетний бродяга» («С. Г.», № 199, 17 сентября).

Кн. Мещерский Владимир Петрович (1839—1914) — реакционный публицист и писатель, автор романов из великосветской жизни, издатель реакционных газет «Русь» (1894—1895) и «Гражданин» (1872—1914), выступавший с защитой порки крестьян, с травлей земства, против широкого распространения грамотности среди населения.

«Сын отечества» — политическая, ученая и литературная газета (1862—1900). С 1888 г. редактировалась писателем А. К. Шеллером. Газета имела ряд приложений и выходила двумя изданиями; дешевое издание пользовалось довольно большим распространением в провинции (тираж газеты достигал 48 500 экземпляров).

«Свет» — типичная газета «мелкой» прессы, рассчитанная на удовлетворение вкусов обывателя. Выходила с 1882 г. С 1890 г. редактировалась П. А. Монтеверде. В качестве приложения к газете давалась серия романов «легкого» чтения.

О мощении Дворянской улицы см. фельетон № 2.

42

В фельетоне использован *отчет о заседании думы*, напечатанный в «С. Г.», № 205—206, 24—26 сентября. В отчете сообщалось о разрешении провизору Е. А. Барщу «открыть магазин для торговли ядовитыми и сильно действующими веществами».

«Говорилось о публикациях» — на заседании ставился вопрос о предоставлении официальных публикаций думы не только «Самарскому вестнику», но и «С. Г.».

Мертвые колодцы — специальные ямы-колодцы во дворах, выполнявшие роль канализации и являвшиеся грубым нарушением правил санитарии.

43

В фельетоне использована заметка «Сезонные крестьянские дела» («С. Г.», № 205, 24 сентября).

45

Фельетон Иегудиила Хламиды вызвал «опровержение» владельца чугунолитейного завода Н. Лебедева, опубликованное Горьким в другом его фельетоне (№ 47). Одновременно с письмом в редакцию Н. Лебедев послал министру внутренних дел жалобу на фельетониста. Приводим этот документ полностью:

«Его высокопревосходительству
Господину Министру внутренних дел

Самарского купца Николая Иванова
Лебедева, живущего в 3-й части г. Самары
на своем механическом заводе.

Прошение.

В прилагаемом у сего 208-м № «Самарской Газеты», в отделе «Между прочим» г. Хламида передавал факт повреждения пальца на моем механическом заводе

15-ти летнему мальчику, исказив обстоятельства, при которых поврежден палец, умышленно изложив их так, что как будто бы во всем виновен я, между тем на самом деле мальчик шалил шестерней и случайно попал в шестерню конец пальца, где его и раздробило. Мальчика предостерегал токарь и он вовсе не вертел станка.

Но все это искание не может быть предметом моей жалобы, потому что ни редактор ни цензор не в состоянии проверить достоверность сообщаемого. Но редактор и цензор обязаны следить, чтобы статьи не были оскорбительными. В указываемой же статье автор оной Хламида говорит, что я допускал зверства, — это гнусная ложь, — позволяет себе называть меня «низкой душой» и г. цензор пропустил это.

Имея в виду, что цензор по 1006-й статье Уложения о Наказаниях за пропущенные оскорбительные статьи отвечает, я прошу Ваше Высокопревосходительство сделать распоряжение о привлечении цензуровавшего 208 № «Самарской Газеты» к уголовной ответственности.

Преследовать автора статьи я не желаю, зная что под псевдонимом «Хламида» скрывается лицо с слабо развитым понятием о чести; возбуждать обвинение против редактора не могу, потому что газета выходит без редакторского подписа, за подписом издателя,—лавочника Костерина, преследовать которого, значит угождать мнению, что он литератор, который в уменьи браниться — видит литературный талант своих сотрудников. Вот почему я и прошу о преследовании цензора, на обязанности которого закон возлагает ограждение доброго имени и чести граждан.

1895 года октября 3 дня

Самарский купец
Н. Лебедев».

(Архив внутренней политики культуры и быта. Дело II отделения канцелярии главного управления по делам печати № 39, ч. 1, лист № 106).

27 октября 1895 г. начальник главного управления по делам печати Е. М. Феоктистов отослал Лебедеву ответное извещение на его жалобу:

«Главное управление по делам печати сим объявляет проживающему в г. Самаре 3-й части, на собственном механическом заводе купцу Николаю Ивановичу Лебедеву, на поданное прошение г. Министру внутренних дел о привлечении к уголовной ответственности цензора, дозволившего к печати № 208 «Самарской газеты», в которой допущены оскорбительные для него, Лебедева, выражения, что лицо виновное в дозволении к печати этих выражений подвергнуто взысканию в административном порядке» (дело № 39, лист 114).

46

Фельетон вызван обращением в редакцию лекарского помощника Сорокина, писавшего: «По поводу заметки в «Самарской газете», № 203, под заглавием: «Пароходные дела. Ревизоры», служащими в обществе «Самолет» я, как мне стало известно, подозреваюсь в передаче редакции фактов, послуживших к составлению вышеозначенной заметки. Не зная за собою этого греха, прошу газету в виду выяснения истины и во имя гуманности, которой должна служить пресса (подозрение может повредить моей службе в обществе «Самолет», где я служу 23 года, а теперь могу сделаться без вины виноватым), дать в одном из ближайших №№ «Самарской газеты» место моему письму с обозначением лица, от которого редакция получила сведения к составлению означенной заметки» («С. Г.», № 208, 29 сентября).

О гонении на корреспондентов — см. также фельетоны № 31, 87.

47

См. фельетон № 45.

48

5 октября в городском театре были поставлены водевиль Яковлевского «*Женское любопытство*» и «*Расточитель*» Стебницкого (Лескова). Резкая оценка спектакля была дана и в анонимной статье «Театр и зрелища» («С. Г.», № 215, 7 октября).

Законнэ Пьер и *Монтепен* Ксавье— французские писатели, авторы многочисленных уголовных романов.

Феваль Поль (1817—1887) — французский писатель, автор многочисленных романов бульварного типа.

Омулевский (Федоров) Иннокентий Васильевич (1836—1883) — писатель, автор романа «Шаг за шагом» («Светлов»).

Мордовцев Даниил Лукич (1830—1905) — исторический романист.

«*Московский листок*» — типичная газета «мелкой» прессы, рассчитанная на удовлетворение вкусов обывателя, издавалась с 1881 г. Н. И. Пастуховым. Газета помещала сценки и рассказы из жизни замоскворецкого купечества.

Мясницкий Иван Ильич (1854—1911) — писатель-юморист, сотрудник «Московского листка» и сатирических журналов. Рассказы и пьесы Мясницкого посвящены изображению быта купечества. В Самаре шла его пьеса «Дядюшкина квартира».

Сумбатов (Южин) Александр Иванович (1857—1927) — артист и драматург. Пьесы Сумбатова занимали значительное место в репертуаре столичных и провинциальных театров. В Самаре шли его пьесы: «Соколы и вороны» и «Муж знаменитости».

Немирович-Данченко Владимир Иванович (р. 1858) — драматург и режиссер. В Самаре шли его пьесы: «Темный бор» и «Соколы и вороны» (соавторство с Сумбатовым).

Шпажинский Ипполит Васильевич (1844—1917) — драматург. В Самаре шли его пьесы: «В старые годы» и «В забытой усадьбе».

Крылов Виктор Александрович (1838—1906) — плодовитый драматург, наводнивший в 80—90-х годах сцену столичных и провинциальных театров своими пьесами и переделками с французского. В Самаре шли его пьесы: «На жизненном пиру» и «Надо разводиться».

Дьяченко Виктор Антонович (1818—1876) — драматург, пьесы которого пользовались большой популярностью.

Кукольник Нестор Васильевич (1809—1869) — писатель, драматург, автор патриотической пьесы «Рука всевышнего отечество спасла».

Озеров Владислав Александрович (1769—1816) — известный русский драматург.

50

Далин (Линев) Дмитрий Александрович — популярный фельетонист 90-х годов. В мае 1895 г. был в Самаре, где познакомился с сотрудниками «С. Г.». Горький внимательно следил за фельетонами Далина, печатавшимися в «Биржевых ведомостях». На второе издание книги фельетонов Далина «Не сказки» Горький написал рецензию («С. Г.», 1895, № 261, 3 декабря). В «Биржевых ведомостях», 1895, № 273, 5 октября напечатан фельетон Далина «Что думают и делают в провинции. Еще о самарской «волчице» и ее «покровителях», — о самарской поставщице «живого товара» Арине Неучевой, содержащей в своем «пансионе» девочек 13—15 лет и ее безнаказанности в виду покровительства «могущих» города.

В «С. Г.», № 216, 8 октября опубликована статья-отчет «*К вопросу о замощении городских мостовых*» в связи с обсуждением биржевой комиссией предложения городской управы ввести налог на провозимые через город товары. Деньги предполагалось употребить на замощение улиц. Купцы, главным образом торговцы хлебом, отказывались от налога. В статье приводилось мнение комиссии, указавшей, что она «совсем не видит надобности в замощении всех улиц города. Самара еще слишком бедна, чтобы позволить себе подобную роскошь, так как замощение «каких-нибудь Ильинских и Сокольничьих улиц» совершенно не вызывается необходимостью». Комиссия также признала незаконным желание управы, чтобы «сельские хозяева и крестьяне прямо или косвенно приняли на себя весь расход по замощению «разных Ильинских и Сокольничьих улиц г. Самары», через которые они провозили товар на базар. Названные улицы были расположены на окраинах города. — См. также фельетон № 51.

8 октября в городском театре шла драма *Шиллера* «Коварство и любовь». Спектакль затянулся, хотя на занавесе и была надпись «Антрактов нет». (В надписи была допущена грубая орфографическая ошибка—«е» вместо «ять» в слове «нет»— на что, очевидно, и намекает Иегудиил Хламида в своем фельетоне.) В том же номере «С. Г.» в отделе «Театр и музыка» дана положительная оценка спектакля, несмотря на ряд отмеченных рецензентом недостатков. В заметке отмечалось, что публика смеялась в наиболее трагических местах пьесы.

51

См. также фельетон № 2.

52

В фельетоне использован отчет об «Экстренном собрании биржевого комитета», на котором выступал *Н. Д. Батюшков* по поводу обложения провозимых через город грузов специальным налогом для замощения улиц. — См. также фельетон № 50.

Об отсутствии забот о деревьях, посаженных вдоль панелей, сообщалось по просьбе жителей и в местной хронике «С. Г.», № 215, 7 октября.

Суровцев С. — в местной хронике («С. Г.», № 217, 10 октября) была опубликована заметка «Ошпаренный кипятком». В фельетоне Иегудиила Хламиды приведены новые факты.

54

Возникновение *нового поселка* за Панским переездом, в месте, называемом «кирпичными сараями», вызвало горячие споры в городской управе о незаконном захвате земли. Вопрос о выселении новых жителей из их хибарок на окраине Самары волновал город. Репортер местной хроники «С. Г.» часто возвращался к вопросу о новом поселке (см. № 221—222, 230—234, 241, 253). Иегудиил Хламида, говоря об утере земли около Молоканского сада, имел в виду процесс управы с купцом М. Грачевым, захватившим еще в 70-х годах шесть десятин городской земли. За давностью времени городу было отказано в иске и земля осталась у Грачева («С. Г.», № 225, 19 октября). Вопрос о незаконно возникшем поселке ставился в городской управе и в 1896 г. — См. также фельетон № 57.

55

Об уменьшении жалованья рабочим на местных вальцовых мельницах сообщалось в «Самарском вестнике», № 223, 17 октября.

Фельетон Иегудиила Хламиды вызвал протестующее заявление в Главное управление по делам печати титулярного советника Воронича. Начальник Главного управления Е. М. Феоктистов отослал 10 ноября 1895 г. самарскому губернатору следующее уведомление:

«В № 225 «Самарской газеты» помещен фельетон «Между прочим», в котором указывается на сбавку русским рабочим заработной платы самарскими владельцами вальцовых мельниц. Автор фельетона негодует, что рабочий должен работать на купца, который остается хозяином всего современного экономического положения, и при этом высказывает, что представляется отрадным только то обстоятельство, что самые успехи капиталиста, на которого даром трудится рабочий, подготовляют ему гибель. Принимая во внимание, что подобного рода, отличающиеся тенденциозностью направления, статьи, согласно циркулярному распоряжению от 28 июня 1893 г. за № 3138, не должны быть дозволены к печати, Главное управление по делам печати имеет честь покорнейше просить Ваше превосходительство сделать распоряжение, чтобы на будущее время не были разрешены в местные повременные издания статьи, могущие поселить вражду рабочих к хозяевам».

(Архив внутренней политики культуры и быта. Дело II отделения канцелярии Главного управления по делам печати № 39, листы 115—116).

В фельетонах Горького 1895—1896 гг. не раз затрагивался вопрос о безработице. Объявление *о найме на Сибирскую железную дорогу* напечатано в отделе «Последние известия» («С. Г.», № 222, 15 октября).

56

Библиотека клуба канцеляристов была открыта 27 марта 1895 г. Книжный фонд библиотеки, составившийся главным образом из пожертвований, содержал до 1500 томов, число читателей достигало 200 человек. Отчет «Что читают канцеляристы» был опубликован в «С. Г.», № 224, 18 октября. Приводимая в отчете таблица читаемости отдельных авторов — характерный показатель книжных вкусов обывателя тех лет. Библиотека и издатели спешили обычно удовлетворить эти запросы читателя.

«Мне пришлось проглотить бесчисленное количество томов Дюма-отца, Понсон-де-Террайль, Буагобея, Законнэ, Габорио, Ксавье-де-Монтепэна и с десяток других авторов, прежде чем в руки мои попал томик Бальзака», — писал М. Горький в письме к О. Мирбо в 1911 г. (Груздев И. Горький и его время, т. I. Л., «Худож. литература», 1938, стр. 396). Развернутая характеристика этой литературы дана Горьким в очерке 1896 г. «Как меня отбрили» («Нижегородский листок», № 262, 22 сентября).

Самаров (*Мединг*) Грегор (1829—1903) и *Борн* (*Фюльборн*) Георг (р. 1837) — немецкие писатели, авторы многочисленных исторических романов; часть романов Самарова посвящена русской истории.

Монтепен Ксавье (1826—1902), *Габорио* Эмиль (1835—1873), *Понсон дю Террайль* Пьер Алексис (1829—1871) — французские писатели, авторы многочисленных уголовных романов, пользовавшихся большим успехом в России в 80—90-е годы.

Ауэрбах Бертольд (1812—1882) и *Шпильгаген* Фридрих (1829—1911) — немецкие писатели, весьма популярные в России.

Фламмарион Камилл (1842—1925) — астроном-популяризатор, автор ряда научно-фантастических романов.

Марлитт Э. (Ион Евгения, 1825—1887) — популярная немецкая романистка, сочетавшая в своих книгах проповедь мещанской морали с увлекательным сюжетом.

Дюма Александр, сын (1824—1895) — автор ряда романов и драм, из которых особой популярностью пользовалась «Дама с камелиями» (1852 г.).

Бурже Поль (1852—1935) — автор ряда психологических романов. В 90-е годы большим успехом пользовался его роман «Ученик» (1889).

Вернер (*Бюрстенбиндер*) Елизавета (1838—1918) — автор многочисленных сентиментальных «романов для женщин».

Элиот Джордж (Эванс Мэри Анна, 1819—1870) — известная английская писательница.

Сю Эжен (1801—1857) — известный французский писатель, один из создателей социального романа; широкой популярностью пользовались его романы «Парижские тайны» и «Вечный жид».

Эберс Георг Мориц (1837—1898) — немецкий египтолог, автор ряда исторических романов, главным образом из истории Египта.

Купер Фенимор (1789—1851) — известный северо-американский писатель. Позднее Горький дал высокую оценку его творчества (Купер Ф. Следопыт. Перевод И. И. Введенского. Под ред. М. Горького. Издание З. Гржебина, 1923).

Эмар Густав (О. Глу, 1818—1883) — популярный французский писатель, широко использовавший в своих многочисленных авантюрных романах этнографический материал и колониальную экзотику. В фельетонах «Между прочим» Иегудиил Хламида не раз отмечал увлечение обывателя романами Густава Эмара.

Онэ Жорж (1848—1918) — французский писатель, автор ряда эффектно-сентиментальных романов.

Карнович Евгений Петрович (1824—1855) и *Мордовцев* Даниил Лукич (1830—1905) — исторические романисты.

Баранцевич Казимир Станиславович (1851—1927) — автор рассказов и повестей из мещанской жизни.

Мещерский В. П. — см. примечание к фельетону № 39.

Станюкович Константин Михайлович (1844—1903) — автор рассказов и повестей из морской жизни.

Окрейц Станислав Станиславович — писатель-публицист, издатель крайней правой газеты «Луч».

Лейкин Николай Александрович (1841—1906) — писатель-юморист, воспроизводивший в своих произведениях купеческий и мещанский быт, редактор юмористического журнала «Осколки».

Смирнова София Ивановна (р. 1852) — писательница, автор ряда повестей из жизни женщин.

Маркевич Болеслав Михайлович (1822—1884) — писатель-реакционер.

Назарьева Капитолина Валерьяновна (1847—1900) — автор ряда романов бульварного типа.

Неистович-Вральченко — Немирович-Данченко, Василий Иванович (1848—1927)—плодовитый писатель, автор ряда путевых очерков, военных корреспонденций, большого числа романов.

Ясинский Иероним Иеронимович (1850—1931) начал литературную деятельность в 70-х годах в народнической печати, в 80-е годы быстро сменил свои умеренно-радикальные позиции на реакционные. В 1911 г. Горький отказался от участия в «Новой жизни», так как к сотрудничеству в журнале был привлечен И. Ясинский (см. об этом переписку в журнале «30 дней», 1937, № 9, стр. 89—92).

Авсеенко Василий Григорьевич (1842—1913) — беллетрист, в 1883—1896 гг. издатель «Петербургских ведомостей», автор ряда романов из светско-чиновничьего мира.

Загоскин Михаил Николаевич (1789—1852) — автор ряда исторических романов.

«Пленной мысли раздраженье» — цитируется строка из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Не верь себе».

57

Отношение управы к местной печати и корреспондентам характеризуется официальным запрещением председателя управы служащим ее сообщать какие бы то ни было сведения о городских делах представителям местных газет («С. Г.», № 50).

Самовольный захват земли — см. фельетон № 54.

58

О вскрытии недоставленной корреспонденции сообщалось в местной хронике «С. Г.», № 229, 25 октября. Факты, приводимые в заметке, были использованы и в фельетоне Иегудиила Хламиды.

«Золотой бисер» — рукописная книга, присланная в одной из посылок; *эфедра* — «целебная трава» от ревматизма, рассылавшаяся по почте Н. И. Гусаровым.

59

Отчет о заседании думы напечатан в «С. Г.», № 228, 24 октября. Отчет сообщал, что при выборе членов библиотечной комиссии «гласные руководствовались соображением — далеко или близко от библиотеки живет кандидат».

61

В фельетоне использованы заметки «Вниманию городской санитарии» («С. Г.», № 229, 25 октября) о зараженном дифтеритом доме Гавохина и «Женихи под замком» («С. Г.», № 229, 25 октября) об учениках фельдшерской школы. — О школе см. также фельетон № 64.

62

На фельетон Иегудиила Хламиды откликнулся письмом в редакцию И. Грюнбладт («С. Г.», № 235, 1 ноября) с предложением городу выстроить барак для найма прислуги. Однако городская управа не предприняла никаких забот о «Корневильском рынке». К этой же теме Горький возвращался в фельетонах № 73, 95, 132.

64

См. фельетон № 61.

66

В этом же номере «С. Г.» (№ 237, 3 ноября) в отделе местной хроники сообщалось об *обществе поощрения высшего образования*. Приводимые факты (в виде неразвернутой сценки) совпадают с фельетоном Иегудиила Хламиды. Объявление о заседании членов общества опубликовано в «Самарском вестнике», № 234, 31 октября.

57-е народное чтение, о котором говорит Иегудиил Хламида, состоялось 15 октября.

Розенгейм Михаил Павлович (1820—1887) — второразрядный поэт, пользовавшийся популярностью у мещанского читателя.

67

1 ноября в городском театре шла пьеса Л. Н. Толстого *«Власть тьмы»*.

«Две сиротки» — драма в 5 действиях А. Деннери.

68

О корреспонденте-самозванце ранее сообщал «Самарский вестник», № 195, 12 сентября, говоря о деятельности корреспондента Никольского. — См. также фельетон № 92.

69

В программу утренника вошли «*Слабая струна*», водевиль в 1 действии, перевод с франц. П. П. Баташева и «*Ямщики или Как гуляет староста Семен Иванович*», русский народный водевиль в 1 действии П. Григорьева.

В концерте общества поощрения высшего образования участвовали местные любители: М. С. и К. К. Позерн, С. Н. Соловьева-Страхова, С. Н. Чечот, А. В. Щеглова, Ф. Ф. Мюллер. Программа вечера опубликована в «С. Г.», № 239, 5 ноября.

70

О «нападении на улице сына парикмахера Алексеева на И. И. Беляева» сообщалось в «С. Г.», № 219, 12 октября. Заметка была использована в фельетоне Горького (№ 220, 13 октября).

72

О выходке *купца С.* сообщалось в местной хронике «С. Г.», № 243, 10 октября.

Письмо «*Обывателя*» («Возмутительный поступок») об артисте, выгнавшем ночью на улицу свою 14-летнюю прислугу, напечатано в «С. Г.», № 243, 10 октября.

О кулачном бое — сообщалось в местной хронике «С. Г.», № 242, 9 октября.

Отрицательная оценка постановки «*Бориса Годунова*», законченной дешевым дивертисментом, была дана и в отделе «Театр и зрелища» А. Уманским («С. Г.», № 243, 10 октября).

О театральной комиссии — см. примечание к фельетону № 25.

73

Обращение управы к местным врачам, приводимое Иегудиилом Хламидою, сообщено в заметке «Распоряжение управы» («Самарский вестник», № 245, 12 ноября).

О женщинах-прислугах — см. также фельетоны № 62, 95, 132.

74

Об установках норм топлива на Самаро-Златоустовской дороге ранее сообщалось в «С. Г.», № 228, 24 октября.

75

«*Напомнить публике о ветряных мельницах*» — очевидно, имеется в виду борьба Дон-Кихота в романе Сервантеса с ветряными мельницами.

«*Гамлет*» Шекспира шел 17 ноября в бенефис артиста Г. Ф. Сарматова.

76

Телеграммы Российского телеграфного агентства, упомянутые в фельетоне Иегудиила Хламиды, напечатаны в «С. Г.», № 244, 11 ноября и № 347, 16 ноября. Телеграмма от 8 ноября о «разъярившихся матросах» в газете не появилась.

77

В «С. Г.», № 246, 14 ноября была помещена заметка «Из клуба канцеляристов», сообщавшая, что «просьба Комитета по устройству народных чтений и спектаклей о предоставлении помещения клуба для организации народного театра отклонена на том основании, что публика, по мнению некоторых членов клуба, испортит помещение — мебель, стены, занавески и прочее». За предоставление помещения комитету высказалось 47 человек, против — 49. — О клубе канцеляристов см. также фельетон № 67.

78

Отчет о заседании думы опубликован в «С. Г.», № 249—251, 18—21 ноября.

79

Об уфимских железнодорожных мастерских — см. также фельетон № 87.
О «конкуренции извозчиков с конкой» сообщалось в местной хронике «С. Г.», № 246, 14 ноября.

80

О Далине — см. примечание к фельетону № 50.

81

В Солдатскую слободку (окраина города) почта не доставляла корреспонденцию (см. «С. Г.», № 232, 235, 28 октября, 1 ноября). Об улучшении работы почты указано в «С. Г.», № 258, 30 ноября.

83

В основу фельетона Иегудиила Хламиды легла заметка «Самарского вестника» *о найме домашнего учителя коммерсантом Тищет* («Самарский вестник», № 251, 21 ноября).

84

В заметке О-ка «*Памятка*» («С. Г.», № 256, 28 ноября) сообщалось о наличии в городской управе 24 комиссий для разрешения отдельных вопросов. Большинство членов управы состояло в нескольких комиссиях. В этом же номере газеты была опубликована статья *«К юбилею самарского окружного суда»*.

85

В фельетоне использована заметка «Наши торговцы» *о торговле* на Троицком базаре («Самарский вестник», № 257, 29 ноября).

86

29 ноября в городском театре шли следующие пьесы: 1. «Бывает да редко, или брачные метаморфозы», стихотворное скерцо в 4 действиях *Д. И. Дохтурова*. 2. «Несчастье особого рода», комедия Пенькова. 3. «*Волшебный вальс*», водевиль Шмидгофа. В анонимной заметке отдела «Театр и зрелища» («С. Г.», № 259, 1 декабря) сообщалось о том, что Дохтуров писал пьесу 12 лет.

87

См. также фельетон № 79.

88

В хронике «С. Г.», № 260, 2 декабря помещена заметка «Бесплатные проезды на тот свет» *о разрешении бесплатного железнодорожного провоза трупов* служащих Самаро-Златоустовской дороги.

89

Зелихман Лев Львович — владелец местной спичечной фабрики.
Игнатий Лойола (1491—1556) — основатель ордена иезуитов.

90

Статья «*Крушение вагонов на станции Самара*» напечатана в «С. Г.», № 251, 21 ноября.—Об этом же см. статью Горького «Подробный рассказ о том, как именно они проехали... и как их за это «доехали» («С. Г.», 1896, № 14, 18 января).

92

8 декабря *в бенефис артистки А. А. Лодиной* шла пьеса Н. Потехина «Злоба дня». Положительная оценка спектакля дана и в анонимной заметке «Театр и зрелища» («С. Г.», № 266, 10 декабря).

В хронике «С. Г.», № 267, 12 декабря сообщалось о *«самозванном сотруднике местных газет Минаеве»*. Сведения хроникера были использованы Горьким. — О корреспондентах-самозванцах см. также № 68.

93—94

В отчете *«Из залы думских заседаний»* («С. Г.», № 265—266, 9—10 декабря) сообщалось о требовании члена ревизионной комиссии Е. Т. Кожевникова отдать управу под суд за невзыскание недоимок с имущих лиц города. Кожевников указывал, что сбору недоимок подлежала только «мелкота» города, все же богачи остались вне сбора. Так купец Константинов, имевший до 150 000 наличного капитала, задолжал городу 1869 рублей. В фельетоне Иегудиила Хламиды использованы приводимые в отчете прения гласных.

«Слова, слова, слова!» — из монолога Гамлета в трагедии Шекспира.

95

Однофамильцем Васьки Буслаева Иегудиил Хламида называет *Василия Ермолаевича Буслаева* — владельца мануфактурного магазина и колокольного завода, гласного думы, неизменно отстаивавшего интересы имущих города.

Г. Ч. — Гордей Чернов — крупный волжский купец, озорник и кутила, бросивший затем свое дело и ушедший в монастырь на Старый Афон. Горький считал Гордея Чернова одним из наиболее ярких людей, «выломившихся» из «нормальной жизни». О Чернове, послужившем материалом для повести «Фома Гордеев», Горький говорит в «Беседах о ремесле» (Горький М. О литературе. М., «Советский писатель», 1937, стр. 235, 238, 240).

О женщинах-прислугах — см. фельетоны № 62, 73, 132.

В фельетоне Иегудиила Хламиды использована заметка *«Купецкие нравы»* об избиении «мальчика» его хозяином («С. Г.», № 267, 12 декабря).

97

В фельетоне использована заметка *«Жену не узнал»* («С. Г.», № 268, 13 декабря).

98

Отчет о «заседании думы» опубликован в «С. Г»., № 271—273, 17—19 декабря. Сведения о ходатайстве об издании «Листка объявлений» в отчете отсутствуют.

99

Список наград и обсуждение их приведены в отчете о заседании думы («С. Г.», № 273, 19 декабря).

100

Стихотворение, приведенное в фельетоне, вызвало насмешливую критику «Самарского вестника» (1896, № 12, 16 января).

1896 год

102

Встрече Нового года посвящена и сказка Горького «Старый год» («С. Г.», 1896, № 1, 1 января), затрагивающая темы и образы, развернутые писателем позднее в его поэме «Человек» (1903 г.).

В фельетоне Иегудиил Хламида цитирует стихотворение Н. Некрасова «Новый год» (1851 г.).

103—106

«Святочный роман» *«Моментальный брак»* Иегудиила Хламиды был начат (глава 1-я) печатанием в последнем фельетоне «Между прочим» 1895 г., № 279, 30 декабря, но мы издаем эту главу под 1896 г., где «роман» печатался еще в трех номерах газеты после новогоднего фельетона. В № 2, 3 января продолжение «романа» печаталось после слов фельетониста: «Продолжаю в новом году старый роман». Указание о делении на главы со второго фельетона отсутствует, но мы их

вводим по примеру первого фельетона. — *О моментальном браке* — см. также фельетоны № 101, 123.

Гнедич Петр Петрович (1855—1927) —писатель и переводчик, искусствовед. Роман «Китайские тени» печатался в журнале «Русский вестник», в 1894 г. и затем вышел отдельным изданием в 1895 г.

«*Бей, но выслушай!*» — слова государственного деятеля Фемистокла, обращенные к спартанскому полководцу Эврибиаду во время спора об отражении наступления армии персидского царя Ксеркса.

106а

Фельетон примыкал к концу «святочного романа», но мы его воспроизводим отдельно.

Концерт в пользу студентов состоялся 3 января. Отношение Горького к современной молодежи послужило поводом к длительной полемике с «Самарским вестником». Фельетон Иегудиила Хламиды вызвал резкое письмо-фельетон «Студенты и г. Хламида» за подписью «Один из теперешних» («Самарский вестник», № 12, 16 января). 16 января «С. Г.», № 12 в свою очередь поместила статью одного из представителей студенчества Эс-Пе «Теперешняя молодежь», близкую по выводам к оценке молодежи Иегудиилом Хламидой. 18 января на статью «Одного из теперешних» откликнулся и Иегудиил Хламида (см. № 114). Выступление Горького с отрицательной оценкой определенной, реакционной по своему внутреннему облику, группы студенчества было неправильно воспринято «Самарским вестником» как категорическое осуждение всей современной молодежи, как противопоставление ее народнической интеллигенции, молодежи 80-х годов. Подводя итоги дискуссии, «С. Г.» выступила против такого понимания фельетонов Иегудиила Хламиды и Эс-Пе в статье без подписи «Еще о теперешней молодежи» (№ 15, 19 января).

Итоги дискуссии были подведены и «Самарским вестником» в развернутой статье П. Маслова «Родословная современной молодежи», (№ 23, 29, 37, 28 января, 8 и 17 февраля), начавшего свой обзор с духовного развития молодежи с 60-х годов (см. отзыв Иегудиила Хламиды в фельетоне № 126). Статья, растянувшаяся на несколько номеров газеты, не носила полемического характера и только в конце возвращалась к спорам о современной молодежи.

Gaudeamus igitur (Итак, будем радоваться)—начало старинной студенческой песни.

107

Инцидент в Обществе врачей вызвал полемику двух самарских газет. Началом полемики послужило письмо доктора С. О. Ярошевского, сотрудника «С. Г». (1895, № 276), о поведении врача Догадкина, небрежно отнесшегося к пациенту-еврею (о чем сообщил «Самарский вестник»). Письмо вызвало статью «Самарское общество и самарские врачи» за подписью «Один из читателей «Самарской газеты» («Самарский вестник», № 278, 29 декабря) о дурных взаимоотношениях публики и врачей. Статья обвиняла Ярошевского в углублении этого конфликта статьями, печатавшимися в «С. Г.». Между «Вестником» и «С. Г.» возникла полемика на эту тему (см. «С. Г.», 1896, № 1, 4, 6, 11, 29, 30, 31, 38, 39, 68; «Самарский вестник», № 2, 6, 13, 27, 30, 31, 36). Письмо трех врачей приведено в статье Самарского [Ярошевского] в «С. Г.», № 4, 5 января. Статья Далина «Что думают и делают в провинции. Еще парочка» опубликована в «Биржевых ведомостях», 1895, № 346, 17 декабря. Вопрос о поведении Догадкина разбирался в обществе врачей. Иегудиил Хламида использует в фельетоне отчет об этом собрании («С. Г.», № 6, 9 января).

Фельетоны Иегудиила Хламиды о врачах вызвали ответы фельетониста «Самарского вестника» — Васильева (№ 31, 36, 10 и 15 февраля).

108

О купце Савельеве в отделе местной хроники «С. Г.» помещена заметка «Образцовая жадность» (№ 6, 9 января).

«*Жизнью пользуйся, живущий!*» —последняя строка стихотворения В. Жуковского «Торжество победителей». (Из Шиллера.)

109

О непригодности *жилищ пожарных* указывалось в «С. Г.», № 8, 11 января. Отмеченные в хронике факты использованы и в фельетоне Иегудиила Хламиды. В № 10 «С. Г.», 13 января сообщалось, что членом городской управы был произведен специальный осмотр жилищ.

110

Вечер студентов-специалистов был организован 9 января М. С. Позерн.

Позерн Карл Карлович — присяжный поверенный, гласный думы, общественный деятель Самары, отдавший много сил культурно-просветительной работе. Горький был в близких отношениях с семьей Позерн, принявшей большое участие в его жизни в Самаре. Второй том «Очерков и рассказов» Горького в издании С. Дороватовского и А. Чарушникова и второй том «Рассказов» в издании тов-ва «Знание» были посвящены жене К. К. Позерн — Марии Сергеевне. Высказывания Горького о семье Позерн см. также в книге: М. Горький и А. Чехов. Переписка, статьи и высказывания. М.—Л., изд. Ак. Наук, 1937. Горьким написан некролог К. К. Позерн, — см. фельетон № 149.

«*Прежде всего*» — стихотворение Бернса, перевел В. К...в.

Соловьева-Страхова С. Н. — певица, организовавшая музыкальные классы в Самаре. Ее хор охотно принимал участие в вечерах с благотворительной целью.

«*Некто погиб*» —Горький имеет в виду статьи «Одного из читателей «Самарской газеты» в «Самарском вестнике», направленные против статей доктора Ярошевского, опубликованных в «С. Г.», — см. примечание к фельетону № 107.

111

Обнаруживаются «результаты праздников» — Иегудиил Хламида имеет в виду «Отчеты в камерах городских судей», опубликованные в этом же номере «С. Г.».

Плевако Федор Никифорович (1843—1908) — известный юрист, выдающийся оратор.

112

В бенефис *Г. Ф. Сарматова* 12 января 1895 г. был поставлен «Испанский дворянин», комедия в 5 действиях, переделка с франц. К. А. Тарновского и М. Н. Лонгинова.

Ленский Александр Павлович (1848—1908) — известный драматический артист, а затем и режиссер Малого театра.

«*Занимается современной политикой*» —намек на борьбу Англии за колониальные владения в Южной Африке; *зулусы* —ветвь кафров, южноафриканской народности, принадлежавшей к неграм Банту; *Сетевайо* — король зулусов, начавший войну с англичанами, закончившуюся покорением Зулуленда в 1887 г.

О зрителе за кулисами — см. также фельетон № 119.

113

В фельетоне использована заметка «*Отчеты в камерах городских судей*» («С. Г.», № 10, 13 января).

В начале 1896 г. вопрос о *Струковском саде* стал злобой дня Самары. В связи с начавшимися переговорами об аренде сада гласные поставили вопрос о необходимости сделать вход в сад платным, предоставив для общих гуляний другие сады города. Вопрос о плате вызвал возражения со стороны публики (см. «С. Г.», № 16) и бурные обсуждения в думе. Часть гласных указывала на непригодность других садов города для гуляний и обращала внимание думы на то, что город приобрел сад как место для народных бесплатных гуляний. Сад был сдан Корнилову без права входной платы. — См. также фельетоны № 117, 148.

Заявление гласного *В. Е. Буслаева* о том, что «деревья гибнут от пыли, от дурного воздуха, который накапливается там от большого числа публики», опубликовано в отчете о думском заседании («С. Г.», № 10, 13 января). В № 12 по поводу Струковского сада напечатан специальный фельетон Риголетто (А. А. Смирнова?) «Налог на воздух».

114

Фельетон является ответом на статью «*Одного из «теперешних»*» — «Студенты и г. Хламида» («Самарский вестник», № 12, 16 января). Все приводимые Иегудиилом

Хламидою цитаты взяты из этой статьи. В фельетоне упоминается статья Н. К. Михайловского «Литература и жизнь» («Русское богатство», 1895, № 9). — См. также фельетон № 106а.

Василевский-Буква Ипполит Федорович (р. 1850) — известный фельетонист, редактор юмористического журнала «Стрекоза».

Михневич Владимир Осипович (1841—1899)— фельетонист газеты «Новости».

Гарин (Михайловский) Николай Георгиевич (1852—1906) —писатель. Был хорошо известен Самаре как инженер-строитель Кротовско-Сергиевской железнодорожной ветки. Гарин принимал участие в реорганизации «Самарского вестника». В «Русском богатстве» в 1895 г. печаталась его повесть «Студенты».

Минто В. Дедуктивная и индуктивная логика. 2 испр. изд. М., изд. И. Д. Сытина, 1896 (Библиотека для самообразования).

115

Козьма Прутков — коллективный псевдоним А. и В. Жемчужниковых и А. К. Толстого. Иегудиил Хламида имеет в виду афоризм Козьмы Пруткова «Если у тебя есть фонтан, заткни его: дай отдохнуть и фонтану».

Арина Неучева — поставщица «живого товара» в Самаре, — см. примечание к фельетону № 50.

117

О Струковском саде — см. примечание к фельетону № 113.

118

В 1895 г. Вильгельм Конрад *Рентген* (1845—1923) выступил со статьей «Ueber eine neue Art von Strahlen», излагающей опыты и исследование открытых им х-лучей (названных затем рентгеновскими). Открытию Рентгена печать уделяла большое внимание.

119

21 января состоялся концерт «Европейского виртуоза *гармониста Петра Невского* — почетного члена Парижского лирического музыкального общества и солиста его светлости эмира бухарского».

21 января в городском театре шли пьесы: «*Дитя*», мелодрама в 5 действиях, перевод с англ. К. А. Тарновского и «Много шума из пустяков», водевиль в 1 действии А. А. Яблочкина.

О зрителях за кулисами — см. также фельетон № 112.

120

Очевидно, Горький присутствовал на заседании общества трезвости, так как сведения, приводимые им в фельетоне, отсутствуют в отчетах, опубликованных в местной печати. — Об обществе трезвости см. также фельетоны № 11, 14, 137.

121

Воскресные школы были открыты в Самаре 9 апреля 1895 г. Согласно положению о воскресных школах преподавателями в них могли быть только лица, имевшие право учить в начальных народных школах с разрешения инспектора народных училищ. Приводимые в фельетоне Иегудиила Хламиды факты совпадают с заметкой хроникера «Из городской библиотеки» («С. Г.», № 20, 25 января).

122

«Хороший тон» — книга, излагавшая правила благовоспитанного поведения в обществе.

Бокль Генри Томас (1821—1862) — английский историк-позитивист, автор «Истории цивилизации в Англии».

«Стрекоза» — юмористический журнал, выходивший с 1876 г. и редактировавшийся с 1879 г. известным фельетонистом И. Ф. Василевским-Буквой.

124

«Пропутешествуете в конце концов за Урал» — намек на ссылку в Сибирь.

Минаев Дмитрий Дмитриевич (1835—1889) — поэт и переводчик, сотрудник журнала «Искра». Горький цитирует эпиграмму Минаева:

Я не гожусь, конечно, в судьи,
Но не смущен твоим вопросом.
Пусть Тамберлик берет do грудью
А ты, мой друг, берешь do—носом.

Тамберлик — известный итальянский певец.

125

30 января в *пользу неимущих учениц женской гимназии* был организован М. С. Позерн *музыкально-драматический вечер* с танцами.

126

«Теперешние» — так были названы Горьким представители буржуазной молодежи. Фельетон «Между прочим» вызвал письмо-опровержение «Одного из «теперешних». — См. фельетон № 106а.

«Статья, начатая с Адама» — статья П. Маслова «Родословная современной молодежи» («Самарский вестник», № 23, 29, 37), как бы подводящая итоги полемики двух газет. В статье давалась история развития молодежи с 60-х до 90-х годов.

127

В связи с частыми протестами театральной комиссии против антрепризы Е. Молгачевой и неодобрительными отзывами публики и прессы о театральном деле в Самаре городская дума решила *сдать театр новому антрепренеру*. Было подано 16 заявлений, из которых дума выделила кандидатуры артиста А. П. Грубина (Булгакова) и известного антрепренера М. М. Бородая, имевшего две труппы (одна из них украинская). После отказа Бородая театр был сдан на два года Грубину, державшему ранее антрепризу в Самаре совместно с Молгачевой (в 1894—1896 гг.).

Стенин, Кольцов, Стрешнева — наиболее слабые артисты труппы Молгачевой 1895—1896 гг.

128

О полемике по поводу *инцидента в Обществе врачей* — см. примечание к фельетону № 107.

Изумруд Выдрин — Н. И. Васильев, фельетонист «Самарского вестника», подписывавшийся псевдонимом Смарагд Горностаев. Псевдоним пародирован Горьким.

129

Нансен Фритьоф (1861—1930) — известный норвежский путешественник и исследователь полярных стран. В 1893 г. Нансен с 12 спутниками предпринял путешествие на судне «Фрам» с целью достичь северного полюса. Путешествие было закончено в 1895 г.; возвращению Нансена на родину в 1896 г. газеты уделяли большое внимание. Отчетом о поездке явилась книга Нансена «Среди льдов во мраке полярной ночи».

«Гражданин» —см. примечание к № 39; *Рентген* — см. №118. В фельетоне упоминается *«Будильник»*, № 5, 4 февраля, давший рисунки «Опыты *«Будильника»*.

Об открытии шестой части света — см. фельетон № 11.

130

Третейские суды — суды чести, организуемые в частном порядке для разбора возникающих конфликтов из числа лиц, выбранных обеими сторонами.

О нравах прессы и отношении к ней обывателя — см. фельетоны № 31, 46,57, 87.

«А судьи кто?» — цитата из монолога Чацкого («Горе от ума» А. Грибоедова).

« Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо» — афоризм римского писателя Теренция, — см. его комедию «Самоистязатель». Эти же слова приписываются и римскому императору Диоклетиану.

131

Летурно — см. фельетон № 137.

132

О мальчиках и их эксплоатации — см. фельетоны № 27, 45.

Корневильский рынок — см. фельетоны № 62, 73, 95.

133

Талейран (1754—1838) — известный французский дипломат.
Нижне-Девицк — уездный город Воронежской губ.
Скерцо Дохтурова — см. примечание к фельетону № 86.

134

В хронике «С. Г.», № 36, 15 февраля сообщалось о пожертвовании *на постройку биржи* долгового обязательства. Факт этот был опровергнут в № 38, 16 февраля. Вопрос о предоставлении под строительство биржи части Александровского сада обсуждался на заседании городской думы («С. Г.», № 22, 27 января).

Телеграмма, приведенная в фельетоне Иегудиила Хламиды, опубликована в «Черноморском вестнике», № 24, 30 января.

В конце фельетона использована заметка из фельетона Старого друга («Волгарь» № 41, 11 февраля).

135

19 февраля — день опубликования царского манифеста об освобождении крестьян от крепостной зависимости (19 февраля 1861 г.), обычно отмечался прессой.
20-е число — день получения служащими жалованья.

136

О бегах приказчиков сообщалось и в «Самарском вестнике», № 43, 24 февраля.

137

Летурно Шарль (р. 1831) — этнограф-социалист, автор ряда работ по истории культуры. Иегудиил Хламида говорит о его книге «Социология, основанная на этнографии», СПб., 1895; книга вышла новым изданием в 1896 г. — О Летурно см. также фельетон № 131.

Франко-русский союз был заключен в 1891 г. в виде проекта военной конвенции, подписанной в декабре 1893 г. Подлинный текст договора был опубликован только после 1917 г., но сведения о его заключении появились в печати еще в 1895 г.

О винной монополии — см. примечание к № 12.
Об обществе трезвости — см. фельетоны № 11, 14, 120.

138

«Разные господа из «Самарского вестника» создали мне репутацию отчаянного и непобедимого ругателя» — Иегудиил Хламида имеет в виду полемические статьи «Самарского вестника», а также заметку «Среди газет и журналов» («Самарский вестник», № 33, 13 февраля) о фельетонисте «Казанского телеграфа», заканчивающуюся словами: «Иегудиилу Хламиде следовало бы взять у Дон-Базилио несколько уроков сквернословия».

«И я рекомендую ему предложить свои услуги Англии» — намек на колониальную политику Англии, нападение ее на бурские республики в Южной Африке.
Платон (427—348 до н. эры) — греческий философ.

139

Фельетон Н. Васильева «Волжские мотивы» напечатан в «Самарском вестнике», № 49, 2 марта. В фельетоне вскользь упоминался и «самарский собрат» Ашешова — Иегудиил Хламида, здесь же был допущен резкий выпад против В. Г. Короленко: «Нижегородский листок газета собственно довольно приличная, но к сожалению, с некоторого времени через-чур уже гостеприимно открывшая двери своей редакции гг. Подхалимовым и Тряпичкиным лишь потому, что их «зря ума» рекомендует один влиятельный литературный «поп», человек, бесспорно достойный всякого уважения, но, что также бесспорно, все таки могущий и ошибаться...»

140

После расторжения *Абиссинией* Уччелийского договора, заключенного в 1889 г. и отдававшего Италии Эритрею, Италия в 1894 г. начала войну. В декабре 1895 г. и марте 1896 г. Италия потерпела поражение и заключила мирный договор, признающий независимость Абиссинии. В эти годы внимание России было привлечено к «полуправославной» Абиссинии. В 1896 г. Россию посетило посольство Абиссинии.

О сборе денег «в пользу раненых абиссинцев» в Нижнем-Новгороде сообщалось в фельетоне Старого друга «Обо всем» («Волгарь», № 60, 1 марта).

«Самара выразила симпатию Болгарии» — в конце 1886 г. Болгария порвала дипломатические сношения с Россией. В феврале 1896 г. болгарский князь Фердинанд, женатый на Марии Луизе Кобургской и согласно условию обязанный воспитывать детей в римско-католической вере, «присоединил» своего сына Бориса «к православию». «Присоединение» послужило поводом к официальному примирению России и Болгарии. В «Самарском вестнике», № 27, 6 февраля была опубликована статья «Привет Самары болгарскому народу», в связи «с присоединением к православию наследника престола».

«Бьют турки болгар» — имеются в виду подавление турками национального движения в Болгарии в 1875 г. и русско-турецкая война 1877—1878 гг.

«Вырезывают турки в Зейтуне армян» — имеется в виду жестокое подавление восстания турецких армян в 1895—1896 гг.

Брянчанинова Софья Борисовна — жена самарского губернатора, организаторша ряда филантропических учреждений.

141

Гартман Эдуард (1842—1906) — немецкий философ-идеалист.

Лухманова Надежда Александровна (1840—1907) — писательница-публицистка, часто выступала с чтением публичных лекций.

Петри Эдуард Юрьевич (1854—1899) — профессор географии и антропологии. Отчет о лекции Э. Ю. Петри «Женщина с антропологической точки зрения» опубликован в газете «Новости», 1896, № 56, 26 февраля.

В *«Одесском листке»* за декабрь 1895—февраль 1896 г. указанного Иегудиилом Хламидой фельетона найти не удалось.

10 марта состоялся концерт с участием артистов *В. М. Янова, Е. А. Шубиной, С. Е. Трезвинского; арфистка Недда Эйхенвальд* исполняла «Грезы» Ф. Годфруа.

142

Статья о заседании думы, на котором обсуждался отчет *о постройке городского театра*, опубликована в «С. Г.», № 56, 9 марта.

Театр в Самаре был открыт в 1888/89 г., отчет же о его постройке слушался только в 1896 г.

143

В фельетоне использована заметка *«Казенная водка у русского посланника в Париже»* («С. Г.», № 59, 13 марта), в которой указывалось, что «водка эта будто бы посылается в Париж потому, что введение казенной винной монополии привлекло всеобщее внимание французов и вызвало желание их поближе ознакомиться с постановкой этого дела в России». — См. фельетон № 137.

В «С. Г.» напечатана сводка *«Кто и что читает в Самарском уезде»* (№ 61, 15 марта), составленная по накладным почтового отделения уездной земской управы. Горький был знаком со сводкой до ее опубликования в печати.

«Гражданин» — см. примечание к № 39; *«Кормчий»* — «религиозно-нравственный народный журнал», выходивший с 1888 г.

147

В фельетоне использованы заметки местной хроники «Страшный вопрос» («С. Г.», № 78, 10 апреля), *«Метеорологические станции»* (№ 79, 11 апреля) и *«Нивелирование площади»* (№ 79, 11 апреля) о разрешении свалить на площади, покрытой ямами, отбросы и навоз. Сведения о писарях, занимающихся метеорологией, были ошибочными, и в фельетон Иегудиила Хламиды была внесена поправка («С. Г.», № 84, 17 апреля).

148

В фельетоне использован *отчет о заседании городской думы* («С. Г.», № 81, 13 апреля).

Струковский сад — см. примечание к фельетону № 113.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Принадлежность М. Горькому фельетона, подписанного «Пьерро», доказывается следующими соображениями. В июне 1895 г. серию фельетонов «Между прочим» в газете продолжал вести Слово-Глаголь (С. Гусев), и в № 121 был помещен очередной фельетон еще за его подписью. В № 123, продолжая опять за своей подписью фельетоны «Между прочим», Слово-Глаголь упомянул о том, что «в четверг» уезжал из Самары на пароходе, и далее раскрыл тему фельетона на случае, связанном с его поездкой. О своей поездке Слово-Глаголь упоминает и в № 124. Ближайший четверг приходился на 8 июня (день выхода № 119) и, следовательно, фельетоны в № 119—121 были заготовлены Слово-Глаголем заранее. Видимо, этих заготовленных впрок фельетонов нехватило, — и в отсутствие постоянного фельетониста, а также с целью не прерывать ежедневного фельетона, — он был поручен другому сотруднику. Горький в эти дни, как видно из его фельетона за подписью «Паскарелло» «Несколько дней в роли редактора провинциальной газеты», продолжение которого падает и на № 122, фактически отвечал за выпуск газеты и мог взять на себя восполнение пробела. Подпись «Пьерро» аналогична подписи «Паскарелло»: оба псевдонима взяты из одного ряда условных образов кукольного театра, что косвенно также говорит о принадлежности их одному лицу.

Фельетон Горького, подписанный «Пьерро», возник таким образом по случайному поводу и не начинает еще всего последующего цикла ежедневных фельетонов «Между прочим», который Горький через месяц откроет в газете за постоянной подписью «Иегудиил Хламида». Вот почему мы помещаем этот фельетон особо,— в отделе приложений.

САМАРА ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ

Принадлежность Горькому статьи-фельетона, подписанного псевдонимом «Дон-Кихот», доказывается как общим тоном письма, подобным его сериям фельетонов «Между прочим» и «Очерки и наброски», так и биографическими намеками, разбросанными в статье, а также наличием в статье-фельетоне тех тем, которые Горький в другой, более конкретной форме освещал в своем цикле «Между прочим». Так, в статье-фельетоне Горький в обобщенном виде говорит о фактах, раскрытых им в этом цикле: «Его степенство» — городской голова Н. Г. Неклютин. — О винной монополии см. фельтоны № 12, 24. — О Струковском саде и высказывании о нем гласного В. Буслаева см. фельетоны № 113, 117. — Отзывы Горького о постановках городского театра см. в ряде фельетонов. — О малом числе полицейских и хулиганстве см. также во многих фельетонах. — Ресторан купца Портнова «Москва» был в сущности трактиром, славящимся своими скандалами; в 1896 г. он был закрыт и владелец его долго безуспешно хлопотал о разрешении вновь открыть ресторан. — О библиотеке см. фельетон № 56. — О клубе см. фельетоны № 67, 77. — Инициатором создания и председателем большинства местных обществ был Н. Федоров. — Об обществе трезвости см. фельетоны № 11, 14, 120, 137. — О конке см. ряд фельетонов.

Эпиграфом к статье-фельетону Горький взял строку из произведений французской поэтессы Луизы Аккерман (1813—1890). Переводы ее философских, чаще всего пессимистических, произведений многократно помещались на страницах русских журналов 80-х годов.

Окончание статьи с обещанной главой об интеллигенции в газете напечатано не было.

СЛОВАРЬ УСТАРЕЛЫХ И ИНОСТРАННЫХ СЛОВ

Аборигены — коренные жители страны.
Авгиевы конюшни — мифологические конюшни царя Авгия, которые не чистились много лет и были очищены в один день Геркулесом. В переносном смысле — место, крайне грязное, запущенное.
Адюльтер— нарушение супружеской верности.
Азям — верхняя крестьянская долгополая одежда, сермяга, армяк.
Альбион — древнекельтское наименование Англии; позднее стало употребляться в ироническом смысле.
Альгвазил (альгвасил) — в старой Испании служитель при суде, полицейский.
Анафема — отлучение от церкви; предать анафеме — отлучить от церкви, проклясть.
Анемия — малокровие.
Аполлон — мифологический бог солнца, покровитель искусств.
Ассафетида — вонючая смола.
Бледнолицый — так обычно называли человека белой расы в переводных романах о краснокожих.
Бубновый туз — красный или желтый четырехугольный лоскут, нашивавшийся осужденным на каторгу на арестантской одежде сзади.
Бульвардье — проводящий время на бульваре, праздношатающийся.
Ветлянка — станица Астраханской губ., в которой в октябре 1878 г. появилась эпидемия чумы, распространившаяся и далее.
Вигвам — жилище северо-американских индейцев.
Геенна огненная — ад; по христианскому учению место, где после смерти души грешников подвергаются вечным мукам в огне.
Гиена — хищное животное.
Гименей — мифологический бог брака.
Гомилетика — искусство составления церковных проповедей.
Горние — небесные; «отыдут в горние селения» — умрут.
Горчишник — см. примечание к фельетону № 4.
Гостомысл — легендарный славянский князь, по совету которого будто бы были призваны на Русь князья-варяги.
Гривуазность — игривость, легкомысленность.
Диоклетианово гонение — жестокое преследование христиан римским императором Диоклетианом (II век н. э.).
Дышу на ладан — см. ладан.
Ефимоны — вечерняя церковная служба в великом посту.
Жарт — небольшой юмористический рассказ.
Зане — ибо, потому что.
Злыдарствовать — злорадить, злорадствовать.
Зорить — разорять.
Инде — в ином месте.
Кабалистика — средневековые магические, таинственные «науки»; иронически — в смысле ненаучных выводов на основании случайных признаков или искусственно подобранных фактов.
Каталажка — камера для арестованных.

Клан — родовой союз в Ирландии и Шотландии.
Кондотьер—предводитель наемных войск; в фельетоне в смысле—человек, готовый сразиться за любое, хорошо оплаченное дело.
Констебль — полицейский (в Англии).
Конфиденциально — доверительно, секретно.
Корпорация — группа лиц, объединенных общими интересами. Корпорации обычно пользовались некоторыми особыми правами и имели свой устав.
Кроки — наскоро сделанный черновой набросок рисунка, чертежа.
Ладан— благовонный воск или смола, употребляемые в церковном служении; дышать на ладан — умирать, быть едва живым.
Ламанчский рыцарь — Дон Кихот Ламанчский, герой романа М. Сервантеса.
Маразм — общее истощение, увядание организма от старости; в переносном значении — моральное бессилие, развинченность.
Мельпомена — муза трагедии, покровительница театра.
Многоглаголание — чрезмерное многословие.
Мормоны — северо-американская секта, возникшая в 30-х годах XIX века.
Нижѐ — даже, и даже не.
Номады — кочевники.
Овамо — в выражении «семо и овамо», — см. семо.
Огрудок — бугроватое дно реки с яминами, засыпанными щебнем.
Оселедец — чуб на темени бритой головы.
Оскальпировать (скальпировать) — содрать с головы волосы с кожей у побежденного врага; скальп был трофеем северо-американских индейцев.
Отец города — так иронически называли членов городской управы.
Отыдет в горние — см. горние.
Паллиатив — полумера, малодействительная мера.
Пассаж — неожиданное происшествие, неожиданный оборот дела.
Пейзане — франц. название крестьян; слащаво изображенные в литературе крестьяне.
Пенаты — домашний очаг.
Плашкоутный мост — мост из досок, укрепленных на плоскодонных судах (плашкоутах), стоящих на якорях.
Потенция — способность к определенным действиям.
Предать анафеме — см. анафема.
Прерогатива — исключительное право, преимущество.
Престиж — авторитет, влияние, уважение.
Провиденциальный — предопределенный, роковой, ниспосланный провидением (божеством).
Прострация — полный упадок сил, крайнее изнеможение.
Реномѐ — репутация, известность.
Респиратор — прибор, надевающийся на нос и рот и предохраняющий от вдыхания пыли и ядовитых газов.
Сарынь на кичку! — возглас волжских разбойников, по которому все на судне, подвергшемся нападению, должны были лечь на кичку (возвышенную часть на носу судна) и лежать до конца ограбления судна.
Сгоношить — скопить, сберечь.
Семо и овамо — туда и сюда.
Синекура — оплачиваемая должность, не требующая никакого труда.
Скальпировать — см. оскальпировать.
Содом и Гоморра — древние палестинские города, по преданию истребленные небесным огнем за разврат.
Стрибог — один из богов славянской мифологии.
Сфинкс — в древнем Египте — колоссальных размеров каменная фигура льва с человеческой головой; в переносном смысле — загадочное существо, непонятный человек.
Тать — вор, похититель.
Табло — картина; с восклицанием: вот так картина!
Труизм (трюизм) — всем известная истина, избитая истина.
Трус — землетрясение.
Угобзился — угобзити: наделить, удобрить, нажить.
Фантом — призрак, привидение.
Фатализм — вера в предопределенную, неотвратимую судьбу.

Ферлякур — ухаживающий за кем-нибудь, ухажер.
Фефер — в выражении «задать феферу» — задать перцу, досадить.
Филантропия — благотворительность.
Фрондер — беспокойный, неуживчивый человек; человек, отрицающий что-либо не из принципов, а из духа противоречия.
Харон — мифологический перевозчик теней умерших через Стикс — реку подземного царства.
Чечевичная похлебка — по библейскому сказанию проголодавшийся Исав продал за чечевичную похлебку своему брату Иакову право первородства.
Шевалье — кавалер, рыцарь.
Эдип — легендарный царь древних Фив, который разгадал загадки, предлагаемые Сфинксом.
Эквилибрист — канатный плясун; в переносном смысле — неустойчивый человек.
Эмансипация — освобождение, уравнение в правах.

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции 3

Иегудиил Хламида — фельетонист «Самарской газеты». — С. Балухатый 5

«Между прочим» (Мелочи, наброски и т. п.)

1895 год 29

1896 год 205

Приложения:

Пьерро. «Между прочим» 292

Дон-Кихот. «Самара во всех отношениях» 293

Комментарии и примечания. — Сост. К. Муратова 302

Словарь устарелых и иностранных слов 324

Редактор изд-ва *В. И. Аевилов.*

Тираж 10000. Подписано к печати 16 января 1941 г. ЕО3854. Печ. л. $20^1/_2$ Авт. л. 25. Тип. зн. в печ. л. 48800. Цена 8 р. 75 к. Переплет 1 р. 75 к.

*

Типография им. Мяги треста Полиграфкнига, ОГИЗ, г. Куйбышев, ул. Венцека, 60. Заказ № 1078.

10 р. 50 к.